



ISSN 1993-9477

XXI ВЕК
ВОЛГА
№ 2 2022

Литературно-художественный журнал

16+



«Наша Золушка». Режиссёр Екатерина Гороховская



«Наша Золушка»

16+



XXI ВЕК

ВОЛГА

№ 2 2022

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России (Саратов)
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России (Саратов)
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы (Саратов)
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
Е.Н. Манова – директор музея Н.Г. Чернышевского (Саратов)
А.Н. Тимофеев – член правления Союза писателей России,
председатель Совета молодых литераторов Союза
писателей России (Москва)

САРАТОВ
2022

№ 2 2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПОЭТОГРАД

Александр АНАНИЧЕВ. **Русские люди** 3

ОТРАЖЕНИЯ

Лариса КАЛУЖЕНИНА. **Вдова** 10

ПОЭТОГРАД

Геннадий ПЕТРЕНКО. **Перекрыть бы эту тишину** 23

ОТРАЖЕНИЯ

Виктор БИРЮЛИН. **В тихой гавани** 28

Алексей СОЛОНЦЫН. **Слышишь, шумит дождь (Окончание)** 40

ПОЭТОГРАД

Людмила СВИРСКАЯ. **Кофе по-венски** 82

КАМЕРА АБСУРДА

Сергей ЛЁВИН. **ЮБруб** 86

ЛИТЕРАТУРНОЕ КРАЕВЕДЕНИЕ

Юрий КАРГИН. **«Витязь студёного моря»** 106

Николай МАМИН. **Полевой «цейс»** 110

НА ВОЛНЕ ПАМЯТИ

Вячеслав АРХАНГЕЛЬСКИЙ. **О разном** 170

В МИРЕ ИСКУССТВА

«Классическая сказка из ТЮЗа никуда не ушла...» 179

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТУДИИ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Ирина КИТОВА. **Васильковое лето** 182

РЕЦЕНЗИИ

Людмила ЛИПАТОВА. **«От случайного тёплого слова...»** 188

Ольга БЕЛЕЦКАЯ. **Эпохальное издание** 190



**Александр
АНАНИЧЕВ**

РУССКИЕ ЛЮДИ

В ДЕРЕВНЕ

День начинаю с соловьиных песен,
Воды студёной и тропы лесной.
Окрестный мир таинственен и весел,
Не то что мир неволи городской!

Иду на пруд сквозь травы и осинник,
Земно живому кланяюсь ручью.
Недавно свой отпраздновал полтинник,
А жить как будто заново учусь.

Учусь неторопливо и несмело,
Надеясь всё запомнить и понять,
Учусь в деревне правильному делу –
То умирать, то снова оживать,

Как этот лес, высокий и шумящий,
И каждый куст, встающий над прудом,
Зелёный и цветущий в настоящем,
Редеющий и гаснущий потом.

Светло вокруг, и я на солнце светел.
Как будто я иду навеселе,
И, кажется, случайно не заметил
Губительных поветрий на земле.

-
- Александр Сергеевич Ананичев – поэт, секретарь правления Союза писателей России, руководитель Сергеево-Посадского отделения Союза писателей России, главный редактор литературного журнала «Сергиев», кандидат педагогических наук. Автор сборников стихов «Четыре всадника», «Исход», «Теменуга», «Раздерихинский овраг», «Золотой мост», «Везёлка», «Золотая, зелёная, синяя», «Неузнанные песни», пятидесяти книг для детей и семейного чтения, выпущенных издательствами Московской Патриархии и «Росмэн» в сериях «Спаси и сохрани», «Твоё святое имя», «Святыни России», отмеченных дипломом Ассоциации книгоиздателей России «Лучшие серии детских книг 2005 года». Лауреат всероссийского конкурса «Золотое перо России» (2004), литературной премии имени С. А. Есенина (2005), Международной премии имени В. Крапивина за книгу «Моя Москва. Листая страницы истории» («Росмэн» 2006), литературной премии «Соловьи, соловьи...» им. А. Фатьянова (2010), премии журнала «Москва» за подборку стихотворений «Грозная держава» (2016). Переводил поэзию со многих языков мира. В 2015 году в московском издательстве «У Никитских ворот» вышла книга переводов А. Ананичева поэзии Дагестана, Калмыкии, Азербайджана и Киргизии «Булатной саблей жизнь мою измерьте».

Они плывут, они пылят по свету,
Скользят по глазам водным и земным...
Жаль одного: как просто человеку
Разрушить всё не созданное им.

Чем новый день аукнется – не знаю.
Господь рассудит праведных и злых.
А я, как прежде, утро начинаю
С воды живой и запахов лесных.

МАЙСКИЙ СНЕГ

Сегодня снег под утро выпал.
Умылся снегом поздний май.
Под мокрой белой шапкой липа
Нагнула шею невзначай.

Мир, как сарай, перекопился
Во власти снега и чумы.
Нам словно этот мир приснился,
Ему как будто снимся мы.

Всё изменилось в час проворный,
Оцепенело – плачь не плачь...
И лишь в печи огонь неровный
Всё так же весел и горяч.

Подброшу дров сухих ольховых,
И всклень налью вина себе,
И отвлекусь от дум бедовых
Под ветер, стонущий в трубе.

Заметно стали дни длиннее.
А снег всё сыплет с высоты,
А снег идёт, он стал крупнее,
Летит на травы и цветы.

Горит огонь. А снег стухнул,
И скоро мне идти во тьму.
Зачем нам этот мир приснился
И мы привиделись ему...

ВОЛГА

Такое не сразу забудешь,
Такое не встретишь нигде –
Какие великие люди,
Глядите, идут по воде!

За каждым река серебрится,
Волнуется наискосок.
Над каждым легонько струится
Колечками тёмный дымок.

Идут величаво, по-царски
По синим просторам речным:
Из Вологды – «Дмитрий Пожарский»,
Из Нижнего – «Горький Максим».

Негоже в соломенной шляпе
Стоять перед ними никак:
Двухпалубный – «Фёдор Шаляпин»,
Громоздкий – «Борис Пастернак».

Неважно, что были врагами
Романов и Разин, а тут
Встречают друг друга гудками,
Дорогу почтенно дают.

Могучий «Державин» и «Брюсов» –
Поэт амплитуды иной –
На час были заперты в шлюзах
И вышли с высокой водой.

«Гагарин», «Чайковский», «Белинский» –
Блестят белизною борта...
Прогулочный – «Феликс Дзержинский»,
«Иван – сухогруз – Калита».

Идут вдоль буйковых разметок.
Под ними скрывает вода
В эпоху былых пятилеток
Затопленные города.

Меженью весеннею только,
Когда не видать кораблей,
Бугрятся на Волге обломки
Погубленных русских церквей.

Какая нездешняя сила
Реке величавой дана –
Святых и заблудших любила
И всех примирила она!

УТРЕННИЙ ПОЕЗД

Этот поезд, летящий к столице
Перелеском, заснеженным полем,
Этот поезд из русских провинций
На рассвете уже переполнен.

Неуютно деревьям и птицам...
Тишину заколдованной чащи
Разрывает гудками и свистом
Этот поезд, во тьму уходящий.

Не до смеха в вагонах и гнева –
Люди в поезде утреннем дремлют,
Перед тем как спуститься под землю
И насытить московское чрево,

Раствориться в цехах и подвалах,
Провонять и борщом, и мазутом,
В кабаках и на шумных развалах
День зачёркивать свой по минутам.

Обвенчать б этот поезд настырный
Под шумок с тупиком захудалым!
Что тогда? – А тогда пассажиры
До Москвы доберутся по шпалам.

Доползут, обгоняя друг друга,
Невзирая на камни и ветер,
Ведь у них где-нибудь под Калугой
Плачут дома голодные дети.

Даже если за рюмкой забыться
И не мучиться о настоящем,
Всё равно этот поезд приснится –
Сноп огня, изо лба исходящий!

Вот летит он, гремя одиноко,
Торопя и тревогу, и горе...
И зелёное лунное око,
Не мигая, ему семафорит.

Ничего, ничего, что зима на полгода,
Что колотят дожди о железное тулово крыш,
Что свобода наставшая – странная всё же свобода,
От которой могильных крестов приумножилось лишь.

Ничего, ничего... Это даже не ново,
Что Россия, как остров, уходит опять из-под ног,
Что под спудом лежит вековечное русское слово
И родную страну золотой охмуряет божок.

Цепенеет душа – огнекрылая птица,
И напрасно взыскует о правде нетленной, святой.
Я не вижу того, с кем хотелось бы разговориться,
Чтобы в чёрных зрачках отыскать огонёк неземной.

Ничего, ничего... Всё погибло? Едва ли...
Вот наступит весна, и из гроба восстанет Господь,
Чтобы наверняка все сомненья мои и печали,
Точно камень о камень, в горах грозových расколоть.

НОВГОРОД

Над новгородскою Софией
Звезда высокая зажглась.
Здесь между небом и Россией
Видна таинственная связь.

В свободном Волхова теченье,
В величье сдержанном церковей
Узришь святое назначение
Единой Родины моей.

Поврозь мы кто? – Рязань да Ржева,
Торжок, да Тверь, да Кострома...
А вкуче – грозная держава,
Врага сводящая с ума.

Во все концы земли, по сути,
Отсюда нас вела звезда.
Мы о былом своём забудем –
Враг не забудет никогда.

Татары новые да шведы
Нам прошлой славы не простят.
Едва ослабим хватку где-то –
За всё России отомстят.

Но – чу! Деревья, показалось,
Свеченьем внутренним полны,
Где колыбель славян качалась
Под шелест ильменской волны.

РАЗГОВОР НА ПЕРРОНЕ

– Почём кукуруза, девчуша? – По сто...
– Ого, ваших цен не догнать!
А как же зовётся ваш город? – Козлов.
Мичуринск, хотела сказать.

– Что делают люди? Чем дышит народ?
– Ничем. Выживаем, как все.
Сады опустели, закрылся завод,
Полгорода нынче в Москве.

– Я реку увидел у вас из окна.
На речке сейчас веселей...
– Воронеж-река. Да уж больно грязна.
Никто не купается в ней.

Я больше вопросов ей не задавал.
Был взгляд выразительней слов...
Сел в поезд. И мимо поехал вокзал,
Мичуринск (а в скобках – Козлов).

НЕУЗНАННЫЕ ПЕСНИ

Зима взрывает грудь свинцом,
Грозит удавкой ледяною –
Есенин, вспомни, и Рубцов
Глухой задушены зимою.

Шу!.. И глаза заволокло,
Как только горло защемило..
И снегу, снегу намело,
По пояс снегу навалило.

Что смерть пришла – не в этом крик,
А что божественное сопло
Затихло, вывалив язык,
В беззвучном оклике усопло.

Земной простор оваян сном,
Вселенским холодом окован..
И солнце мёрзнет за холмом,
Как неродившееся слово.

В те дни застойные, когда
Союз ещё не канул в вечность,
Мы были всё же человечней,
Чем в современные лета.

Свободе не учили нас –
Травую храмы зарастали,
А всё ж мы были христиане
Поболе, нежели сейчас.

Свобода – это пустота:
Её бы чем-нибудь заполнить..
Свободно катимся, как волны,
Ни звёзд над нами, ни креста.

Горят в минувшее мосты.
А мы в тревоге бесполезной
Опять склоняемся над бездной,
Опять у огненной черты.

Морской слоится влажный воздух,
На берегу поют и пьют...
Горят над миром шумным звёзды –
Они всех нас переживут.

На несмолкаемом просторе
Огни далёкие видны.
А на песке хоронит море
Живых случайные следы.

В краю чинар, каштанов томных
Близки с тобой, как никогда...
В глазах твоих тёмно-зелёных
Дрожит солёная звезда.

Мы все уйдём. И только слово,
В котором светел звук любой,
Сильнее власти смертной снова,
Как море, звёзды и любовь.

РУССКИЕ ЛЮДИ

Когда мною сумерки овладевали,
Когда было горько и глухо в груди,
Мне русские люди всегда помогали,
Крестами вставали на снежном пути.

Один – пониманьем, другая – участием,
Молитвой сердечной, улыбкой простой,
И я возвращался в себя в одночасье,
Был снова спокоен, был снова живой.

Самой на земле тяжело изначально,
Старуха уже овдовела давно,
Но глянет в глаза и тепло, и печально –
Целебное будто подарит вино.

Она только труд деревенский видала,
Зима ей нескучно виски замела...
«На Бога, – случайно спрошу, – не роптала?»
«Да что ты, родимый, лишь Им и жила...

Без Бога нельзя...» И светло прослезится.
Светло за окном от морозного дня...
И как-то нечаянно вдруг притушится,
Беда на свету потускнеет моя.

Среди получающих прибыль в валюте,
Среди государевых псов и пройдох
Дай Бог вам не вымереть, русские люди,
Дай Бог устоять вам, как прежде... Дай Бог!



**Лариса
КАЛУЖЕНИНА**

ВДОВА

Трамвай шёл по городу, весело позвякивая на рельсах.

– Такой весёлый трамвай! – подумала Кира. – Вот сейчас будет поворот, он зазвонит ещё громче, запоёт на стыках, и станет на душе совсем весело. Хорошо, что Светлана живёт в таком месте, куда можно добраться на трамвае.

Был вечер первого января. Весь день она просидела дома, только сбегала через заснеженный сквер в магазин за хлебом. И вот сейчас ехала к бывшей жене Войтовича, Светлане.

Войтович, фотокорреспондент крупнейшей газеты страны, умер несколько лет назад, и было ему 54 года. От общих знакомых Кира слышала, что Светлана долго переживала смерть мужа, долго не могла прийти в себя, и никакие разумные доводы, никакие уговоры ей не помогали. Их с Войтовичем взрослый сын жил в другом городе, а она осталась одна. И жила одна.

Кира побавалась этой встречи. Вот сидит женщина «за шестьдесят», одинокая, наверное, нигде не работает. Что она делает целыми днями? Конечно, позвонила ей заранее, объяснила, зачем нужна фотоаппаратура её мужа, и Светлана как-то сразу согласилась отдать её «в лизинг»: обе посмеялись над этим словечком. И вот теперь она ехала к ней на трамвае.

Мелькали придорожные каштаны, все в инее, – волшебные деревья из старинной сказки. Такой снежной зимы не было давно. Обычно суетливый и деловой, город словно погрузился в сон, в зимнюю сказочную дремоту, которую навевали ему снежные порывы ветра, засыпавшего дорогу, дома и редких прохожих. Улицы кое-как расчищали, но между домами намело высоченные сугробы. Их просто не успевали расчищать, да и особо некому было из-за праздника.

-
- Лариса Анатольевна Калуженина родилась в г. Тбилиси, окончила среднюю специальную школу с преподаванием ряда предметов на английском языке уже в Запорожье, а затем в Минске – Государственный лингвистический университет, отделение испанского языка. Ещё на 4-м курсе начала писать для Агентства печати «Новости», где после окончания вуза проработала в течение двух лет в качестве референта и одновременно писала материалы как журналист. В 80-е годы работала на Кубе переводчиком с испанского языка. В 90-е годы возглавляла первый республиканский независимый экономический журнал «Деловой вестник», трудилась в «Экономической газете». Публиковалась в журналах «Неман», «Наш современник», «Волга–XXI век», «Новая Немига литературная», «Латинская Америка», коллективных сборниках прозы издательства «Мастацкая літаратура». Печаталась во многих странах мира, включая Германию, Чехословакию, Польшу, Кубу, Японию, США. В 1984 году вступила в Союз журналистов СССР, а в 2021 году – в Союз писателей Беларуси и в Союз писателей Союзного государства Беларуси и России.

Кира нанесла снега и с порога стала извиняться перед хозяйкой, шумно топя ногами в прихожей, стяхивая снег с шубы, варежек, шапочки, и это как-то сгладило первую неловкость их встречи.

Они почти не знали друг друга. Когда-то Кира работала вместе с Войтовичем в крупном информационном агентстве, где волею судьбы очутилась совсем ещё юной, зелёной журналисткой и где Войтович уже слыл большим мастером – его работы постоянно отмечались как лучшие в главной редакции фотоинформации в Москве. Вот тогда-то, на каких-то вечерних посиделках, которые так любила журналистская братия, Кира встретила её, тихую, неприметную женщину, и сразу окрестила «Адамовым рёбрышком» – так презрительно именовались у неё все несамостоятельные жёны своих мужей. Нет, она, кажется, где-то трудилась, но всем видом своим, всем поведением разительно отличалась от них, двух редакционных нимф, одна из которых вечно дымила сигаретками с томным или чересчур озабоченным видом. Вторая же вечно препиралась с мужчинами в редакции, спорила с ними «на равных», что было бы совсем невыносимо, если бы не её искренняя весёлость и всё покрывающее добродушие.

Кира увидела столик у окна однокомнатной квартиры, а рядом одинокое кресло и какие-то иконки в углу возле старенького серванта. На столике уже стояли яблочный пирог и ваза с яблоками и апельсинами, и ей стало неловко за свою скромную коробку конфет, которую к тому же забыла в прихожей.

– Присаживайтесь, – Светлана указала на кресло. – Я сейчас принесу чай. Любите чай? Ну зачем, зачем вы потратились? – всплеснула руками, когда, опередив хозяйку, Кира ринулась в прихожую и вернулась с забытой коробкой. – Я их не ем.

– Подарите кому-нибудь. – Кира решительно вручила коробку хозяйке.

Та машинально стала разворачивать её, поставила на столик. Застенчивая улыбка делала её милостивое лицо ещё милее.

– Присаживайтесь!

– А куда сядете вы? – поинтересовалась Кира.

– Да, действительно... – Светлана вдруг задумалась. – Всю лишнюю мебель я продала, когда переезжала сюда. Что-то дети забрали в Питер. Но не беда, возьму стул из кухни.

На кухне стоял единственный стул.

Они пили чай с бергамотом, очень вкусный чай. Кира отогревалась, душа её распрямлялась и уже хотела душевной беседы. Но Светлана молчала. Говорить как будто было больше не о чем, они обо всём сразу договорились, но уходить не хотелось. Не хотелось покидать этот тихий уютный дом, её хозяйку, такую же тихую и уютную. Кира с трудом поднялась с кресла:

– Пригелась, славно у вас.

Тут бы и услышать в ответ: «А куда торопиться? Праздники, посидите ещё». Но хозяйка молчала. Пришлось подняться и идти в прихожую, где стояла упакованная аппаратура.

– Здесь все-все рабочие инструменты Миши и две камеры, – пояснила Светлана. – Несите осторожно: скользко на улице.

Кира взяла ящик в руки. Он был не столько тяжёлым, сколько неудобным, она сразу же почувствовала себя неуклюжей. Взять такси? Но, холера, денег, как всегда, не хватает. Попрошавшись с хозяйкой, потащила ящик к остановке. Мело в переулках. Кира шла с трудом, напоминая себе пингвину, которая еле-еле передвигается под порывами ветра по снежному насту. Широкий ящик загораживал дорогу, она брела почти на ощупь. Наконец остановка. Но как пустынно на ней! Ни людей, ни машин – ничего. Несколь-

ко раз она порывалась идти к проспекту, там хоть какое-то движение, метро или маршрутки, но, глядя на свой груз, не решалась сдвинуться с места. Так и стояла на морозе, одинокая, замерзающая птаха, пока наконец не подошёл пустой трамвай. Кое-как в него погрузившись, благополучно добралась до своего дома, где уже во дворе, нелепо поскользнувшись, больно ударившись плечом, покатила с высокого пригорка вместе с ящиком, ни за что не желая выпускать его из рук. Так и прокувыркалась с ним, размахивая свободной рукой, почти до крыльца подъезда. Дома, наскоро перерезав бечёвку, нырнула носом внутрь. Обе камеры были целы. «Made in Japan» значилось на упаковке. «Хорошие попались японцы, выносливые. Значит, сработаемся», – решила про себя.

Что делать с любовью, оставшейся в одиночестве, без своего хозяина? Светлана прожила с мужем тридцать лет и два месяца и осталась одна.

Есть такая игра – монополия, где надо собирать очки. А в семье? Каждый новый брак как новый виток, новое собрание очков. Вполне понятно компьютерному поколению, где функция «отменить» так важна и необходима. Удар по клавише – и вы на новом витке игры. Но в жизни? В её жизни?

«Мы были как сиамские близнецы», – думала иногда. А после и прочла где-то, что первые люди на земле так и были задуманы: две половины одной души. И не удивилась. Да, конечно, именно так! И это даже больше, чем любовь. Это равновесие. Мужчина и женщина, которые вечно будут тянуться друг к другу, чувствуя каждый порознь свою незавершённость. Неполноценность. Но сколько спекуляций, зла, сколько трагических несопадений, горестных невозможностей! Из столетия в столетие, пока наконец не победили уже и от самого брака, как от пропасти, в которую страшно угодить – не выкарабкаешься, а потому лучше обойти её стороной. А ей повезло. Им обоим повезло. Тридцать лет и два месяца они прожили одним целым, в полной гармонии и доверии друг другу, не особенно задумываясь об этом. И если бы ей сказали, что столь прочный и счастливый союз потребует каких-то жертв или самоограничений или даже просто в конце концов закончится смертью одного из них, она бы удивилась. Здесь был какой-то секрет, секрет их общего, слитного существования. Она понимала это, но совсем непонятно было, как жить дальше одной. Это казалось глупым и ненужным теперь – жить...

Плакальщицы:

– Подумаешь, тридцать лет! Люди и по полвека живут вместе, и больше, и остаются одни. А ты ещё не старуха, захочешь – и снова выйдешь замуж!

Они по-быстрому оплакали их с Михаилом прошлое и позвали её в светлое завтра. Одну.

Она отшучивалась.

– Монополия – игра, – говорила, – новый брак – новое накопление очков. Вот только так далеко, как в прошлый раз, уже не зайти.

– Это почему же? – удивлялись.

– Потому что те прошлые очки мы собирали ВМЕСТЕ.

Не понимали. Жмурились и предлагали «поселиться» на сайте знакомств.

– Мало ли на свете вдовцов! Почему не уехать в Голландию, например, и там во всеоружии встретить старость?

И как выстрел в десятку: богатые голландские вдовцы!

Она улыбалась. Не спорила. Заметила только про Голландию:

– Там, говорят, теперь солнца почти не бывает, и летом +14, и зимой +7, и всё дожди, дожди, дожди...

– У тебя хороший глаз, – говорил Войтович Кире. – Ты сможешь снимать...

И она верила ему.

Из всех журналистов корпункта одна умудрялась к каждому своему материалу добавлять ещё и фоторяд, так, на всякий случай. Она многому у него научилась. Учителем он был терпеливым. Исправлял ошибки, помогал вникать в тонкости ремесла, искать нюансы. Но была ли она хорошей ученицей? Скорее нет. Схватывая всё на лету, очень скоро решила, что может всё, а это была ловушка.

В Доме искусств время от времени устраивали сборные фотовыставки. Там и увидела она однажды работы литовцев. Вот где был пир настоящего мастерства! Не просто глубина и смелость, но какое-то совсем уже запредельное художественное дерзновение. Куда ей было до них! И по извечному своему максимализму фотографию вскоре забросила. Это совпало с неким поворотом в их с Войтовичем отношениях. Он перешёл в центральную газету, их пути разошлись. А дальше и она развелась с мужем, меняла редакции и наряды, снова вышла замуж... Головокружение ложной жизни протекало стремительно.

Ещё работая в корпункте, написала свой первый рассказ и прочла его именно Войтовичу – не хотелось выслушивать вежливо-снисходительные замечания коллег по перу. А Михаил – он такой: не обидит, но правду скажет. Рассказ понравился. Понравился настолько, что, сорвавшись с места, Войтович заходил по фотолаборатории, замахал в волнении руками и вдруг спросил: «А где будешь его печатать?» И этот простой вопрос поставил Киру в тупик. Вечно живя в каком-то своём мире, витая в эмпириях, как сказали бы о ней века два назад, она не смотрела на рассказ как на что-то вещественное и, как мольеровский Бурден, удивлявшийся, что он, оказывается, говорит прозой, а не стихами, тоже удивилась, что она, оказывается, эту самую прозу ПИШЕТ.

– Ну, отошло куда-нибудь, – скривилась, отмахнувшись.

Но он вдруг вырвал рукопись у неё из рук: «Ладно, сам отошло в журнал в Москву. Когда же ты наконец спустишься на землю, наш дорогой Моцарт!» В глазах его Кира прочла сразу и удивившее её обожание, и столь же непонятную для неё досаду.

Фамилия редакторши, отвергнувшей рассказ, почему-то запомнилась: Тупеева. Сказано было: хорошо владеете словом, но рассказ напечатан быть не может. «У вас же все плохие, ни одного положительного героя!» Удивилась. Перечла. Действительно, все какие-то неположительные. И вместе с фотографией надолого забросила и рассказы. Вернулась к ним неожиданно после второго развода, тяжёлого и беспросветного, когда, казалось, саму душу вытряхнули из тела и она повисла как безвольный болванчик.

Времена поменялись, положительные героини оказались не в чести, а у неё, наоборот, все почти люди были теперь неплохие, хотя и много претерпевшие по жизни. Она опять оказалась вне литературной моды, но как-то не заметила этого. Печатают, и ладно. И хорошо.

Потребовалось фото её в коллективный сборник. Кира вспомнила про Войтовича и как-то забежала к нему в газету после работы. Он постарел. Весь как-то скукожился и очень ей обрадовался. Они спустились во внутренний дворик редакции, где было нужное освещение. Март только начинался, везде ещё лежал снег. Он быстренько отщёлкал её, замерзающую, в тонком свитерке, с покрасневшим носом. Но – о чудо! На фотографиях она смотрелась не просто хорошо – замечательно! «Эге, дружок, – подумала тогда, – всё-то она врёт, твоя камера!» Но ничего ему не сказала. С десятков авторов, расположенных по алфавиту, было в сборнике, и она где-то там, посредине – Кира Леониди. Мать – Залесская, из местных, отец – Николай Леонидис, понтийский грек.

С Войтовичем они больше не встречались, а через несколько лет он умер.

Они знали друг друга с четвёртого класса. Инженер-гидролог Войтович, его отец, работал ещё на строительстве Асуанской ГЭС в Египте, и какое-то время Миша Войтович жил там вместе с родителями, но потом его отдали на воспитание бабушке, потому что родители отправились в новую заграничную командировку, в Алжир – нечастое по тем временам перемещение инженеров. Так он появился у них в четвёртом «А». Светлана плохо помнила, каким он был в те годы. Худощавый брюнет, ну, заграничная жвачка и какой-то особенный, импортный игрушечный пистолет, совсем как настоящий. Ну так ведь это больше на зависть школьным пацанам. Её, вечную отличницу, это интересовало мало. Он иногда преобильно таскал её за длинную косу – проявлял внимание. Она в ответ была его учебником химии по голове. Они не дружили. В седьмом классе случайно оказались вместе в райкоме комсомола, где получали комсомольские билеты. Вышли из райкома вместе и пошли по проспекту. На углу, у городского театра, он купил для них две порции эскимо. Они шли, ели мороженое, о чём-то болтая, и вдруг она впервые ощутила рядом ЕГО. Не просто одноклассника, а его, Мишу Войтовича. Это было как озарение, но быстро прошло. Дни потекли обычным своим порядком.

На выпускном вечере он признался ей в любви. Она отшатнулась: какая любовь! Впереди университет! Они поженились на третьем курсе, когда он вдруг бросил политехнический и поступил на заочный журфак. Хорошо зарабатывал, деньги в семье водились всегда. Светлана тоже работала в детском саду воспитателем, потом заведующей. Сын подрастал... Тридцать лет и два месяца. Он умер внезапно от остановки сердца. Болел последние годы много, но как-то всегда на ногах, не залёживаясь, не лечась. Оказалось, в поликлинике даже карточки его не было.

Первые полгода без него были ужасны. Уйдя в себя, замкнувшись, она жила застёгнутой на все пуговицы, не желая отдавать окружающим свою любовь на растерзание. Научилась притворяться. Хитрила, чтобы не прослыть сумасшедшей, спятившей с ума от горя бабой. Поменяла квартиру, продала почти всю мебель. Деньги отдала в семью сыну, и всё, о чём те попросили, оставив себе ровно столько, чтобы хватило на несколько лет спокойного существования, как она подсчитала. Но деньги как-то неожиданно быстро закончились. Стала питаться по зёрнышку, как птица. Исхудала. По утрам у неё сильно кружилась голова.

Соседка с третьего этажа как-то пристала к ней, приклеилась баннным листом, предлагая посетить собрание какой-то секты «верных сестёр и братьев». Она долго отнекивалась, но соседка не отставала, и в конце кон-

цов Светлана отправилась с ней на окраину города в какой-то заводской клуб. Был зал – довольно большой, забитый публикой под завязку, и пастор из Южной, кажется, Кореи с переводчиком. Громкая музыка, гимны в микрофон... У неё разболелась голова. Но одна фраза корейца засела в памяти: если вам плохо, помогите тем, кому ещё хуже. Она ещё не знала тогда, что кореец просто умыкнул известную цитату Исаака Сирина. В секту больше не ходила, но над фразой думала постоянно. Плохо. Кому? Хуже, чем ей? Муж умер внезапно. Не лежал больной, она не ухаживала за ним. Не успела. В этом была какая-то большая боль и неправда, и укор для неё, вполне ещё здоровой женщины. И она догадалась, как исправить эту неправду. Вдруг вспомнила про свой диплом медсестры гражданской обороны и обратилась в соседнюю с домом клинику: много корпусов, целый больничный городок. Зашла наобум в первый от дороги корпус, где на диплом милостиво покивали, сразу доверив ей ведро с водой и половую тряпку. Мыла полы и раковины, драила окна и выносила судна и через какое-то время и вправду почувствовала себя спокойнее, хотя сильно уставала поначалу.

Нищета юности. Прожить месяц было настоящим приключением. Но мир казался прекрасным в своей беспредельности, сердце казалось необъятным, готовым вместить в себя всех и вся. Теперь, когда в шкафу висели баснословные шубы – наследие второго, богатенького мужа, а полки в прихожей уже не вмещали десятков пар обуви, мир сузился вдруг до размера обувной коробки. «Сколько бумаги измарано за все годы, но хоть одной приличной страницей можно ли похвалиться?» – твердило самоедство. Максимализм её корчился в муках, и вместе с нарастающим отрицанием, отторжением жизни, которую она продолжала вести, зрел замысел первой книги. Он казался огромным и запросто мог похоронить её под обломками неосуществившейся мечты. Просто уничтожить. Да, жить по-прежнему стало невозможно, но как освободить себя, прикованную к привычному существованию всей силой земного притяжения? Сдвинуть с места лежачий камень, вытащить себя за волосы из болота? Надо было ухватиться – но за что? Начать – с чего?

В конце декабря она позвонила Светлане и, запинаясь, бесконечно ныряя в ненужные отступления, кое-как проговорила свою просьбу. Но та восприняла всё спокойно, по-деловому, с каким-то даже облегчением: «Конечно, приезжайте, заберите всё, что вам нужно».

– Ну вот и нашлась моя соломина, – подумала тогда.

И почти год прошёл. Середина декабря, а дело движется медленно. Из полусотни задуманных фотопортретов и новелл к ним готовы полностью только двадцать семь. Такое странное число. Ни то ни сё. Год работы – и какой работы! Неужели всё так и бросить на полдороге? Или надо осознать, что это конец, довольно, хватит – и поставить точку?

Жара окутывала город, плыла лениво, и к вечеру при раскалённом за день асфальте дыхание её становилось почти осязаемым. Была пятница. Они вышли с Войтовичем из редакции и зашагали к остановке.

– Ты куда сейчас? – поинтересовался Войтович.

– В магазин за курицей. Обещала мужу фасолевый суп с курицей.

– В такую жару?

– А он любит. Сидит, обливается потом, ест и нахваливает.

И шли дальше, пропустили остановку. Никак не могли расстаться в тот июльский вечер. Миновали магазин. Остался в нём обед и все благие намерения примерной жены. Он вдруг предложил поехать к нему, и она согласилась. Так просто, будто проводила у него все вечера.

В квартире было душно. Войтович сразу открыл дверь балкона, оба вышли на него. Деревья ближнего парка стояли неподвижно, застыв от зноя, а дальше, у горизонта, уже в предвечернем свете, сине-чёрной полоской виднелись пригородный лес и огоньки какой-то чудом уцелевшей деревушки. Они тихо светили, будто приглашая улететь туда с высоты десятого этажа, покинуть этот город, его жару и шум и поселиться там, на границе лесной чащи, не вспоминать ни о чём и всё забыть.

– Пятница, моя Пятница! – Он вдруг обнял её и поцеловал.

И переполнилась чаша. И сдали нервы, женские, ещё почти детские, отключилось сознание, Кира стала медленно оседать вниз. Он от неожиданности едва удержал её, подхватив на руки, перенёс в комнату. Обморок длился недолго. Открыв глаза, она увидела себя в большом мягком кресле, накрытом каким-то старомодным покрывалом.

«Ну и вкусы у людей! Ещё бы и телевизор покрывалом накрыли!» – подумала брезгливо, с отторжением.

На лице Войтовича между тем читалось настоящее отчаяние.

– Тебе лучше? – Он опустился на колени рядом с креслом. Взял её руки. – Это от жары, я сейчас вызову такси.

А ей вдруг стало весело, она расхохоталась.

– Где твоя жена? – спросила.

– На даче с сыном... – он ответил машинально, но вдруг запнулся. – Я вызову такси.

Она попросила таксиста остановиться возле ближайшего к дому продуктового магазина, где и купила злополучную птицу и бутылку хорошего грузинского вина.

За обедом в субботу они с мужем пили вино, ели фасолевым суп, и так спокойно, так умиротворённо было у неё на душе весь день. Только к вечеру воскресенья весь пятничный эпизод всплыл на поверхность, и Кира заметалась. Как теперь работать вместе с ним? Ежедневно десятки раз сталкиваться в коридоре, на лестнице. О чём говорить? И вообще, что это было и как теперь следует себя с ним вести?

Упала в обморок, как тургеневская барышня. Потом хохотала. Истеричка. Он станет её избегать. Возненавидит. Мысли её судорожно метались, разыгравшееся воображение приписывало Войтовичу совсем уже неразумные, невероятные поступки. И, не выдержав, она вырвала тетрадный лист и нацарапала на нём заявление об уходе. Всё рушилось. Журналистская карьера шла прахом.

Но рано утром в понедельник проснулась от нервного озноба. Её трясло, температура ползла и ползла вверх.

– Где это вы умудрились простыть в такую жару? – удивлялась вызванная на дом участковая врач. – Сидели, наверное, под вентилятором?

Через несколько дней она вернулась на работу. Тщательно переписанное заявление лежало в сумочке.

– Войтович уволился! – первое, что услышала, переступив порог редакции. – Был скандал! Шеф ни за что не хотел его отпускать. В конце концов по закону ему полагалось отработать ещё две недели. Но он не захотел и насмерть поругался с шефом.

«Сбежал! Сбежал от меня! Робинзон, бросивший свою Пятницу!»

И уже не думала ни о спасённой карьере, ни вообще о работе, не искала хотя бы какой-то логики своих рассуждений, пронзённая одной неотступной мыслью: «Да ведь он же любил меня, любил!»

Из всех коллег на корпункте муж как-то всегда выделял её, никогда не называя просто по имени, но всегда, в шутку: «Кира Прекрасная». Тёмные завитки густых волос и неожиданно ярко-синие глаза, и нос, интересный нос, восточный. Красивое создание. Если бы Светлана не была уверена в нём безусловно как в человеке, в муже, отце их ребёнка, возможно, и пригладелась бы ближе к этой журналисточке. «Ветра в голове много, но талантливая», – говорил о ней Михаил. Но мало ли талантливых людей на свете, даже и «журналисточек». Держится весело, бесшабашно даже. Тот самый тип женщин, который Светлана никогда толком не понимала, но к которому относилась несколько свысока: попрыгушки, стрекозы.. Столько лет прошло, и вот вдруг она позвонила. Говорит, придумала книгу. Или, точнее, альбом: фотографии и новеллы к ним. Не животные, не природа вообще, не города, не веси – люди. «Люди всё ещё меня интересуют! – так, несколько иронично, но опять весело. – Несмотря ни на что, всё ещё не разочаровалась в людях. Снимать их, вырывая у вечности, размышлять о них и вместе с ними».

– В век селфи и интернета? – удивилась Светлана.

– Да, авантюра, безусловно. Но, знаете, ваш муж так и называл меня когда-то: авантюрьера! – И опять смеётся в трубку, но смех через силу, нервный.

– А я думала Кира Прекрасная.

– Ну, это когда было! – голос торопится, слова налетают друг на друга, чтобы проскочить опасное, узкое место разговора.

«Насколько она младше меня? – прикидывает вдруг Светлана. – Лет на пятнадцать?»

– Ну что же, – говорит, – всё фотохозяйство мужа пылится на антресолях, и две его камеры – они не нужны мне, забирайте. В лизинг, – добавляет, и обе смеются, каждая на своём конце провода.

Вечером лезет на антресоли, собирает всё в один большой картонный ящик и среди прочего хлама, который уж точно надо бы выбросить, натывается на пачку фотографий, лежащих отдельно в плотном, порыжелом конверте. Открывает конверт и видит её. Кира улыбается, машет кому-то рукой. Стоит, явно позируя. А здесь снята скрытно, видно, не догадывается, что её снимают. Что-то пишет, сидя за столом согнувшись. И столько тепла в каждом снимке, какой-то непонятной, пронзительной нежности, так что Светлана замирает, пронзённая одной-единственной мыслью: «Он же любил её, любил!»

Нет! Они так недолго работали вместе, быть не может!

Ну, а потом, когда он перешёл в газету?

Нет, нет и нет! Она бы знала. Они не виделись, не могли видаться, я бы догадалась!

Судорожно перебирает фотографии, тасует зловещую колоду вероятной неверности мужа и не может взять в толк: как же это могло быть? Фотографий много, но видно, что всё снято за год-два, не больше, только в конце пачки какие-то снимки поновее. Женщина в лёгком свитере, волосы на ветру летят себе, а взгляд почему-то грустный, только губы улыбаются привычно.

Бросает конверт на пол, садится на единственный кухонный стул, сидит неподвижно какое-то время и вдруг одёргивает себя: «Зачем? К чему? Его уже нет на свете. Чего ради копать в прошлом, выискивать, вынюхивать? Он любил меня. Всегда любил только меня». И эта простая мысль сразу успокаивает её. Тщательно собирает фотографии с пола, пакует ящик и на самое дно его кладёт обнаруженный пухлый конверт.

Суббота. В отделении больницы один дежурный врач на два этажа.

Кира корчится на койке в углу у окна. Лекарство «не пошло». Лекарство вызвало аллергию, ей совсем плохо.

– Что вы ко мне пристаёте? – негодует медсестра. – Был же обход с утра, почему ничего не сказали врачу?

– Оно как-то по нарастающей идёт, – оправдывается Кира. – С утра ещё было терпимо. А сейчас... вот... обсыпало. И температура.

– Идите ложитесь, не мешайте мне работать.

Перед медсестрой лист назначений, она готовит уколы. Кира покорно бредёт на своё койко-место. Время затормаживается. Вот уже и темнеет. Неужели вечер или просто темно в глазах? Жажда. Пить. С трудом поднимается, бредёт к раковине, пьёт воду прямо из-под крана. Тошнота не проходит. Возвращается. Ложится.

«Странно, – думает, – столько людей вокруг, и никому нет до меня никакого дела. Нет, надо удрать. Да, удрать».

Как удрать, додумать не получается. Проваливается в забытьё, в тяжёлый сон.

К ужину появляется медсестра. Тормозит за плечо: «Я говорила о вас с дежурным врачом, он назначил вам укол».

– Нет! – Кира в ужасе натягивает одеяло до подбородка. – Не надо! Мне и так плохо от тех предыдущих лекарств! Ещё один укол, нет, я не выдержу!

– Как хотите! – сестра бросает полный шприц на поддон. – Сами не знаете, что вам надо! – И удаляется в негодование.

Киру грызёт совесть. «Вот, напрягаю людей, – думает. – Вот бы исчезнуть, избавить всех от себя. Никому не мешать. Главное – не мешать никому».

А время капает капельницей: кап, кап, кап... Кира открывает глаза. Иголка на её запястье зафиксирована лейкопластырем, и откуда-то сверху что-то вливается в измученное тело: кап, кап, кап...

Она видит Светлану, её озабоченное лицо.

– Ну и напугали же вы всех! – шепчет Кире. – Но теперь лежите тихо. Всё хорошо. Всё наладится.

Кира улыбается ей и закрывает глаза. Слишком много света. Глубокая ночь, но прямо над ней, в изголовье, пугающе резкий, беспощадный неон.

С утра в понедельник у кровати Киры неожиданно возникают целая группа врачей и интерны. Лечащий доктор докладывает: «И лекарство-то простенькое, а такая тяжёлая реакция...»

Заведующий отделением улыбается Кире, щупает её пульс, но глаза у него злые.

– Капельницы продолжаете? – спрашивает у лечащего врача.

– Да, пока продолжаем.

– Отменить. Хватит с неё.

– Только физраствор...

– Хватит! – рычит на коллегу.

Интерны смотрят на Киру как на выходца с того света, что, впрочем, недалеко от истины.

– Мне бы домой! – говорит она заведующему. – Отпустите, пожалуйста.

– Надоели мы вам? – улыбается заведующий.

– Нет, почему... – Кира зажмуривается, не зная, что ещё сказать.

Удрать самостоятельно не получится, ослабела. Да и скандально. Нет, надо отпроситься.

– Ладно, – заводит делением кивает лечащему врачу, – понаблюдайте её ещё пару дней – и на выписку.

– Спасибо! – выдыхает Кира.

Но группа уже повернулась к ней спиной, уже удаляется в коридор.

– Ой, лыхо! – стонет на соседней койке баба Катя. – Ой, мочи моей нет!

Но группа уже в коридоре.

Вечером перед выпиской они сидят со Светланой в дальнем конце больничного коридора, примостившись прямо на подоконнике, тихо беседуют.

В ту субботу Светлана вовсе не должна была появиться в палате, где лежала Кира, но она появилась. Просто поменялась сменами с напарницей – та попросила. Сразу узнала Киру, подошла к ней, наклонилась... и со всех ног бросилась по лестнице, одним махом спустилась с пятого этажа на первый, резко отворила дверь реанимации: «Там человек умирает!» Женщина-реаниматолог подняла на неё глаза:

– Где умирает, объясните толком!

Светлана начала объяснять, руки её мелко подрагивали.

– Идите, здесь нельзя находиться, мы сейчас поднимемся к ней. – Лицо врача остаётся всё таким же сдержанным и спокойным.

– Но вы правда придёте? Придите, пожалуйста! – просит Светлана.

– Вон отсюда! – теряет терпение реаниматолог. – Прекратите! Я пришлю врача.

И присылает. Пока Светлана, нога за ногу, почему-то пешком, не в лифте, поднимается на пятый этаж, там уже сидит незнакомый ей толстяк-доктор и читает историю болезни Киры. Вовремя читает. Оставили бы её в таком состоянии до утра, кто знает, чем бы всё закончилось.

– Ну и ладно, всё хорошо, что хорошо кончается, – говорит Светлана, соскакивая с подоконника. – Пойду, мне ещё четвёртый этаж убирать.

– Как мне благодарить вас? – вздыхает Кира. – Только об этом и думаю всё время.

– Чепуха! – И уходит.

Залезла в долги, но на снимках, выложенных в интернете, сидит в пышном наряде, в дорогом ресторане, перед ней блюдо с устрицами. Наряд взят напрокат (а кто догадается?), так же, как фальшивый красавчик-бойфренд (а кто знает, что фальшивый?). Лучше всего арендовать спортсменов: мускулистые и берут недорого.

Нахватала кредитов, долго едет автобусом в Италию. Поселяется в трехразрядной гостинице. Зато на снимках в сети пинает ногой Пизанскую башню. Рядом на ту же тему упражняется группа китайцев.

А вот уж роскошь настоящая. Большие Деньги. Белые гольфы и пробковый шлем. Колесит по юго-востоку Азии в костюме белого человека, со знанием дела перебирая на сайте достоинства и недостатки того или иного

пятизвёздочного рая. И невдомёк большинству цифровой публики, что мода на подобные путешествия, введённая в оборот английскими интеллектуалами ещё в начале прошлого века, лет семьдесят как прошла. Учатся. Завидуют.

Ну, а этот вообще никуда поехать не может, кредитов опасается. Но тут случаются роды жены. Выкладывает их в сеть, не догадываясь, что интимное должно оставаться в тени, что, выволоченное под софиты, оно неизбежно подвергается дегенерации, становится уродством.

Миллиарды кочующего по планете визуального хлама. Любой вздох. Каждый чих. Визуальное безумие нового века.

Между тем книжка Киры выходит наконец. Так себе, небольшой альбомчик. И люди-то все простенькие, и истории на первый взгляд незамысловатые, но тираж расходуется быстро. Его даже хотят допечатывать, но попадает альбомчик во всемирную паутину, запутывается в ней беспомощной мухой и там благополучно исчезает. Но это уже не волнует автора. Вторая книга уже оформилась вся в уме, продумана-передумана вдоль и поперёк, но работу неожиданно приходится отложить.

Дежурный священник городского собора сидит за столом в дальнем конце левого притвора, аккуратно напротив большой иконы Страшного Суда. Кира в очереди, на лавке, номером третьим. С первым номером никаких заминок не возникает. Батюшка торопливо достаёт из своего портфеля свёрток, и бомжеватого вида малый, в неряшливой одежде, какой-то весь обглоданный жизнью, так же торопливо свёрток забирает и с ним удаляется. Подкармливает его батюшка.

Далее следует женщина лет пятидесяти, что-то быстро священнику начинающая объяснять, по временам повышая голос до жалобного повизгивания. Кира отодвигается подальше, чтобы ненароком не расслышать чужие секреты, сидит на лавке задумавшись. Требуется изложить своё дело кратко и чётко, по возможности избегая таких вот повизгиваний. Но, оказавшись за столом напротив человека в рясе, со сценой Страшного Суда по левую руку, быстро теряется. Что-то лопочет, то и дело оглядываясь по сторонам, словно пойманный за руку воришка или злоумышленник.

– Испания, Сантьяго-де-Компостела? – перебивает батюшка. – Это с какой радости вам туда понадобилось ехать?

О! Это, конечно, правильный вопрос. Очень уместный. Но Кира теряет окончательно.

...Она позвонила так неожиданно, что Кира даже не успела этому удивиться. Виктория, Вика, бывшая жена мужа номер два, как Кира его иногда называет. Жили себе счастливо, растили дочек-близнецов, из-за которых в своё время и была оставлена Кира, но дело это давнее, былых обид давно не вызывающее. А они жили себе, поживали, и вдруг муж исчез. Был человек, бизнесмен, отец семейства – и нет. Несколько месяцев тщетных поисков. Естественный крах возглавляемой супругом фирмы. Но деньги!.. Что деньги! Хоть бы какая-то зацепка в поисках!

– И это самое страшное! Понимаете, ну ничего. Просто вакуум! – Вика плачет.

– Так не бывает, не 90-е же годы! – Кира пытается возражать, но видит напротив потерявший всякую надежду, бьющийся мелкой рыбёшкой об лёд собственной беспомощности взгляд, и замолкает. Словами горю не помочь.

Ещё несколько месяцев проходит. Каждый раз, собираясь звонить Виктории, долго уговаривает себя: «Зачем? Что я ей скажу? И вообще, кто она мне?!» И всё-таки звонит, не может не звонить.

Однажды голос женщины меняется. Какая-то надежда появляется в нём, даже не сама надежда, а так, слабый её отсвет. Говорит, собралась в Испанию, в Сантьяго-де-Компостела, просить святого Иакова, чтобы помог разыскать мужа. И эхом в конце фразы: «Может, он ещё жив».

– Разумеется, жив! – Кира возмущена. – Что за манера раньше времени хоронить человека!

– Поедете со мной? – вдруг спрашивает Вика. – Поедете? Я очень на вас рассчитываю.

Да, поворот... Конечно, с горя чего не придумаешь! Но Вика католичка, а у католиков есть этот обычай: паломничество по дороге святого Иакова. Она верит, что ей помогут. «Но я-то тут при чём? И вообще, кто она мне?!» – возмущается привычно, мысленно уж прощаясь с книжным гонораром, которой, конечно же, теперь уйдёт весь.

– Понимаете, – говорит Кира священнику. – В Сантьяго де Компостела ещё со времён Средневековья ведёт несколько дорог, одна, кстати, началась из немецкого Трира, где потом родился Карл Маркс. Но мы хотим идти из Португалии вдоль побережья. Машин поменьше, людей, суеты. Хотя по нынешним временам это скорее всего и не так.

Батюшка смотрит на Киру пристально и вздыхает. И всё в этом вздохе, надо встать, попрощаться и уйти. Но что-то вдруг взрывается у неё внутри, слова сами вылетают наружу на волне отчаяния:

– Страна вдов! Мы – страна вдов! Статистика говорит: после 65 у нас миллион одиноких женщин. Миллион одиноких старух! Армия!

– После 65? – священник задумывается. Левая бровь его вдруг сползает куда-то вниз в горестном сарказме: – Двадцать восемь лет ей было. На прошлой неделе мы её отпели.

Кира замирает. Отпели кого? Она не спрашивает. Чужая боль, затронуть грубо нельзя. А батюшка продолжает:

– Косы! Какие там были косы! Ей оставался ещё один сеанс химиотерапии, но она не поехала в клинику, просто устала, я думаю. Через месяц умерла. На прошлой неделе мы её отпели. Но вы правы. Одно только страдание ещё не делает человека совершенным. Важен Путь. Путь ко Христу.

И, поднявшись с места, благословляет Киру: «Езжайте, с Богом».

Трамвай шёл по городу, весело позвякивая на рельсах.

– Какой весёлый трамвай! – подумала Кира.

После Испании настроение у неё всё время было приподнятое, радостно на душе, хотя поездка оказалась трудной даже и физически: пара удобной обуви истёрта в прах, а бедные пальцы ног так до сих пор толком и не зажили. Но столько передумано в дороге, в конечном пункте – *finis terrae* – месте поклонения и молитвы, о чём ей так хотелось рассказать теперь Светлане. И вот она ехала к ней на трамвае, как в памятном январе несколько лет назад.

Весна была в самом зените, обещая скорое цветение вишнёвых и яблоневых садов. А там зацветут каштаны, акации, и уже на границе лета накроет город дурманящим облаком липовый цвет.

После болезни Киры они так ни разу и не встретились, в чём она сейчас себя упрекала, вечную свою занятость и хлопотливое жужжание. Легко вспомнила номер дверного кода, легко вошла в подъезд, поднялась на второй этаж. Позвонила. Ответа не было. «Всё-таки надо было договориться заранее, не ехать наобум, мало ли где человек может быть», – подумала с досадой и позвонила ещё и ещё раз. Старомодная, со звонком, обитая коричневым дерматином дверь квартиры безмолвствовала. Но вдруг резко распахнулась дверь соседней квартиры, и два злобных глаза уставились на посетительницу.

– Ну что раззвонились! – глаза женщины в атласном кимоно метали молнии. – Нет её там и не будет!

Дверь так же резко захлопнулась, а Кира так и осталась стоять в недоумении с незадачным вопросом: «Почему не будет? Где, где ваша соседка?» Помедлила, но так и не решилась потревожить даму в кимоно. Звонка на её массивной входной двери не было. «Говорят, эти новомодные сооружения вору вскрывают на раз, как консервные банки», – подумала машинально и нехотя, словно запинаясь, стала спускаться по лестнице вниз.

У подъезда стояла старенькая, без нескольких досок скамейка. Кира опустилась на неё и долго сидела, хотя сидеть было мокро из-за недавно прошедшего дождя и неудобно. Воробьи весело плескались в неглубокой луже у подъезда. Завтра же всё разузнает о Светлане. Может, она просто продала квартиру и уехала к сыну. Завтра же. Обязательно! И вспомнила её голос. Они редко перезванивались, в последний раз ещё до Нового года. Голос Светланы показался ей тогда каким-то надтреснутым, монотонным, усталым. Сказала, что ушла с работы, но причину не объяснила, тут же перевела разговор на другое... А воробьи всё плескались в луже, наслаждаясь весенним теплом, но неожиданно, как по команде, дружно взмыли в вечернее небо. Кира вдруг ощутила страшную тяжесть. Будто что-то огромное придавило её тяжёлой ладонью к земле.

Они уходят! Уходят от нас. Близкие и далёкие. Те, с которыми жили долгие годы, любили их, были привязаны к ним, и те, которых так и не успели узнать и полюбить. И горько нам от их ухода, одиноко и больно – всем. И тем, кто верит, что смерть всего только временная разлука, и тем, кто над этой верой смеётся. Всем. Потому что уход каждого человека всё равно остаётся вселенской катастрофой и здесь, на земле, ничем восполнен быть не может.

Кира поднялась со скамейки и медленно пошла к остановке.



**Геннадий
ПЕТРЕНКО**

ПЕРЕКРИЧАТЬ БЫ ЭТУ ТИШИНУ

От славянских смут – до славянских братств.
Обожжённый путь – до открытых врат.

У родимых душ и родных могил –
степь черна, и сушь, и по ветру пыль.

И от века в век не прозрел народ.
От великих рек – лишь в болото брод...

Пахнет печка Древней Русью.
Невесомый дым с трубы
веет бабушкиной грустью
прожитой уже судьбы...

Куличи с большой горбушкой
сладко стынут на столе,
и лампадочка в избушке
чуть коптит на фитиле.

Вот и яйца расписные –
Пасха, Пасха на дворе!..
Корни наши родовые –
в алой утренней заре.

Высоким уровнем воды
гладь поднята на тихой речке.
Деревьев стройные ряды
в моём затопленном местечке...

-
- Геннадий Вячеславович Петренко родился в селе Александровка Павловского района Воронежской области. Окончил Павловское педагогическое училище, исторический факультет Воронежского государственного педагогического института. Работал учителем в школе. Публиковался в журнале «Подъём», в районных и областных изданиях. Автор книги «Дом на восьми ветрах».

От ветра голову пригну –
а он от края и до края
взбивает пенную волну
и в берега её толкает.

Раздольем здесь весна полна
и половодьем бесконечным!..
И потому волна вольна
запечатлеть себя навечно.

НА БЕРЕГУ

Прошлогодний камыш
скошен намертво режущим ветром,
из уложенных стрел –
горы мусора на берегу...
Что же нового здесь,
в позабытом краю неприметном,
в зеленеющих тропах
на просторном весеннем лугу?

Те же воды текут
и впадают в моря-океаны,
то же солнце вверху
греет спины проснувшихся рыб.
И в низины заходят,
облаками движимы, туманы –
мимо белых берёз
к старым ивам в затонный изгиб.
А крапива –
ещё ниже маленьких сочных травинок –
тянет вверх бахрому,
пелену нежным листьям прядёт...

Но свидетель дорог –
шаткий мост из дубовых жердинок
растревоженно скрипнет –
и в сердце печаль снизойдёт.

Прощальный взмах осеннего листа,
полёт по ветру в бездну... Приземленье.

Здесь от печали нет нам избавленья –
лишь скорби след, да неба пустота,
да мокрый след осеннего листа...

Бежим по путаной судьбе
без остановки.
Как в русской зрелищной игре –
нужна сноровка.

Там мяч до неба, как мечта:
чем выше – лучше.
Неприхотливая лапта,
но нам не скучно...

И набираются очки
на перебежках.
А каждый промах на пути
грозит: не мешкай!..

Вот так и мчимся во всю прыть
с душой открытой.
Ах, лишь бы сердце не разбить,
как мячик – битой!

Обнажились вороньи жилища,
понависли на голых суках..
Их жильцы пропитание ищут
на раздольных полях и лугах.

Здесь, в глубинке им – воля-раздолье
на дорожных густых полосах!
Гулы ветра пронзительно-больно
обвивают тропинки в лесах.

Всё одно: темноватая осень,
чёрствый след – и парит вороньё.
И меня, может, кто-нибудь спросит:
«Здесь ли было жилище твоё?..»

Я не видел той церкви купол:
разобрали на кирпичи.
Понял позже: то было глупо,
расхристосовы палачи!..
Бабка рано крестилась в небо
и на угол святых икон:
чтобы каждому – корка хлеба,
внукам-правнукам – сладкий сон..
Нет уж бабки, ушла в покои.
Церковь новая – крест в зенит!
Жизнь ломает, чтоб снова строить
то, что память для нас хранит.

А что до вишен загнанной собаке?
В зверином мире красная – лишь кровь
и плоть...
Вот гон мышей в цветущем злаке
ей снился – в радость,
да хозяина любовь...
Терпеть под деревом пусть тесную – но будку,
носить короткую, с ошейником, но цепь –
лишь для него...
Загавкала б не в шутку
на вольную, задумчивую степь!..

Зачем теперь ей сад у дяди Вани?
Пусть птицам впрок пойдут созревшие плоды –
устала, спит...
Последнее дыханье
взлетает ввысь до утренней звезды.

Зажав узлом четыре уха,
я в тряпке осень унесу –
рыжеволосая старуха
ещё не сбросила красу:

плащом помахивает рваным,
заплаты дождь к асфальту бьёт...
Но в продырявленном кармане
не удержать Вселенной ход.

И я сменю четыре уха
на одноногий инструмент,
чтоб белоснежные краюхи
сгребать – до новых перемен.

КОЛОДЕЦ

Предчувствуя слепое невезенье
и горькие превратности судьбы,
сильней, как цепь, натягиваю звенья
в процессе добывания воды.

В святом глотке оттягиваю время,
укореняясь прочно на земле,
зачерпывая тайны исцеленья
Вселенной, потянувшейся ко мне.

Перекричать бы эту тишину
и, не боясь несказанного слова,
из бездны Истину вычерпывать одну
к поверхности водицы родниковой.

Много прежних друзей откололось по половинкам:
кто в начальство ушёл, кто в погонах звездистых завис.
Ну, а я прошагал в тишину
по весенним дождинкам –
под прижатый судьбой камышовый просевший карниз.

Как за дальнюю даль,
посмотрел в родниковый колодец –
там увидел луну в отраженье холодных глубин..
И поверил: я сам – тот наивнейший первопроходец
среди полей и небес у огромных зимующий льдин.

Нет, из старых друзей всё же есть и такие, и круче –
я их видел и знал: по одной пробирались тропе.
А других не заметил – застряли в потрёпанной туче
и скатились во тьму в заскорузлой своей скорлупе.

Может, Бог им судья? Но обычно они неподсудны,
от единой земли рвут зубами серебряный куш.
Что ж, отряды стоящих за правду немногочисленны –
в единении чистых, распахнутых, праведных душ.



**Виктор
БИРЮЛИН**

В ТИХОЙ ГАВАНИ

УДАЧА

В последнее время в семью зачастило везение.

Возвращаясь с дачи, жена села в попутку, поскольку автобуса по расписанию не оказалось. Водитель, взяв её, ещё одну женщину и мужчину, перекрестился и помчался по пустой с утра дороге. Не доехав до небольшого автомобильного хвоста у закрытого железнодорожного переезда, он повернул на встречу, рассчитывая оказаться первым у открывающегося шлагбаума. В это время из строя выехал тентованный грузовик и стукнул попутку передним бампером в бок. Машину отбросило в сторону дорожного обрыва, но она удержалась на обочине. Жена и её спутники отделались испугом.

У младшего сына, гостившего у приятелей, ночью сняли чехол с запасного колеса «Нивы». Стоит полторы тысячи. Да и обидно. Но на следующее утро уже возле его дома оно опять оказалось в чехле! Получается, кто-то заметил голое колесо и надел на него свой чехол, пусть, может быть, и лишний.

Старший сын поправлял на автомойке постоянно сползающий ортопедический бандаж. Рядом случайно оказался знакомый, бывший хоккеист, который, посмотрев на его мучения, съездил и привёз надёжный пояс из хоккейного снаряжения.

Сам я, сидя в садовой беседке за утренним чаем и поругивая докучавших соседей, чуть не спалил всю округу. Золу из мангала, не убедившись, что она остыла, высыпал в деревянный ящик. Он воспламенился, от него запылали сухие листья за забором. А рядом дубы! Хорошо ещё, не ушёл из беседки. В мгновение ока залил огонь водой из ближней бочки. И к проделкам соседей сразу охладел.

Наконец, ночью в туалете из-под крана холодной воды напало целую лужу. Перекрыл кран, с тоской думая о том, что утром надо будет возиться с ним, вызывать слесаря. Но утром уже не капало!

-
- Виктор Владимирович Бирюлин родился в 1951 году. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета. Автор сборников литературно-критических статей, книг публицистики и эссе. Печатался в различных российских и зарубежных журналах, альманахах. Живёт в Саратове.

ПОЛЁТ СЧАСТЛИВЫХ БАБОЧЕК

В конце лета гостил у приятеля, разбившего на большом волжском острове виноградник с винодельней и погребом.

После застолья уютно устроились на затенённой веранде. Хозяин вынес из погреба домашнее вино трёхлетней выдержки. Бутылка была уже почата, но на два добрых бокала хватило. Не спеша наслаждались напитком богов среди земного рая.

Нас окружали виноградные кусты с созревающими гроздьями. Взгляд охватывал часть острова с зелёными зарослями и широкую протоку. Из зарослей доносились бодрые птичьи голоса. По протоке скользила парусная яхта. И всё освещалось мягким августовским солнцем.

Уже в своём саду любовался внуками, бегающими по лужайке за порхающими бабочками. В своих белых панамках и цветных шортах они сами были похожи на счастливых бабочек.

Воробьи привычно шебаршатся, чирикают на ветках яблони.

Отнёс в малинник яичную скорлупу. Возвращаясь, привычно перемахнул ступень на сходе террасы. И ворохнулось в голове: «Сколько ещё буду вот так летать по саду?»

Выбрался из бани. С лёгким паром! Ещё бы лёгкого ветерка. Но хватило и душистого чая со свежим вареньем из малины.

Поздней осенью вернулись с женой из сада вместе с внуком Тёмой, который ходил по дорожкам и спрашивал: «Деда, а где цветы?»

Солнце выбралось из-под туч, осветило окно кабинета: всё будет хорошо!

К жене приходили в гости бывшие ученики. Весело пили чай с пирожными и без умолку говорили.

Гостил старший внук Тима, обыгравший во все игры. Выиграл он и городские соревнования по шпаге. В прошлом году был шестым. А в этом победил всех сверстников, в том числе и тех, кто год назад был впереди него.

Приехал к младшему сыну Ивану, который выписал учебную казацкую шашку и занимается фланкировкой – ловко вертит ею во все стороны. Продолжил знакомство с годовалой внучкой Глашей – она ещё присматривается ко мне. Поиграл с котом Арчибалдом, пытавшимся царапнуть мою руку.

Отвезли Тиму в школу и махнули с Иваном в уже зимний сад. Поговорили о всякой всячине. Помечтали. И обратно.

Как живительны эти безгрешные мелочи! Душа становится мягче и свободнее. Может, в последние мгновения они всплывут в памяти и утишат горечь расставания с подлунным миром?

НУ, ЗА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!

Бездумно раскачиваться на полуденных садовых качелях мешал вчерашний случай.

Вчера выкапывал малину у соседей, уехавших в город. Выбираясь из запущенной грядки, задел, и крепко, головой о толстую ветку яблони.

Это тебе за воровство – сразу нашлось объяснение. Но выкапывал с разрешения!

Тогда за жадность. Да какая там жадность! Десяток ненужных соседям саженцев для своего пустеющего малинника. Это сытому хорошо рассуждать, что можно иной раз и не поужинать.

Тогда почему стукнулся?

Да случайно, задумался.

Ну уж нет – раз получил по голове, значит, не без причины. Неосторожность – это не причина, а скорее следствие. Поэтому и последовало наказание. Ещё хорошо отделался!

Где же здесь здравый смысл?

На днях звонил однокашник. Сообщил, что купил сумку для поездки в Англию, и пожаловался, что уже полгода сидит без работы и, соответственно, без заработка. Парень явно без царя в голове.

Припомнилось немало несуразиц.

Например, целью учёных является установить возраст Туринской плащаницы. А целью верующих – доказать, что ей две тысячи лет. Здравым смыслом здесь и не пахнет.

Враждующие стороны часто молятся одному богу. И не заморачиваются на этот счёт. И плюют заодно на здравый смысл.

Накинулись на Грету Тунберг, ставшую знаменитой юную защитницу природы – кто она такая, кто за ней стоит? Да хоть дьявол! Он тоже может сказать правду.

А вот ложь, «освящённая» веками, не становится же истиной?

И оттого, что у человека нет денег, он меньше есть не хочет, скорее, наоборот.

И чтобы стать великим писателем одного пристрастия к выпивке мало...

Наконец успокоился и стал раскачиваться на качелях.

Вскоре склонило в сон.

КАК ЖИВЁШЬ, ПРОСТОЙ ЧЕЛОВЕК?

Простой человек посмотрел в окно. День в разгаре, но небо закрыли серые тучи, и в комнатах темно, как поздним вечером. По городским пустырям и дворам летают стаи грачей в ожидании, когда поля освободятся от снега.

Он вдруг вспомнил, как возвращался с чьего-то юбилея с женщиной, к которой был неравнодушен. Ехали в полупустом троллейбусе, устроившись на тесном сиденье, будто вернувшись в юность, время первых свиданий, первого обожания, лёгкого, невинного.

9 мая позвонила сослуживица. Похвасталась Георгиевской ленточкой, сказала, что слушает военную музыку, что отец у неё всю войну прошёл.

Ему было всё равно, что царь, что псарь. Дело в другом: каков царь и каков псарь.

В поликлинике встретил давнюю приятельницу. Она сильно хромала на левую ногу. Поговорили о рыбацком счастье её недавно умершего мужа. С грустью поведала, что раздаёт его накопившиеся снасти.

Дни простого человека проходили привычно, несложно, если не брать в расчёт разношёрстные мысли, постоянно вертящиеся в голове.

Вот он со вкусом поужинал тушёной скумбрией со свежей зеленью. Так бы до смерти ужинать!

Жена-учительница перебрала перед выходом на пенсию школьные бумаги, избавляясь от ненужных.

Поговорил со сведущим самогонщиком, уверявшим, что спирт для водки в наши дни делается из сопутствующего газа.

С дачной остановки за ним не отставала сухонькая старушка. Уже на спуске к садам сбавили шаг, немного поговорили. По её словам, в молодости она летала. Да и сейчас высадила сотню саженцев помидоров, и всё остальное у неё растёт, включая цветы.

Съездили семейной компанией на кладбище. Почистили, подкрасили ограды, навели порядок на могилах отца и бабули. Воткнули в изголовья яркие бумажные цветы.

И на душе простого человека стало легче.

ОТЦА-ТО БОЛЬШЕ НЕТ!

Вчера похоронил свата. Он умер от остановки сердца, которое не выдержало атаки ковида. Сват не отличался крепким здоровьем, но был на ходу, служил.

Обычное сегодня дело.

Он многим помог в профессиональных и житейских делах. Об этом говорили его вузовские сослуживцы, столпившиеся вокруг гроба в тесном ритуальном зале больничного морга. Все были в масках. Закрытые голубоватой материей лица рождали чувство нереальности происходящего. Что, впрочем, соответствовало общему настроению и в зале, и за его пределами.

И мне есть что вспомнить. Чего стоили одни поездки на Дон, родину свата! Вживую увидел объятую исторической дымкой землю. Он негромко, с хитроватым прищуром рассказывал, как подростком таскал ведрами воду из речки для огорода-кормильца. И в его саду на волжском берегу провёл немало времени. А сколько переговорено! Не о пустяках – о важном. Не во всём мы сходились, но сват умел вовремя уступить, смолчать.

Долгожданного внука привезли из роддома в его квартиру. Пока на кухне родня отмечала радостное событие, внук спал на широкой сватовой кровати. Зашли проведать его. Запелёнутая беззащитная кроха лежала на боку с закрытыми глазами. Сват воскликнул счастливым шёпотом: «Спит как ангел!»

Для него семья была на главном месте. Он твёрдой рукой вёл её через ухабы и топи. И все его научные изыскания, многолетняя профессорская работа, даже родная казачья сторона имели смысл только при наличии крепкой, дружной семьи.

Поэтому и обидно, что умер он в одиночестве.

Только представляю, как его подключают к аппарату искусственной вентиляции лёгких, и он знает, что вот-вот впадёт в забытьё, сразу наворачиваются слёзы.

Последние мысли сват унёс с собой. Но перед реанимацией его предупредили, что с телефоном в неё нельзя, и он позвонил жене, отдав ей необходимые распоряжения, и дочери, подробно расспросив о старшем внуке и внучке-малышке.

Похоронили и помянули свата.

На поминках, на которых тоже много говорилось о достижениях и незаурядном характере свата, его дочь сказала, как бы отводя всё это в сторону: «Отца-то больше нет!»

Сват и мне родной человек. Наша кровь смешалась во внуках. Оттого и невыносимо, что его вдруг не стало. Сознание не хочет мириться с этим. А душа тоскует.

Смерть, как и рождение, достойна уважения. Но любить её не за что.

Она непостижима, сколько ни думай, ни прислушивайся к доводам умнейших людей. О рождении ещё можно сказать что-то путное. О смерти – нечего. Вот уж настоящая чёрная дыра. И не в далёких просторах Вселенной, а рядом с тобой, только оступись.

ДЕТСКИЕ СТРАХИ

Подростком боялся огромного удава, который неотвратимо двигался под моей кроватью, когда я засыпал. Глаза, конечно, тут же открывались и не закрывались, бывало, долго, пока не меркнул страшный призрак.

Появлению страха предшествовали переезд в чужой город, мыкание по съёмным комнатам, переход из одной школы в другую. Но змей стал появляться, когда въехали наконец в свою квартиру и я стал учиться в постоянной школе.

Видно, ощущение неустроенности, зыбкости окружающего мира уже назрело и прорвалось как раз в спокойном состоянии, воплотившись в движение извилистого тела.

С годами удав всё реже нарушает сон. Но канал телевизора переключаю сразу, как только на экране появляются змеи – большие, бесшумно двигающиеся сквозь тропическую зелень в поисках беспомощной жертвы.

Живых змей боюсь не больше других. Правда, попадались только ужи, полозы и, редко, метровые гадюки.

И слава Богу!

НА КУЛЬТУРНЫХ ПАСТБИЩАХ

Приятель рассказал о случае из студенческой практики, которую он проходил в редакции сельской районной газеты ещё в советские времена.

Ради шутки ему поручили написать о культурных пастбищах – их было не сыскать и днём с огнём. Но он с утра пошёл в библиотеку, где почерпнул необходимые сведения. А с ними отправился к специалистам, с которыми завязал разговор, вылившийся в итоге в толковую статью.

Если вкратце, то культурные пастбища отличаются от диких тем, что на них целенаправленными усилиями добываются более качественного травостоя.

Подумалось: а ведь из своего рода культурных пастбищ состоит и наша цивилизация. И произрастают на них чудесные растения, чьи плоды наполнены сокровенной правдой жизни, говоря возвышенным слогом.

Агату Кристи восхитил старинный китайский рисунок. На нём изображён сидящий под деревом старик. Он играет в бильбоке. Рисунок называется: «Старик, наслаждающийся праздностью».

А меня восхитили жизненные правила одной хрупкой француженки: «Никогда не жалуйся, не объясняй и не оправдывайся, ни перед кем не показывай своей слабости».

Йорн Утзон, архитектор здания оперы в Сиднее, увидел мудрость, скрытую в самом, казалось бы, простом: «В каждом саду есть свои сорняки. Но они не должны нам мешать наслаждаться садом».

На мой взгляд, Статуя Свободы не та, что в Нью-Йорке, а та, что в Париже. Зовут её Эйфелева башня. Высокая, видная, элегантная, лишённая всякого командного, агитирующего тона. Одним словом, свобода!

А наши приметы свободы по-прежнему дики – могучий лес, бескрайняя степь да широкая водная гладь. На мой опять же взгляд.

Допустим, кто-то поносит обожаемого вами Пушкина. Вы вступаетесь за своего кумира, готовы перейти от слов к кулакам. Но при любом раскладе хулитель останется при своём. Стоит пожалеть того, кто дошёл до ругани написавшего: «Я вас люблю...». Ясно, что его душа не в порядке. Лучше попытаться раскрыть ему глаза, а там, глядишь, и он зауважает солнце русской поэзии.

Рожая детей, мы выполняем волю Вселенной, постоянно созидающей наперекор разрушению. Созидающей рождением новых звёзд и продолжением своего рода каждой живой космической крупинкой. Мы можем пре небречь этой волей, в отличие от «неразумных» меньших братьев, растений и бактерий. Но отменить её не в силах.

Много лет знаком с крымским писателем Ириной Сотниковой. Она вела блог, богатый на разнообразные публикации. Понравилась ей и мои рассказы. Завязалась дружеская ненавязчивая переписка. Снимаю шляпу перед человеком творческим, образованным, много умеющим, знающим жизнь из первых рук, ошибающимся, падающим и вновь встающим на ноги. Но если вдуматься: переписываюсь, и довольно откровенно, с женщиной, которую никогда не видел, не слышал и вряд ли увижу и услышу.

Совершенные копии любой картины или статуи возможны. Чем они хуже подлинников? Ничем, ведь они одинаковы. Почему же за подлинники выплачиваются астрономические суммы, а за их копии, которые верны, могут и в тюрьму посадить? Этого требует сверхприбыльная торговля выдающимися произведениями искусства. При этом страдают интересы простых зрителей. Из-за выгоды кучки богатеев и обслуживающих их интересы специалистов люди вынуждены ездить, плыть, летать по всему миру, чтобы полюбоваться шедеврами. А многими уже не полюбуешься, поскольку они надёжно заперты в частных хранилищах.

Почему бы не делать равноправные копии талантливых произведений и не размещать их в выставочных залах? Речь идёт о небольших работах, а не пирамидах и дворцах. Живые знаменитости, конечно, вправе сами решать судьбу своих творений. Кто от этого потеряет? Всё та же кучка богатеев. Но у них и так много нахапано, переживут.

Мой бог – это мой разум, какой уж есть. Могу рассчитывать во всех своих делах и помыслах только на него. Ему не нужны молитвы. Он требует одного – не щадить его, нагружать под завязку.

ЖЕНСКИЙ СМЕХ

Он обожал женский смех – пронзительный, режущий ухо, мягкий, душевный, громкий, тихий, похотливый или обычный, повседневный.

Ещё он любил женские глаза – большие, выразительные, как у Моники Белуччи.

Любил женские губы – упруго-мягкие, кажущиеся бархатными, когда приникаешь к ним своими жаждущими губами.

И пышные волосы его волновали.

И плечи округлые.

И холмы кольшущиеся.

И шелковистая кожа.

И слегка выпуклый живот.

И чарующие упругие бёдра.

И от ножек стройных, в меру полных, кружилась его голова.

И от шерстистой дорожки в райскую норку, влекущую его больше всего на свете.

ЗАКАВЫКА

Всё чего-то не хватает для ощущения полноты жизни, какого-то заключительного аккорда.

Казалось бы, всё путём – и жена верная, и сыновья толковые, и внуки-красавцы, и голова неплохо варит, и сердце стучит исправно. Ушла в прошлое служба, не докучает лишнего родня. Зато есть интернет – очень большое окно в мир, если, конечно, выглядывать в него не по пустякам, не на всякий шум.

Но всплывает откуда-то из глубины сосущее чувство неудовлетворённости и помучивает, помучивает...

Одно время считал, что вся закавыка в нехватке крутизны.

Вот бы вместо скромной садовой винодельни выстроить настоящую, с большим погребом, разбить виноградник на несколько гектаров! Или написать небольшую повесть, но чтобы все ахнули! Или встретить невероятную любовь, как в кино, с поцелуями и страстями.

Увы, денег на виноградное поместье не заработал, способности – какие уж есть, а любовь непредсказуема. Не киношная получается жизнь, чего там.

Как говорят японцы, ничто не вечно, не закончено и не совершенно.

Зато наукой определены главные цели человека. Оказывается, это стремление к известности, независимости, добру, традициям. Может, без их достижения и счастья не видать?

С другой стороны, никто из людей не просил его рожать. А уж если появился на свет, то, конечно, хочется жить свободно, ни в чём не нуждаясь.

К тому же думающему человеку труднее даются умозаключения. Перед ним всегда стоит вопрос – что вернее, точнее из множества фактов?

Например, твердят со всех сторон: надо уважать чужое мнение! А если оно втаптывает в грязь твоё, выстраданное? Это как возлюбить врага своего. Звучит по-библейски, благородно. А если этот враг – Гитлер?

Обстоятельства, бывает, подводят к очень подлым мыслям.

И в словах дьявола может проскользнуть истина, которую ангелы замалчивают.

А самые пронзительные выводы, судя по всему, приходят под занавес.

Но сколько ни размышляй – дальше тысячелетней мудрости Хайяма не пройдёшь:

*Что жизнь? Ручей блеснул на солнце
и где-то в чёрной трещине пропал.*

И что остаётся человеку, Омар?

Будь спокоен и весел, цени этот миг.

Это проще сказать, чем сделать, о, мудрейший!

СЦЕНА ПЕРЕД КАЗНЬЮ

Палач:

– Ну, русский, есть у тебя последнее желание?

– Дайте помолиться и проститься с семьёй.

– Валяй!

Русский быстро перекрестился, закрыл глаза, что-то прошептал.

– Я готов.

– Что, так скоро? Мы не торопим.

– Я не монах и не баба. А перед смертью, как у нас говорят, не надышишься.

Палач, обращаясь к своим:

– Хороший парень! Может, отпустим? Пусть идёт, куда хочет.

ГОРОДСКИЕ МУДРЕЦЫ

На днях встретился с приятелем-фотографом. Как всегда, в его старой лаборатории, тесной от техники и бутафории, за выдавшим виды рабочим столиком с бутылкой коньяка и шоколадкой.

Поделившись друг с другом личным, о чём не говорят с жёнами, перешли к более общим вопросам и проблемам.

Разговор двух давних знакомцев за пустеющей бутылкой со стороны выглядел, должно быть, бессвязным перескоком с одного на другое. Но это был разговор не для чужих ушей.

Сошлись во мнении, что от всеобщей глупости начинает уже тошнить. А тут ещё Чехов, сказавший в своё время, что у девяноста девяти из ста нет ума. Если собрать бьющие не в бровь, а в глаз чеховские наблюдения из его писем, записных книжек, то есть прямо из жизни, и составить из них монологи, то и современные записные сатирики покажутся глуповатыми парнями.

Прошлись зачем-то по дирижёрам. Некоторые из них повели себя за пультом необычно, страстно, и это поначалу впечатляло не меньше самой музыки. Но когда все пустились строить рожи и жонглировать палочками – стало смешно, а потом и скучно.

Размышляя о жизненных зигзагах, задумались вдруг о смерти, точнее, её запахе. В самом деле, какой он? Труп невыносимо воняет, хотя, как утверждают британские учёные, поначалу он пахнет свежескошенной травой. Но труп – не смерть, хотя и её продукт. Душа уходит в пятки, мороз дерёт по коже – это всё не запах. Оставили вопрос открытым.

После этого беседа воодушевилась и неожиданно перешла к хокку Басё. Вспомнили его лягушку, прыгнувшую в старый пруд. Читая Басё, понимаешь – в те далёкие времена в Японии жило не сто двадцать пять миллионов человек, а гораздо меньше. Поэтому хватало пустынных мест, полей, неприметных дорог и одиноких хижин. В современной Японии, где ногу негде поставить, певец таких дорог и хижин вряд ли возможен.

Кстати, есть ли в японском языке родное слово, означающее степь? «Степь да степь кругом...» – можно ли спеть по-японски?

Между прочим, я заметил, что женское хныканье и пьяные мужские слёзы раздражают одинаково, а в пустыне и несколько человек толпа, что особой плодовитостью отличаются и гении, и графоманы, а беспринципность тоже является принципом...

После чего согласно поддакивающий приятель назвал меня городским мудрецом.

Услышать похвалу всегда приятно, хотя сразу припомнился городской сумасшедший. Впрочем, городской сумасшедший может по совместительству оказаться и мудрецом. Как говорится, и швец, и жнец, и на дуде игрец. Ангел и чёрт мирно уживаются в человеке.

С последним тостом пришли к выводу, что кошки прилапили людей.

Кстати, разве не говорят о едином человеческом праязыке наши меньшие братья? Ведь в любом краю те же кошки мяукают, собаки лают, волки воют, слоны трубят, а воробьи чирикают одинаково, обходясь без переводчиков.

У меньших братьев мозги-то остались прежними.

ДЕНЬ ДЛЯ АГЛАИ

Послышалось движение за полуприкрытой спальней дверью – скорее туда. И вот она – милая сердцу картина. В детской кроватке стоит внуч-

ка Аглая с растрёпанными после сна светлыми завитушками и слегка напряжённым взглядом. Взгляд тут же веселеет, ручки тянутся навстречу, и вместе со мной она оказывается в просторной гостиной. Круглые весёлые глазки разом охватывают маму у кухонной плиты, заехавшего на обед папу на диване, рядом с ним вернувшегося из школы брата со смартфоном в руках и развалившегося на ковре дымчатого кота Арчибальда.

Оказавшись на полу, внучка вприпрыжку устремилась к нему, пытаясь схватить за уши или хотя бы наступить на виляющий хвост. Кот стремглав пустился в спальню, где и спрятался под кроватью, от греха подальше.

Зато Глаше попались надувные шары, пушинками отлетевшие от её быстрых ножек. Всё это на пути к маме, к которой она и направлялась в первую очередь, чтобы пролететь ей что-то жалобное, личное.

Но хватит нежностей. Ведь через несколько часов глаза опять станут слипаться.

Помог ей устроиться на подоконнике. Что там, на белом свете, делается? Вот весенняя пичужка пролетела мимо окна, люди внизу куда-то спешат, машин полон двор.

Да, надо же посмотреть на проделки Жихарки, такой же непоседы, только старше. Папа щёлкнул пультом. Но мультфильма хватило на тройку кадров.

Глашиним вниманием уже овладел игрушечный утюг. Потом растрёпанные книжки, раздетая кукла, пластмассовые тарелки, движущийся робот...

Придыхая, побряхтывая и пришёптывая, внучка взбирается на стул. Вначале легла животом на сиденье, потом подобрала ноги и, наконец, ухватившись за спинку, встала, с улыбкой оглядываясь по сторонам.

Подношу её к семейным фотографиям, развешанным в углу гостиной. Показывая пальчиком, она называет маму, папу, брата, бабушек. Смотрит на меня и говорит: «Деда!» Находит другого деда и опять смотрит на меня, будто спрашивая: «Где же он?» Человеческая кроха, только научившаяся первым словам, уже прикоснулась к главной тайне – почему вдруг исчезают родные люди? И куда? И как с этим жить?

День продолжается, и внучка устраивает кучу-малу из плюшевых зверюшек. Половина из них коты «Ачи», как и вернувшийся живой Арчибальд, миролюбиво поглядывающий на суету, и собачки «ав-ав». Сюда же полетели и подушки с дивана, на которых так приятно полежать, а потом зарыться в них – пусть все поищут Глашу под её счастливым смех.

Несколько раз съездили с ней в лес за орехами. Спел ей колыбельную из «Теории большого взрыва»: «Тёплый пушистый котёнок спит – свернулся в клубочек и мурчит». Пришлось спеть на бис раз пять.

Но глазки-то слипаются. Пора ей переходить ко сну по-настоящему. Передаю внучку на руки невестки, уже приготовившей бутылку с молочной смесью.

Дверь в спальню прикрывается. В квартире наступает тишина на час-другой.

В ТИХОЙ ГАВАНИ

В первое утро нового года прогулялся, как обычно, по скверам. Встретил молодую пару на пробежке, ворон, грачей и галок, высматривающих, чем поживиться, уличных собак, греющихся на тёплых люках.

Махнули со старшим сыном Кириллом в сад. Машину оставили в соседней деревне Хмельёвке у магазина и снежной целиной пробрались мимо клад-

бища и по спуску к даче. Прокопали дорожки, похожие на траншеи, сбросили высокую белую шапку с беседки и тем же ходом побрели обратно.

Город занесло снегом, словно это не город, а лес.

Простился с писателем Шульпиным – лёгким и вместе с тем очень основательным человеком. Ивана Васильевича повезли хоронить в воспетые им родные Бакуры. Многим остались на память его искусные поделки из дерева. А я буду вспоминать Ивана, глядя на старинный абхазский винный кувшин и отделанный металлом коровий рог для вина – его подарки. И перечитывая очерк «В поисках хмельёвской форели», написанный редким по точности словом.

Несмотря на вернувшийся мороз, солнце уже мартовское – сумасшедшее!

Отнесли с женой сумки с продуктами для матери по её заказу. Дверь открыла невестка Лена с внуком Артёмом на руках. Он обрадовался нам: «Деда! Баба!»

Молодая мама внушает на прогулке трёхлетней дочери:

– Мало ли что взрослые в это время делают!

Девчущка:

– Пожар тушат.

– Какой пожар? Еду, например, готовят.

2 июля проснулся в пять часов и уже не уснул – вспомнил о невестке Тане, которой скоро рожать. В полдень позвонил младший сын Иван – Аглая родилась! Какая гора свалилась сразу с многих плеч.

На углу Рахова и Большой Казачьей столкнулся с Володей Сафроновым, выгуливающим двух собачек. Обнялись как родные. Полвека назад служили в одной роте.

Встретил в ненастный день однокашника. Он шёл в шапке и варежках.

– Сразу видно умного человека. Не то что я – под дождём с непокрытой головой.

– Ну, чтобы шапку надеть, ума не надо.

Позвонил внук Тима – пожаловался на затянувшуюся простуду, испортившую настроение. Хочет к нам. Но может разреветься и у нас. Успокоил его. А до этого жена успокаивала. Уж пусть приезжает.

Луна не сошла ещё с неба, а горизонт уже порозовел. Жена предложила поехать на дачу: «Хочу побыть одна».

Жужжит одинокая пчела. В саду цветут только редкие гусиные лапки да три крокуса. Этого не хватит даже на пчелиный зуб.

Прямо надо мной на ветке мальта воробьи занимались любовью. Показалось, что самец как-то особенно, довольно чирикал. Занимался он любовью, правда, по-воробьиному – быстро, на раз-два. Но тут же принимался снова и снова. Заметив мой взгляд, парочка перепорхнула выше.

Балуюсь в беседке заваренным с мятой чаем. В голове хороводятся мысли без начал и концов, может, и дельные, не разберёшь.

Наблюдаем с внуком Никитой за собравшимися возле дуба жуками-оленьями. Они пьют сочащийся из трещины сок, дерутся, спариваются. Самки тут же закапываются, чтобы умереть и возродиться через несколько лет. Самцы остаются наверху. Кто-то сам уснёт, кого-то птицы склюют.

Сжигал в уже пустом саду накопившиеся за лето обрезанные ветки с деревьев и кустов. Волосы сразу пропахли дымом, как у пещерного человека.

Глубокой ночью в дубовой грядке закричали две птицы – пронзительно, жалобно, на всю округу. И кричали очень долго. Так под их крик и уснул.

ТРИ ДНЯ И ЦЕЛАЯ ЖИЗНЬ

Летом помогал сыну в его дачных хлопотах.

Двигал с ним мебель, забучивал клейкие обои, вспоминая прошлые совместные дела. Вспомнил, как учил его замешивать раствор, колоть дрова, обращаться с разным инструментом. Сын далеко обогнал меня в мастеровых умениях. Только в помощники и гожусь.

С удовольствием наводил порядок в саду. Выкорчевал пару старых вишен, прошёлся по сорнякам. У сына до этого руки не доходят.

Работали без усталости, невзирая на несносную дневную жару.

И наговорились, пожалуй, как никогда. О чём? Да обо всём!

Поздним вечером усаживались перед телевизором и смотрели «Назад в будущее», потягивая пиво.

Не знаю, что в эти безмятежные минуты происходило в голове у сына. В моей же отстаивалось не раз обдуманное.

Когда тебе за 70, старость топором висит над тобой, как ни старайся не замечать её и философствовать. Но, как сказано, некоторые старятся, а некоторые созревают. Важно не дать дряхлому будущему омрачить ещё бодрое настоящее.

Человек постигает тайны бытия, наслаждается красотой жизни и радуется творческим порывам – чего ещё желать? Только, чтобы вынести верное суждение о чём-либо, приходится собирать в пучок слишком много впечатлений. Всё и не соберёшь.

Вдруг кольнуло давно, казалось бы, известное, что смысл всякой жизни в самой жизни и заключается. И, как ни крути, после нас остаются только дети, внуки. Всё остальное ржавеет, рассыпается, приходит в забвение.

Впрочем, все эти мысли недолго ворочались в моей уставшей головке. Она всё чаще клонилась на грудь, глаза закрывались, и я отправлялся спать, не досмотрев ни одного фильма до конца.

А утро снова дарило горячее солнце, бодрые птичьи голоса, хлопчущего с завтраком сына и садовую, не в тягость, работу, которая, бывает, приводит к ответам на важные вопросы.

Три дня пролетели как три вдоха.

Уезжали даже с некоторой печалью.

ГЛОТОК АДРЕНАЛИНА

Жаркий июльский полдень на даче. Отобедав, предвкушаю отдых в прохладной комнате. Вдруг с улицы доносятся неясный шум, вскрики. Посмотрел в широкое кухонное окно – на обрыве, венчающем тихий садовый уголок, пляшут огненные языки. До обрыва рукой подать! А под ним хватает деревьев и сухого валежника.

С молодым задором взлетел по извилистой дороге наверх. Вдоль обрыва полыхало заброшенное кладбище с редкими покосившимися оградками. На дороге за ним стояла пожарная машина. Суетились пожарные. Из протянутого шланга била мощная струя воды, и огонь нехотя отступал.

Пожарным помогал парень с лопатой в руках, сообщивший, что сухая трава занялась от окурка, брошенного из проехавшей машины. По чёрному полю бегала пожилая дачница, просившая ещё раз пролить край обрыва, под которым стоит её дом.

Спустился вниз и подошёл к нему. Не зря женщина беспокоилась – под обрывом задержалось несколько язычков пламени, не спеша подбиравшихся к поваленному сухому дереву. Может быть, они сами бы и потухли. А если нет?

И неожиданно решил залезть наверх и сбить их, от греха подальше.

Что повлияло на моё решение? Подъехавшие на велосипедах внуки Никитка с Тёмой, перед которыми захотелось погеройствовать? Подошедшая дачница с поощряющей улыбкой? Или пробившееся во взбудораженной обстановке желание доказать самому себе, что ещё чего-то стою?

Я полез, сразу осознав, что вязался в дело с неизвестным концом. Ноги то застревали в цепкой траве, то съезжали вниз по крутому песчаному склону. Теряя сланцы, с колотящимся сердцем я упорно карабкался вверх, судорожно цепляясь за ненадёжные ветки кустарников, подтягиваясь за них, и добрался наконец до колеблющихся огоньков, затушив их теми же ветками.

Но, когда выбрался на обгоревший обрыв, сразу оказался в окрыляющих объятиях позабытого чувства свободы. И ощутил явный прилив энергии.

На дачу вернулся воодушевлённым, не чувствуя усталости.

Раздвинуть над собой привычный купол и вдохнуть хмельной аромат упругой жизни – это дорогого стоит, господа.

ДОМ С ВИНОГРАДНИКОМ

Добротный дом под черепичной крышей, рядом винодельня, погреб. Вокруг ухоженной усадьбы виноградники. Под щедрым волжским солнцем наливаются сладким соком гроздь жизни.

Пока это лишь воображаемая картина. Но ещё не вечер, господа, далеко не вечер. А виноградных кустов на дачных и приусадебных участках становится всё больше, и домашнее виноградное вино уже продают в небольших ресторанах. Из Саратовской области Бордо или Бургундию не сделаешь. Но небольшим виноградным раем она может стать. Да потихоньку и становится трудами преданных делу любителей. И с каждым выращенным виноградным кустом на нашей земле прибавляется мудрости, благородства и свободы.

Присоединяюсь к мнению, что перезревший, слегка забродивший виноград был тем самым запретным плодом, вкусив который, наши прародители прозрели и увидели, что они наги. Какие ещё плоды могли способствовать изменению их девственного сознания? И какие плоды могли оказаться на Древе познания Добра и Зла, которое ведь не было фруктовым? Без вездесущей виноградной лозы здесь явно не обошлось. С её выращивания начал новую жизнь после потопа и достопочтенный Ной.

Вино, как и всё живое, рождается в сокровенной темноте. И выказывает красоту цвета, тонкость аромата и глубокий вкус всего лишь на несколько часов, а то и минут перед своей смертью. Ведь чтобы судить о достоинствах вина, его следует выпить.

Процесс созревания вина не для слабонервных. Но каждый заход в винодельню поднимает настроение. Бродит! Сусло розовое, запах приятный.

Виноградарство, как и писательство, дело одинокое. Сколько ни читай книжек, сколько ни общайся со знатоками, в конечном счёте оказываешься наедине с виноградным кустом.

Равнодушие к спелым виноградным гроздьям смущает. Ведь они с древних времён означают страсть и плодородие.

В Испании под звон новогодних полуночных колоколов многие стараются съесть двенадцать виноградин, по числу месяцев. Испанцы верят, что столько и желаний исполнится в новом году.

Поверим в это и мы.



**Алексей
СОЛОНИЦЫН**

СЛЫШИШЬ, ШУМИТ ДОЖДЬ

Окончание.
Начало в №1 2022 года

Повесть о поэте из провинции

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ. «И МЕСЯЦ, И ЗВЁЗДЫ, И ТУЧИ ТОЛПОЙ ВНИМАЛИ ТОЙ ПЕСНЕ СВЯТОЙ»¹

Раз уж я заговорил об отце Афанасии, то надо обязательно рассказать, как я с ним познакомился и как полюбил его. Потому что именно с ним связано главное событие в моей жизни. Я никому и никогда об этом не говорил, потому что это слишком заповедное, тайное. И трудно объяснимо словами.

Но всё же попробую.

Когда я стал интересоваться иконописью, надо было узнавать и библейские тексты, чтобы разобраться в сюжетах. Я наконец приобрёл Евангелие – привёз из Венгрии Библию карманного формата на рисовой бумаге. В Венгрии я оказался потому, что меня включили в группу автостроителей, по дружескому обмену с венгерскими коллегами. Я представлял «культурную» часть делегации.

И вот, страницу за страницей постигая духовную премудрость, я и оказался в храме, потому что мне захотелось узнать и саму суть богослужений.

В храме я старался быть как можно незаметнее, становился в дальний уголок, потому что, если бы кто-то из служивых меня заметил и донёс начальству, мои сценарии не только бы перестали принимать, но и стихи бы перестали печатать.

И всё же скрыться от глаз тех, кто ходил в церковь, оказалось невозможно.

Смысл церковной службы нельзя понять, не зная хотя бы её азов. Но у нас в стране тогда не было не только учебника для детей по Закону Божьему, но вообще никакой духовной литературы. Кроме, конечно, художественной классики да атеистических брошюр, из которых я черпал знания о церковных праздниках.

¹ Строка из стихотворения М. Лермонтова «По небу полночи».

Но сама атмосфера церкви, сам воздух её, который, как я понял позже, был напоён дыханием вечности, успели проникнуть в мою душу. Дело тут оказалось более всего не в иконописи, не в других украшениях храма, достаточно, впрочем, хороших, а в песнопениях – хор у батюшки Афанасия оказался хорошим. Потому что и сам он пел баритональным тенором и имел абсолютный слух (что я тоже выяснил позже).

Я не понимал, что именно поёт хор, слышал лишь отдельные слова, вроде «Благослови, душе моя, Господа», или «Иже Херувимы», но песнопения говорили о гораздо большем, чем сами слова. И это без всякого объяснения оказалось понятным моей душе. Она словно ждала этих «херувимов» – и вот дождалась, и вот они опустились на меня, невидимые и невесомые, заветные и родные.

И радость встречи оказалась такой сильной, что я не заметил, как комок подступил к горлу, и я с большим трудом проглатывал его. Но всё же почувствовал, что глаза стали мокрыми, а потом и щёки, а потом я всхлипнул всё же, как ни старался этого не сделать.

Нет, я не боялся, что увидят, как я плачу, те, кто стоял рядом. Они для меня не были главными, как и всё остальное – свечи в напольном паникадиле, рядом с которым я стоял; фреска с изображением святого, которого я пытался узнать, но никак не мог; косынка впереди стоящей женщины, которую она всё время поправляла, поднимая руку; стоящая справа от меня ещё одна пожилая женщина с сумкой, которую она время от времени переставляла, словно боясь, что я возьму её и кинусь к двери, убегая.

Всё это исчезло, растворилось в воздухе, напоённом этой мелодией. Да и сам я словно стал невесомым, не телесным, а лёгким, как пёрышко, поднялся будто бы надо всем и вся и только слышал всё отчётливее, как хор протяжно выводил: «...тайно образующе... тайно припевающе...»

И вот под это песнопение из алтаря стали выходить священнослужители – сначала два мальчика с длинными металлическими рукоятями с кругами наверху, в которые вписаны звёзды; потом священник, торжественный, несмотря на маленький рост, в очках (это был отец Афанасий), с чашей в руках, покрытой платом; потом ещё один священник, повыше ростом, моложе, с крестом; затем ещё один с каким-то металлическим предметом (позже я узнал, что это копие)².

Выстроившись вдоль иконостаса, священник с чашей стал произносить здравицы, и когда сказал: «...вас, всех православных» – все дружно, кроме меня, отозвались на его призыв.

А я в это время вернулся к действительности, увидел, что женщина смотрит на меня, уже не волнуясь за свою сумку, и даже с симпатией, и робко мне улыбается.

Я догадывался, кто такие херувимы, но мне теперь точно надо было узнать, почему они тайно «образующе и припевающе» и в чём смысл этого песнопения, которое так пронзило меня.

Это впечатление нельзя было сравнить с самой высокой музыкой, которую я слышал в концертных залах в исполнении замечательных симфонических оркестров. Никогда прежде музыка так не поднимала меня, и я уже интуитивно догадывался, что со мной произошло что-то особенное, ранее не испытанное.

² Копиё – в православии обоюдоострый нож с треугольным лезвием. Копиё символизирует копьё римского воина, который, согласно евангельскому тексту, проткнул им подреберье распятого Иисуса Христа.

Но что именно, я понял гораздо позже.

А сейчас я дождался, пока закончится причастие, и, когда все прихожане стали подходить к кресту в руках невысокого батюшки в очках, женщина, что улыбнулась мне, поманила меня рукой, давая дорогу и приглашая тоже подойти поцеловать крест.

Я обратил внимание, что после целования креста люди обращаются к священнику с вопросами, о чём-то говорят с ним.

И я, преодолевая себя, ни разу до этого не целовавший крест, прикоснулся губами к нему и поднял голову, посмотрев на священника.

Он тоже выжидательно смотрел на меня сквозь свои очки в старенькой пластмассовой оправе.

– Если позволите, мне хотелось бы вас спросить...

– О чём же? – строго ответил он, глядя на меня снизу вверх и чуть наклонив голову.

– Об одной песне. Она меня очень тронула.

– Вы музыкант?

– Нет. Но музыка... Я такой никогда не слышал...

– И что же?

– Хотелось бы узнать... где можно прочесть...

– Хм, у вас что, интерес просто так или как?

Он отвечал несколько раздражённо, я уже пожалел, что подошёл к нему.

– Извините, что беспокоил. – И я отошёл в сторону.

Но, прежде чем уйти из церкви, всё же подошёл к боковой стене, где было изображение святого, которого я никак не мог узнать.

Когда силится прочесть надпись сверху фрески и никак не мог разобрать, что же означают эти церковнославянские буквы, кто-то тронул меня за рукав. Я оглянулся, увидел ту женщину с сумкой, которая, видя мои слёзы, улыбнулась мне.

Она опять улыбалась. Глаза у неё голубые, почти прозрачные. И улыбка мягкая, приветливая. Почему я раньше не заметил этого?

– Вас батюшка просил задержаться, – сказала она. – Вон там его кабинет, за кануном³, видите? – Она показала на дверь, слева от входа в храм. – Не отказывайтесь, отец Афанасий, конечно, очень строгий. Но на самом деле добрый. И умный. Вам полезно с ним будет поговорить.

– Спасибо, – как можно приветливее сказал я.

– Вы на святого преподобного Нестора что-то слишком внимательно смотрели. И во время службы...

– Что? Так это Нестор-летописец? Да вот же перо в руке у него! Как я сразу не догадался! – радостно воскликнул я.

– Это ваш небесный покровитель, – сказала женщина, всё так же дружески улыбаясь. – Вам бы следовало это знать.

Я развёл руками.

– Простите. Неграмотный.

– Нет, вы грамотный, просто в церковь не ходите. Идите, идите скорее, а то сейчас к батюшке налипнут пчёлки.

И вправду, батюшка торопливыми мелкими шагами шёл к своему кабинету, а за ним действительно как пчёлы роем двигались прихожане, все женщины.

³ Канун – четырёхугольный стол с мраморной или металлической доской, на которой расположены ячейки для поминальных свечей; также кануном называют место рядом с тетраподом (обычно приставной столик), куда приносят продукты для поминовения усопших.

– Потом-потом... – отговаривался он на ходу.

И ко мне:

– Что же стоите, молодой человек? Сюда. – И распахнул дверь, пропускающая меня вперёд, а потом плотно притворил её.

В комнатке едва помещался стол, на полу стояли какие-то пакеты, бутылка с водой, ещё что-то. Батюшка боком протиснулся за стол, уселся, показал мне на стул.

– Ну-с, молодой человек, так о чём поговорим? Стало быть, песнопение вас заинтересовало? Какое?

– Да как вам сказать... Там про херувимов... что-то такое... образующие, вроде... а вот чего образующие?

– Не чего, а что. Это песнопение называется «Херувимская». Ныне композитора Бортнянского звучал распев. Поётся, когда святые дары переносятся с жертвенника на престол. Когда всё готово к началу Евхаристии. То есть благодарения Господу – главной части Божественной Литургии. Понял что-нибудь?

Он посмотрел на меня, увидел моё растерянное лицо, снял очки, наклонив голову, и неожиданно рассмеялся. Озорно глянул на меня, достал платок, изрядно помятый, вытер подслеповатые глаза.

– Ох, а ещё литератор! А чего ты удивляешься? Твоя знакомая, Ирина Ивановна, представила тебя.

– Я первый раз её видел.

– Ну? Ирина Ивановна в школе учитель. Выходит, ты у нас популярный поэт.

Я пожал плечами. Но иронический тон батюшки мне понравился.

Я осмелел и сказал:

– Всё так, батюшка. Но откуда, скажите, я должен знать содержание службы в церкви? Где книги, пусть самые что ни на есть популярные? Я Евангелие-то из-за границы привёз тайком, в чемодане с двойным дном. И распятие. В соборе католическом купил, святого Матиуша, в Будапеште. А о наших храмах и святых узнаю из сборников «История древнерусской литературы». Вроде летописи печатают «Пушкинский дом», а на самом деле Жития святых. Спасибо Дмитрию Сергеевичу Лихачёву. Знаете такого академика?

– Слышал. Выходит, ты веру хочешь узнать?

– Хочу.

– А зачем? Из любопытства?

Я задумался.

Вспомнил, что было со мной во время этой самой «Херувимской». Но как рассказать об этом? Да и стоит ли? Этот священник... опять будет смеяться надо мной?

Он смотрит так пристально. Изучает меня? «Популярный поэт»... Неплохо сказано...

– Ладно, не отвечай. Я тебе дам одну книжицу почитать. Она полезна для таких, как ты. Только с отдачей. А мне свои книжицы почитать прине-сёшь. Согласен на такой братер?

Я улыбнулся.

– Согласен и на бартер. Впрочем, «братер» куда как лучше звучит. Вроде, братский обмен.

Он открыл дверку стола. Из ящиков достал несколько книг. Рассматривал их, выбирая.

Вручил мне одну.

Это был «Сборник богослужебных песнопений и молитв» – репринтное издание.

Из этой книжицы в потрёпанном переплёте я узнал и про «Херувимскую», и про другие песнопения. И с того памятного для меня дня я стал прихожанином церкви, в которой служил отец Афанасий. Спустя лет десять, наверное, во время исполнения «Херувимской» у меня перестали выступать слёзы на глазах. Но в душе всё равно в эти святые минуты я и сегодня ощущаю радость и высший подъём духовных сил – то, что в нашей Церкви называют благодатью Святого Духа.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ. «В РУКЕ НЕ ДРОГНУЛ ПИСТОЛЕТ»⁴

Только я вышел из храма, как позвонил Ярцев.

– Сашок, привет. К тебе важное дело.

– Так всё уже обсудили.

– Нет, я о другом. Не про Ольгу, а про тебя.

– Новости. Но я никого не убивал.

– Не шути. Ревун Константин Эрнестович просит тебя о встрече.

Вот это да! Отец Афанасий как в воду глядел.

– Стреляться вызывает? Предпочитаю пистолеты Лепажа.

– Я серьёзно. Речь идёт о лечении Саши. У него есть к тебе предложение.

Так... И тут батюшка прав. Что же этот Эрнестович придумал?

– Почему сам не позвонил? Не мог без посредников?

– Саша, ты пойми и его. Поговори с ним. Он хочет помочь.

– Не нужна мне его помощь.

– Не горячись. Ты же православный человек. Должен уметь прощать ближнего.

– Он мне не ближний.

– Ну и дальнего тоже... Саша, уступи. У него дельное предложение, поверь. Иначе бы я не стал тебя просить. И без того обязан тебе по гроб жизни.

Слишком уж просительные ноты звучали в его голосе. У него-то корысти нет никакой, и я согласился.

– «Синие паруса» подойдут? Часов в шесть пускай подходит.

– Спасибо, Саша. Увидишь, не зря с ним встретишься.

Я позвонил Аните, заказал отдельный кабинет. Приехал в «Синие паруса». Ревун уже ждал меня.

Выглядел он всё так же, каким я увидел его впервые, когда он приезжал к нам в числе руководителей конференции по новым программам, которые затевала Москва, выбрав нашу студию местом встречи регионалов.

Всё такой же ухоженный, румяные полненькие щёчки, густая чёрная шевелюра, дорогой летний костюм.

Он привстал из-за столика в кабинете, куда меня проводила Анита, но руки не протянул, лишь кивнул. Смотрел на меня пристально, серьёзно.

Я сел напротив него. Попросил у Аниты виски со льдом, фирменных морских гадов с зеленью. Ревун заказал себе к моему заказу ещё и кока-колу, и сыр, желательно острый, если таковой имеется.

⁴ Строка из стихотворения М. Лермонтова «Смерть поэта».

У Аниты имелся для таких гостей даже и рокфор.

Выпили. Я ждал, с чего он начнёт разговор.

– Не хотел бы, чтобы вы приняли меня за кающегося злодея, – начал он. – Жизнь гораздо сложнее, чем нам порой кажется. К тому же я совсем не уверен, что вам сообщили то, что произошло на самом деле.

– Подробности меня как раз и не интересуют, Константин Эрнестович. Ближе к делу, пожалуйста.

Я хотел сказать как можно спокойней, но вышло слишком резко.

– Хорошо. Я, собственно, о лечении Александры. Звонила мне Вероника Игоревна. Я о клинике, которую она назвала, справился. Действительно высший класс, самые современные методики. И результаты хорошие.

Он вертел пальцами бокал, и я невольно обратил внимание на то, какими они были белыми и пухленькими, с золотым перстнем-печаткой на безымянном, с аккуратно подстриженным ногтем.

– Так вот. Стоимость курса лечения миллион евро – с проживанием, питанием. Дорога, разумеется, за свой счёт. Последующие консультации – тоже за отдельную плату. Дорого себя ценит этот герр профессор.

Он помолчал, снова внимательно глянул на меня своими маслянистыми карими глазами.

Я молчал, ожидая, что он скажет дальше.

– Таких денег у меня, к сожалению, сейчас нет. Но есть выход. Если вы согласитесь, конечно.

Ага. Вот она, корысть, о которой предупреждал отец Афанасий. Послушаем...

– Вы вряд ли знаете, Александр Сергеевич, что наш сериал «Ринг» сейчас начал пробуксовывать. Вы ведь не смотрите сериалы, насколько я знаю?

– Не смотрю.

– Первые серии «Ринга» прошли неплохо. Но потом наступил спад, который постепенно перешёл в критическую фазу, так сказать... Требуется свежая кровь, как говорится... Новые идеи, новые сюжетные ходы...

– И что? – опять слишком резко сказал я.

– А вы не догадываетесь? – Он выжидательно посмотрел на меня.

– Нет, не догадываюсь.

– Дело вот в чём, – властно и чётко, другим тоном продолжил он. – У вас, Александр Сергеевич, есть талант. Я посмотрел некоторые из ваших расследований. Да и стихи ваши читал. Впечатляет. Что если я вам предложу написать сценарии для новых серий «Ринга»? Скажем, для начала на две серии? А дальше посмотрим, как пойдёт.

Вот, значит, что. Детективный сериал, который у них сдох... И мне предлагается его спасти.

– Я же не смотрю сериалы, Константин Эрнестович, вы сами сказали. И ваш «Ринг» мне абсолютно неведом. Что же я вам напишу, помилуйте?

– А вот что, – оживился он. – Андрей мне рассказал, как вы блестяще распутали убийство его аспирантки. Чем не сюжет? Разумеется, это только основа, вы его препарируете художественно. Вот вам и готова серия. Может, даже две – как у вас рука возьмёт.

Хорошо плетёт сети, паук проклятый. Как там батюшка говорил?

«Летела муха-горюха, попала пауку в тенёта...»

– Обдумайте, Александр Сергеевич. За каждую серию платят неплохие деньги. И если мы заключим договор, скажем, на две серии, то у вас будет возможность заплатить этой европейской знаменитости ну если не сполна, то третью часть – наверняка...

Так-так... теплее...

– Третью часть? – переспросил я.

– Ну, я говорю приблизительно. Позвоню своему менеджеру, он точно посчитает.

– И выплатите аванс? Если я расширенную заявку представлю...

– Возможно. Всё зависит от уровня заявки.

– Так, – вслух стал рассуждать я, – допустим, заявка устроит и вас, и руководство канала. Но вы же понимаете, тут форс-мажор. Все говорят, что если с лечением затянуть, то потом уже ни при каких методиках не восстановить ничего! Ведь отнялась почти вся правая сторона!

– Я знаю, – спокойно ответил он. – И справлялся насчёт выздоровления тоже. Всё в наших руках, Александр Сергеевич. Вот за это и выпьем.

Он протянул мне стакан с виски, и мне пришлось сделать то же самое, прислонив свой стакан к его.

И сразу мне вспомнилась потная ладонь Бори Мазуркина, которую пришлось пожать после того, как он выдал мне подачку в пять тысяч.

Сколько, интересно, выдаст Ревун?

«Клин плотнику брат», – вспомнил я и присказку отца Афанасия. «Клин клином вышибают» – так мы привыкли понимать пословицу. Или у батюшкиной присказки иной смысл? Ведь клин плотнику и для других надобностей нужен.

Как же мне распорядиться этим клином? Не вбивает ли его Ревун между мной и Сашей опять?

Вот так Дантес мне выпал. Вот как метко стреляет!

«В руке не дрогнул пистолет...»

Поэт упал, все бросились к нему. Но он крикнул:

«Ещё не кончено!»

Прицелился, выстрелил. Попал. Крикнул: «Браво!»

И только после этого разжал руку с пистолетом и уронил голову на снег.

Но его пуля попала в руку и потом угодила в медную пуговицу мундира убийцы. Он отделался лёгким ранением, а поэт был убит.

– Не отказывайтесь сразу, обдумайте моё предложение, – сказал Ревун. – Созвонимся.

Он встал, положил на стол визитку, пододвинув её ко мне.

– Договоримся о подробностях, которые всё же придётся согласовать. Хотя они вас и не интересуют.

Я тоже встал. Не нашёлся, что сказать.

Он вложил деньги в меню, как модно сейчас рассчитывать в ресторанах, посмотрел на меня.

– Вас подвезти?

– Нет, благодарю.

– Тогда до звонка.

И он ушёл, а я остался стоять, и вид у меня наверняка был потерянный, потому что Анита сказала:

– Александр, он тебя сильно обидел?

– Не знаю. Пока не понял.

– Может, выпьешь?

– Нет, спасибо. Пойду потихоньку.

И я пошёл и раздумывал, зачем же Ревун придумал всю эту историю? Показать своё благородство? Дескать, я тут, конечно, виноват, но и она сама устроила себе болезнь из-за своей гордости. Сразу такие капитальные вопросы не решаются, надо было подождать, а ей, видите ли, подавай желаемое на блюдечке с золотой каёмочкой. Так примерно Ярцев объяснял. Да и Вика

тоже. А Ревун и сейчас готов помочь, но только и вы приложите силы, тоже постарайтесь – вот о чём он говорил. Если так, то выстрел его вроде бы по всем правилам дуэли. Хотя он и выстрелил, не дойдя до барьера, но правилами дуэли это разрешено.

Теперь твой ответный выстрел, Неделин.

Ладно, допустим, я принимаю его предложение. Надо смотреть сериал, входить в тему... Наверняка там какой-нибудь доморощенный сыщик всё распутывает, так как априори он умнее всех. Ладно, я сделаю его не похожим на других сыщиков. Допустим, это я смогу. Допустим, наша история будет оригинальной. Допустим, денег он даст. Надо узнать – всё сразу платить или можно в два захода, например. Если нет, взять кредит под гонорар за сценарий. А если он не получится? Если будет творческая неудача, как пишут в подобных случаях? А деньги-то нужны сейчас! Срочно!

Допустим, я их получу от ненавистного мне Ревуна. Допустим. А кто с Сашей полетит в Германию? Кто займётся оформлением виз? И сколько на это уйдёт времени? Опять обращаться к Ревуну? Опять стоять в позе просителя перед твоим убийцей?

Господи, помоги и вразуми. Господи, на Тебя вся надежда!

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. «КРЕПИСЬ, ДУША! В РОССИИ ЖИЗНЬ ВСЕГДА БЫЛА НЕЛЁГКИМ ДЕЛОМ»⁵

Я рассказал Саше о предложении Ревуна в общих чертах. Судя по тому, как она слушала меня, я понял, что у неё уже есть план действий: слишком говорящими были её глаза. Она внимательно, не моргая, поглощала фразы, сказанные мной, оценивала их, ничего не говоря, ожидая, что скажу дальше. По опыту семейной жизни я знал, что когда она не перебивает, а выслушивает, то это означает, что она всё сделает по-своему. А если скажет: «Поступай как знаешь, тебе решать» – это лишь подтвердит, что она добивается своего. Вариант её ответа: «Если ты, конечно, не против». Потому что в таких случаях я всегда уступал, всякий раз показывая, что для неё я готов сделать всё возможное. И получалось, что решение принимал я, а она лишь присутствовала при этом. Да ещё и напоминала мне в случае спора или конфликта: «Ты же сам решил».

Точно так произошло и сейчас, когда я сказал, что принял предложение Ревуна и буду писать сценарий. В этот момент в нашу комнату как бы случайно вошла, постучавшись, Вероника Игоревна с чашкой кофе и печеньем на маленьком подносе. Поставила его на плед перед Сашей, сидящей в постели.

Покосилась на меня.

– Может, и вам кофе, Александр?

Мы обращались друг к другу на «вы»: я звал её по имени-отчеству, а она меня полным именем.

Я кивнул, и, когда она вышла, Саша сказала:

– Мама готова помочь.

Я насторожился.

– В каком смысле?

– Она может поехать со мной в Германию.

⁵ Строка из одноимённого стихотворения Н. Зиновьева.

Ага, значит, у них уже был разговор и они всё решили. Может, мать вложится в лечение дочери наконец не советами, а деньгами?

– Если ты, конечно, не против... – Саша уже говорила довольно сносно, не кривя губы и лишь с остановками.

Так. Всё ясно.

Вернулась Вероника Игоревна.

Я посмотрел на ухоженное, гладкое её лицо с тонкими подведёнными бровями и ресницами, в меру напомаженными губами, в домашнем цветастом халате, и увидел изучающий настороженный взгляд.

Сказал:

– Вы и по поводу виз уже проконсультировались, Вероника Игоревна?

– Да. При сдаче документов надо лично явиться в посольство.

– И цену визы и билетов узнали? – спокойно спросил я.

– Да, узнала, – невозмутимо ответила она.

Я решил всё выяснить до конца.

– Сценарий по заказу Константина Эрнестовича, как вы знаете, ещё в чернильнице. И аванс от него я получу неизвестно когда.

Делать невинное лицо она не стала и невозмутимо ответила:

– Этот вопрос решаем.

Что ж, спрошу и про деньги:

– Вы с Вадимом Сергеевичем готовы нам дать в долл?

Она слегка улыбнулась, чуть расширив глаза:

– Ну, Александр, мы же после отпуска, сами знаете... Но можно поискать варианты...

– Какие? – перебил я её.

Тут вмешалась Саша:

– Мама! Оставь нас!

– Да пожалуйста! – Она встала с кресла, на котором сидела, одёрнула халатик. – Я всегда готова помочь, а ты... впрочем, как знаешь.

И у матери, и у дочери одинаковая тактика, отметил я про себя.

Когда мать ушла, дочь сказала:

– На дорожку деньги есть. Главное, чтобы ты... чтобы ты...

– Не надо, Саша. Ты же знаешь. Поеду в Преображенку. Сейчас там хорошо... Главное, придумать... А напишу я быстро.

– Ты умеешь.

Она протянула ко мне руки.

И я сдался.

А вы бы не сдались?

Пусть за моей спиной ведутся переговоры, пусть. Даже если этот Ревун действительно любит её и потому придумал, как опять отнять Сашу у меня, я пойду на это, поведусь, как теперь принято говорить.

Я допустил, что мать вела переговоры и с Ревуном – впоследствии так и оказалось. Иначе она не сумела бы так быстро оформить визу. В Москву она взяла с собой Дуню помогать передвигаться Саше и ухаживать за ней.

Вадим Сергеевич был жаден, но моя оборотистая тёща сумела уладить с ним денежные вопросы. Не знаю, в какой именно части он посодействовал, я об этом старался не думать – просто некогда было, и уехал в Преображенку.

И вновь погрузился в заволжскую тишь, в медленное падение жёлтых листьев берёз, осин, ясеней, в шуршание ранней осени, которую люблю больше всего на свете. А вечерами, прогуливаясь у реки, я слушал её шёпот, её дыхание, следил за сигнальными огоньками проплывающих мимо важных самоходок, быстрых катерков, спешащих к своим пристаням.

И мне вспоминалась та первая ранняя осень, когда Саша приехала ко мне после нашего знакомства, о котором я уже вам рассказал. Мы уходили в горы, поднимались довольно высоко по лесной тропе, усаживались на полянке и смотрели на жёлто-зелёную красоту – нежную и задумчивую, близкую и далёкую, уходящую к синеве реки. Потом шли обратно, и она по-детски радовалась, когда находила грибы – той осенью их было не так уж много, но они в большинстве своём попадались ладными, крепенькими. Она радостно смеялась, срезая их и складывая в пакет. Набрали и подберёзовиков, и подосиновиков, а в ельничке набрали на целое семейство маслят. У нас получилась отличная жарёха, а к ней и салатик из помидоров с лучком, который она проворно приготовила. Начал накрапывать дождичек, и мы ушли в дом. Я подтапливал вечерами печь, и мы смотрели на огонь. А потом я ушёл на чердак, где у меня было отличное ложе из скошенной травы.

В раскрытую дверь чердака я смотрел на серо-чёрное небо и слушал шум дождя.

Саша устроилась на моём диванчике в доме, и я думал, что она уже спит, как услышал, что она поднимается по лесенке ко мне на чердак.

– Как у тебя здесь хорошо, – сказала она, устраиваясь со мной рядом. – Травы пахнут замечательно. Богородка, ты говорил?

– Да, есть и богородка. Но тут чего только нет – разнотравье.

Но я уже не столько чувствовал запах трав, сколько запах её волос. Я тронул их, и сразу всё закружилось, слилось в единое нежное и сокровенное – шум дождя с шумом сердца, запах трав с запахом её волос, сладость губ со сладостью самого воздуха, напоённого любовью.

А дождь шумел и шумел, и мы как будто поднялись, поплыли по реке жизни, как какие-то новые существа, у которых появилась возможность парить и плыть в пространстве этой реки.

Потом мы опять опустились на траву и всё слушали шум дождя, тесно прижавшись друг к другу.

И лишь спустя годы я понял, что этот час, этот день, и вечер, и ночь были самыми счастливыми в моей жизни.

...Но от воспоминаний надо возвращаться к реальности. Это, к удивлению моему, оказалось совсем не мучительно.

Потому что это был мой путь к Саше.

Как назвать мне своего героя? Имя его должно стать запоминающимся не потому, что оно броско звучит, а по своеобразию его характера и принципу действий. Мегре остался в памяти тысяч людей, потому что прекрасно знал и разобрался в жизни парижан.

Хорошей находкой Жоржа Сименона стала курительная трубка.

Но это всего лишь деталь. Лейтенант полиции Коломбо из американского сериала запомнился не потому, что актёр Питер Фальк снимался в одном и том же плаще даже летом. Ездил на старенькой машинёшке, потому что авторы подчеркнули: он человек из народа. Прекрасно знает быт и нравы людей Сан-Франциско и всего западного побережья. Здесь, казалось бы, приличные люди совершают преступления, чтобы добыть богатство любой ценой.

Мой герой должен заменить надоевшего всем следователя из сериала Ревуна и К. Допустим, этот манекен заболел.

Пусть мой следователь будет... как Каширкин. Который запомнился мне той ночью, когда он любовался звёздами на небе. Пусть мой герой не дума-

ет о звёздочках на погонах. Пусть он будет поэтом.. в душе. Как я. Ведь вся история, которая им понравилась, разворачивалась на моих глазах. Пусть мои герои будут напоминать реальных Ярцева, его жену Клару и любовницу Ольгу Соловьёву. Пусть мой Каширкин будет провинциальным Дон Кихотом, с душой романтической – ведь он служил на Севере. Его подстрелили, но он выжил. У него родители из крестьян. И вот он приезжает хоронить мать, и первое же его дело – про известного доцента, который убил свою аспирантку из их районного городка.

Так я начал писать заявку на две серии, предложенные мне Ревуном.

Саша в сопровождении матери и Дуси уехала в Москву, уехал и Ревун, а я написал развёрнутую заявку и отослал её по электронке. Заявка прошла, Ревун сделал всего несколько замечаний и поторопил меня. Но этого мог и не делать – я уже вошёл в материал и работал изо всех сил. Должен вам сказать, что у меня уже был опыт сценарной работы – тогда телевидение делало инсценировки довольно часто, потом один за другим стали выходить и телефильмы, которые и сейчас время от времени показывают. Среди них был и мой телеспектакль, который и понравился Ревуну. Так что я работал с увлечением – всё-таки тут было какое-никакое, а творчество. Не сравнить со сценарием о юбилее фирмы Бори Мазуркина. Но всё равно это был ширпотреб, если этот сериал сравнивать с подлинными произведениями киноискусства. Но в рамках предложенного жанра я сделал всё что мог.

Опять шёл дождь, когда ночью, перед рассветом, я закончил сценарий. Очень хотелось его прочесть Саше, прежде чем отсылать Ревуну. Но Саша уже была далеко, в клинике у немецкого профессора, и мне осталось лишь вспоминать её и видеть, как мы лежим на сене и смотрим в его открытую дверь, тесно прижавшись друг к другу.

И слушаем, как шумит дождь.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ. «НАД ВЫМЫСЛОМ СЛЕЗАМИ ОБОЛЮЮСЬ»⁶

Упаси Бог вас подумать, что написать сценарий для телесериала – лёгкое дело. Но у меня был опыт написания инсценировок, о чём я вам уже сказал. И главное, у меня оказались способности к этому делу, даже талант, который разглядел не только наш многоопытный директор Табачник, он же Львович, и чем воспользовался в своей игре Ревун.

Ещё трудней, чем написать сценарий, его пробить, то есть добиться принятия и воплощения – это отдельные многотрудные и извилистые, часто непредсказуемые истории. Скажу, что в моей практике длинные и запутанные истории часто кончались ничем.

Эта моя сценарная история, как и прежде, особенная. Началась она хорошо, заявка моя одобрена, под написанный мной первый вариант сценария выдан аванс. Так что живи и радуйся.

Саша устроена в клинику к этому немецкому профессору, по телефону она рассказала мне, что началось лечение. Но всякий раз, когда заканчивался разговор, я ощущал тяжесть вместо радости, неловкость, недосказанность. Ругал себя, казнил за подозрительность, ненужную совсем ревность.

⁶ Строка из стихотворения А. Пушкина «Элегия».

К кому? К Ревуну, который меня выручил? Без него что бы я делал? Кто заказал и пробил мой сценарий? Теперь вот скоро ехать в Москву, со мной хочет встретиться генеральный их объединения, обсудить дальнейшее развитие сериала.

– Александр Сергеевич, ужинать, – позвала меня Дуня, она же Авдотья Михайловна.

С тех пор, как уехала Саша, ужинаем мы с ней вдвоём – пасынок Мишка живёт своей жизнью, в которую я вмешиваюсь лишь в экстренных случаях. Он уже старшеклассник, возраст самый тяжёлый. Наши отношения после разрыва с Сашей и дальнейших перипетий остались напряжёнными. Он избегает меня, скрытничает, потому что знает, что мне неприятны его пристрастия – чаще всего наши разговоры оканчиваются взаимным отторжением. Мои попытки повлиять на него пресекались Сашей – по-моему, это главная причина того, что Миша остался всё-таки мне чужим.

Дуня представляет из себя смесь парижского с нижегородским.

Она деревенская-городская, уехала из деревни в Кручинск, проучилась в техникуме меньше года, забеременела, из общежития её выгнали. Вероника Игоревна взяла её к себе в прислуги по совету своей подруги, врача, которая сделала Дуне аборт. Дуня тут и прижилась, считая Веронику Игоревну своей благодетельницей и спасительницей.

– Совсем ничего не едите, Александр Сергеевич. – Дуня сидела за кухонным столом напротив меня, глядя, как яковыряю вилкой её рагу с картофельным пюре. – Помидоры солёные берите, они аппетит дают.

Она смотрела на меня жалостливыми голубыми глазами.

– Спасибо, Авдотья Михайловна. Без тебя я бы совсем загнулся.

– Вам бы всё шуточки, Александр Сергеевич. А я серьёзно поговорить хочу.

– О чём это?

– Да хоть о Мишке.

Я насторожился.

– Что опять?

– Дерзит.

– Ему это по возрасту положено.

– Есть же правила приличные.

– «Правила приличия» – ты хотела сказать. Наверное, когда я в Преображенке был, они тут веселились.

– Веселились! А по мне, так бардак учинили. Меня в мою комнату загнали и на ключ закрыли. Его приятель, этот длинный, руки распускал.

– А, Макс, я его тоже запомнил. Редкий балбес.

– Балбес – не то слово. Меня лапать лез.

– Ну же это слишком! Я с Мишкой разберусь.

– Мишка ваш не лучше. Если правду говорить.

Я перестал есть, посмотрел на Дуню. Она была полной молодой женщиной двадцати с лишним лет. Ей бы замуж да детей рожать. Но вот не вышла лицом – нос маленький, щёки слишком полные, волосы коротко острижены и неумело уложены. Но житейская сметка и хватка есть. И готовит хорошо. Потому и держит её Вероника Игоревна – Дуня всё беспрекословно исполняет и расторопно действует по хозяйству.

– Понимаешь, Дуня, – я протянул к ней чашку, чтобы она налила мне чаю, – ты ведь знаешь, какие отношения у нас с Мишей. Он мне пасынок. И мои старания так ни к чему и не привели – мы остались чужими. Как

и были. Он мне поэтому неподконтролен – так Саша его выучила. Знает, что она всегда примет его сторону. Но всё же укорот я ему дам.

Дуня смотрела на меня с явной симпатией. Но была в её глазах бесинка. Конечно, перемешанная с сентиментальностью.

– Я знаю, Александр Сергеевич. И вас уважаю. А Александра Васильевна... Конечно, это не моё дело... не мне, как говорится, судить...

Я пронял, что она что-то хочет рассказать мне.

– Налей-ка, Михайловна, чайку покрепче. И спасибо тебе, что ко мне по-доброму относишься.

– Да как же к вам иначе относиться, Александр Сергеевич?! Вы прямо такой человек... И в церковь ходите...

– Ну, в церковь и плохие люди тоже ходят.

– Да я не про то... – Она одёрнула вязаную кофту, поудобней уселась.

Я видел, что ей не терпится рассказать про их вояж в Москву. И всем видом своим показал, что внимательно слушаю.

– Александра Васильевна, как бы это сказать...

– А ты прямо и говори, как сердце подсказывает.

– Ладно, – лицо её приняло строгое выражение. И взгляд вроде бы изменился. – Ну вот, есть же приличные правила.

– Правила приличия.

– Ну да. Ещё с вокзала, как он нас встретил, я обратила внимание... Думаю, это показалось... Ну, а потом, в квартире уже... Шикарная такая квартира. Почти в центре Москвы, переулочек такой... Очень всё по-современному, хотя дом старый. Я его запомнила по львиным мордам над окнами...

Я видел, что Дуня не знает, как начать про главное. И помог ей:

– Ты хочешь сказать про Константина Эрнестовича. И Александру.

– Ну да. И Веронику Игоревну, я же ей по гроб жизни обязана. Можно сказать, с улицы меня к себе взяла. Я же покончить с собой хотела...

– Я знаю, Дуся. Скажи, Вероника Игоревна слишком любезничала, что ли, с этим Эрнестовичем? Это тебе показалось неприличным?

– Это бы ничего. Но обниматься и целоваться как с родным – к чему это? Я что, мебель? Дерево? Меня и за человека считать нельзя?

Мне стало нехорошо. Но нельзя же было показывать это Дусе.

– Всё ясно. Скажи, если они тебя совсем не стеснялись, значит, и разговаривали при тебе обо всём?

– Ну, не обо всём, конечно. Но что не стеснялись – факт.

– Ясно. Скажи, они сразу решили, что в Германию с Сашей он полетит, а не Вероника Игоревна?

– Они об этом говорили. Вероника Игоревна: что вы, брать на себя такие хлопоты... А он готов на всё, лишь бы Саша выздоровела. Она: расходы... А он: дело не в деньгах. Главное – выздороветь.

Дуся знала, что я люблю крепкий чай с сахаром. И горячий. И на этот раз чай она приготовила с травками, в меру с душицей, в меру с иван-чаем. Ещё заварила, как мне показалось, с какой-то ещё травкой...

– Замечательный чай, Дуня... Чего-то новенького заварила?

– Да, расторопша... – Она выжидательно смотрела на меня. – В Москве и взяла. Специально для вас.

– Спасибо. Да я ведь всё про эти чаи знаю. Понимаешь, Дуня?

– Лучше вы меня Дусей называйте. Не такая глупая, как вам кажется. Только не понимаю, как всё такое можно терпеть. Ведь они безобразники, честное слово!

- Даже так? Что же ты тогда Веронику Игоревну терпишь?
- Работу подходящую пока не нашла... чтобы с жильём.
- Это трудно. Скажи, а чем же тебя так Вероника Игоревна огорчила?

Или Саша?

– Ладно, слушайте... – Она не спускала с меня глаз, смотрела прямо и твёрдо: – Они вас дураят. А вы ведётесь. Как маленький.

– Ну, не совсем так, Дуся. Мне приходится на него работать, чтобы лечение оплатить. Разве ты этого не знаешь?

– Знаю. Но зачем Веронике Игоревне сводней быть? А Александре вашей всё ему позволять?

– Дуся, ну зачем ты так... Ты понимаешь, что говоришь?

– Если б кто другой, а не вы, Александр Сергеевич, ни в жисть бы не сказала! У него квартира большая, пять комнат я насчитала. Жили мы каждый в своей комнате. Я около кухни, в самой маленькой. Он на ночь не уходил, всё названивал то жене, то кому-то там по работе. И видела я, как они себя ведут. Вот. Жена ваша совсем матери не стеснялась. И чаще всего о деньгах, о деньгах. Мол, за ваш сценарий полагается вдвое меньше, чем надо. Так я поняла, что он из своих заплатил. И неизвестно ещё, напирает, что за кино будет. А он рискует ради неё, вашей жены то есть. Вот чем и взял.

Да, крепкий чай заварила Дуня!

Впрочем, я ведь знал, какую игру затеял Ревун. Но чтобы так быстро и так нагло... Сколько можно стрелять мне в спину?

– А как бы ты поступила на моём месте? – спросил я Дуню.

– Как! Я своему Кольке сразу от ворот поворот дала, вот как. Не хочешь жениться – иди гуляй. Найду настоящего человека.

– А не найдёшь?

– Жильё будет, рожу сына, без абортв обойдусь.

– Смелая ты. А я вот так не могу.

– Почему? – искренне удивилась она. – Как же так? Вы такой... а она...

– Ладно, Дуся. Спасибо за чай. Буду защищаться, обещаю.

Я встал, прошёл в свою комнату. Сел к столу, на котором стоял ноутбук. Надо открыть его, продолжить работу. Выправить сценарий по замечаниям этих редакторов, которых неизвестно сколько. Ревун, режиссёр, теперь вот главный из их объединения подключился. Режиссёр молодой, все его нахваляют. Талант!

Поглядим.

А может, бросить всё к чертовой матери! Раз он всё оплатил, вот и пусть сами всё делают. Я же работу свою выполнил! Хотя и не полностью... В договоре прописано про две серии, а я написал только одну. С меня по суду будут драть деньги... а у меня карман дырявый. Всё отдано на визы, билеты.

Господи! Предупреждал ведь отец Афанасий – не ввязывайся! Не послушался, теперь расхлёбывай. Прав Владимир Семёныч: «Выстрела в спину не ожидал никто»... Нет, я бы написал иначе: «Дело женщин – выстрел в спину». А наше какое дело? «Наше дело – не упасть»⁷.

Неплохо, записать...

Я открыл ноутбук.

Спасение – в работе.

Выкинуть из головы и лицемерную тёшу, и её жадного мужа. Выкинуть и Сашу. Впрочем, нет, её оставить. Ведь она уже стала персонажем сценария.

⁷ Строка из стихотворения Е. Чепурных.

Вот она злобно кричит на своего любовника. Вот он не может справиться со своей ответной злобой. Дверца машины открыта, он резко открывает ящик на панели, справа от руля, хватая попавшийся под руки нож и с размаху ударяет девушку под грудь. Она бежит от него, он догоняет, ударяет снова и снова. Она падает, а он все бьёт и бьёт её, пока она не затихает.

Приходит в себя. Лихорадочно замечает следы...

Вот так мне всё представилось.

А вовсе не как описал Каширкин. И как в этом признался под его давлением Дима Кузин.

Моя версия стала сюжетом сценария. Как убийцу разоблачили? Да очень просто. Когда он возвращался в Кручинск, заметил, что бак с бензином почти пуст.

...Остановился у ближайшей заправки. Выбежала девушка в форменном комбинезоне. Удивлённо глянула на убийцу. Сказала, кончив заправлять машину:

– У вас кровь.

– Где? А, на куртке... Это я в саду был, упал, вот руку порезал.

– Принести вам тряпку? У меня порошок есть, хорошо такие пятна смывает.

Девушка искренне хочет ему помочь.

– Да не надо! Всё равно придётся всю куртку стирать!

– У вас и на брюках пятна! – говорит девушка испуганно.

– Ах, и тут! Ерунда! Спасибо, что заметила. И сказала.

Он натужно улыбается, суетливо рассчитывается с девушкой.

Ещё раз благодарит её и уезжает.

Девушка смотрит ему вслед.

Думает о странном суетливом клиенте, заляпанном кровью.

Идёт к телефону, хочет позвонить. Но тут подъезжает другая машина, и она идёт к заправочной колонке.

Как будут развиваться действия после?

Совсем не так, как по реальному следствию, а прямо противоположно.

...Убил доцент свою аспирантку. Обвинение пало на мальчишку, такого же примерно, как Дима Кузин. Под тяжестью улик он вынужден признаться. Но в основном под давлением следователя. Но мой герой, теперь уже Бобров, всё же преодолевает свои амбиции, внешние улики, находит истинного убийцу. Девушка с бензозаправки, которая знает Боброва со школьной скамьи, рассказывает ему о том клиенте с пятнами крови на куртке и брюках...

Так я описывал убийство, которое произошло в роще у райцентра Купавино, стараясь отвлекаться от собственных терзаний, возвращаясь к ним только тогда, когда реальность меня настигала во всей своей уродливости.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ. «СЕГОДНЯ Я – ПЕЧАЛЬНЫЙ ДОЖДИК. А ЗАВТРА – СТРАНСТВУЮЩИЙ СНЕГ»⁸

Когда работа закончена, не терпится, чтобы тебе высказали мнение о ней – желательно, люди, которые понимают толк в твоём деле. При встрече я проболтался Ярцеву, что сценарий первой серии готов, и он не отвя-

⁸ Строки из стихотворения Е. Семичева «Подорожник».

зался от меня, пока не выклянул мой текст на прочтение. И вот звонок от него, просит о встрече, говорит, что разговор просто необходим. Ничего не оставалось, как прийти к нему домой – как-то слишком просительно и в то же время настойчиво звучал его голос.

Встретили меня Ярцев и его жена Клара очень суетливо, улыбаясь так, словно пришёл какой-то очень важный человек, а не сослуживец, с которым знакомы не один год. Усадили меня за накрытый круглый стол, стоящий посреди гостиной. Особенно хлопотала вокруг меня Клара, предлагая то одну, то другую закуску – было на столе и заливное, и даже фаршированная щука, что меня удивило, ведь никакого праздника и в помине не было.

Обыкновенный будний день.

В чём же дело?

– Сейчас всё узнаешь, – сказал Андрей, видя моё недоумение, которое я не смог скрыть.

За это время он не то чтобы сильно сдал, нет. Продолжал держать себя в форме, занимаясь, как и прежде, и утренними пробежками и посещая фитнес-клуб. Но изменилось выражение лица, особенно взгляд миндалевидных глаз. В них появилось что-то новое, быстро возникающее и тут же исчезающее, вроде внезапного испуга, словно он всё время ждал чего-то осуждающего, опасного для него, что между тем быстро подавлял.

Клара его – из тех женщин, чьи обаяние и привлекательность исчезают с рождением первого ребёнка. Она как-то быстро растолстела, причём не только тело приобрело обширные формы, но и лицо слишком округлилось, крупными стали щёки. Она носила свободные, широкие одежды, пытаясь как-то сгладить свою полноту, но всё рано её толщина слишком стала заметной, утяжелила и походку, и женские достоинства. Конечно, она пыталась бороться со своей полнотой, но тщетно – природа брала своё.

Удержать красавца мужа оказалось для неё не таким уж сложным делом – она родила ему ещё двоих детей, а главное, полностью подчинила его своим природным умом, знанием профессии, в которой плавала как рыба в той самой воде, в которой как будто и родилась, – настолько глубоко она овладела особенностями телевизионной индустрии.

– Всё-таки, по поводу чего такой пир, а, Клара? – спросил я после второй рюмки – напитки на столе тоже были разнообразные, на выбор, от водки и коньяка до вин, которые предпочитала Клара.

– Не мой же сценарий вас так заставил раскошелиться?

– И сценарий тоже, – ответила она, следя за тем, чтобы я хорошо закусывал.

Сама Клара отличалась отменным аппетитом, что и было одной из причин её габаритов.

– Как щука, Саша?

– «На все сто», – как сказал бы Шура Балаганов.

– По-моему, это не его слова, – заметила Клара. – Впрочем, неважно. Важно, что ты написал потрясный сценарий.

– В каком смысле «потрясный»?

– В самом прямом. Персонажи такие живые. И говорят здорово. Особенно твой Бобров. Скажи, а доцента ты, что, с Андрея списал?

– Ну что ты, Клара. Это же литература всё-таки. Левитан на Чехова смертельно обиделся, будто художник в «Попрыгунье» с него списан. Это глупость. Чехов, конечно, брал какие-то приметы окружающей его жизни. Но это же детали, а не портрет! Левитан ради забавы чайку подстрелил, вот Чехов и взял эту деталь в пьесу. Глупо было обижаться.

– Как сказать, – Клара вытерла салфеткой большой рот, внимательно посмотрела на меня. – Скажи, а вот твой доцент успешный... Зачем ты его убийцей сделал, а не жертвой совпадения обстоятельств, как в жизни? Ведь в жизни сюжет более киношный. Не так ли?

– Ну, Клара. Мне кажется, у меня интрига интересней. И с нравственной, и с социальной стороны.

– Скорее, религиозной. Твой доцент Тертуллиана цитирует.

– Верно, Клара. Я не хотел, чтобы получилась просто загадка, ребус, который надо разгадать – и делу конец.

– Да, у тебя вышла история со смыслом, – сказала Клара. – Ещё щучки, Саша?

– Нет, лучше салатика положи. У тебя прекрасный соус к нему получился.

– Спасибо.

Она стала накладывать в мою тарелку фасолевый салат, полила его соусом, который мне действительно понравился.

– У тебя, Саша, соусы получше моего. Твой доцент с женой так говорит, будто ты наши разговоры с Андреем подслушал и на магнитофон записал.

– В самом деле?

– В самом деле. Твою серию посмотрят и решат, что Андрюшка любовницу в самом деле зарезал.

Повисла пауза.

В глазах Ярцева мелькнуло то выражение опасности, страха, на которое я обратил внимание.

– Ну, Клара, это ты напрасно. Дело закрыто, Димка уже отбывает наказание. Он же неплохо рисует. Постараюсь, чтобы его на оформительские работы определили.

– Его мать апелляцию подала, знаешь?

– Нет.

– И будто бы у неё свидетели новые появились. – Клара мелкими глоточками попивала белое вино, которое хорошо идёт к фаршированной щуке. – И вот мы с Андрюшей подумали... Предполагая, что фильм получится – раз сценарий получился. Не ударит ли он по моему несчастному супругу? Твоему другу, которого ты так блестяще защитил? Зачем всё переиначивать, Саша?

Вот куда гнёт Клара. Хочет, чтобы я переписал сценарий.

– Клара, но ведь это будет художественный фильм. Вернее, новая серия из многосерийного сериала. Да и когда он выйдет...

– Всё так, Саша. Да не так, если внимательно посмотреть. Во-первых, ты же знаешь, что воздействие игрового кино куда сильнее документальной передачи – это неоспоримый факт. Во-вторых, теперь сериалы снимают так же быстро, почти как и передачи – научились. В-третьих, мать Димки дело затягивает, у неё уже защитники появились, правдорубы эдакие. О тебе уже говорят, что ты купленный... Слышал, наверное, что этот хмырь с независимого канала про тебя вещал?

– Мне передавали.

– Так вот, – продолжала наступать Клара, – зачем нам накалять ситуацию? Не правильной ли нам вместе, – она подчеркнула последнее слово, – новую серию «Ринга» сделать такой же острой публицистикой, как ты сделал у нас в эфире? Для чего на федеральном канале эту же историю переиначивать под игровую, выдавать так, что её примут за истину?

Клара умела наступать. Но и я умел защищаться.

– Ты слишком все преувеличиваешь. Слишком вы опасаетесь того, чего нет. Кто обратит внимание на очередную серию сериала? Сама посуди, при

нынешнем-то потоке этого барахла... Неизвестно к тому же, как пройдёт моя писанина.

– Пройдёт. У Ревуна прекрасный нюх. Как у гончего пса. Ты не послал ему текст, надеюсь?

– Послал.

– А зря! – властно сказала она.

Я ничего не ответил.

Клара воспользовалась этим.

– Хочешь, я с ним поговорю?

– Подожди-подожди. Ещё ничего неизвестно. Не надо спешить.

– Потом может быть поздно.

Вот как она давит. Боятся. Это видно по их лицам. А ведь совсем иначе вели себя недавно. Говорили радостно, что всё, слава Богу, закончилось.

И вот...

Значит, на самом деле им есть чего бояться?

– Я понимаю тебя, Саша. Но не всё же заново переписывать... И потом... если ты возьмёшься... Это можно компенсировать.

Я посмотрел ей в глаза. И увидел совсем не женскую решимость. Значит, она всё хорошо обдумала. Знает, что надо делать. И её не так-то легко сдвинуть с места.

– Давай решим так, Клара. Подождём, что скажет Ревун. У меня всё же договор, в котором указаны сроки.

Ей пришлось согласиться.

Дальше разговор пошёл о том о сём, попили чай, а потом я откланялся.

Когда я оказался один и шёл к остановке троллейбуса, то продолжал думать о происшедшем. Красноречивей всего оказалась фаршированная рыба. Значит, Клара изо всех сил старается меня ублажить, даже дала понять, что оплатит расходы, если я перепишу сценарий. Значит, я попал в десятку, угадал, кто убийца. Вот тебе и домысел, вот тебе и художественная правда, другая реальность! Она-то и есть настоящая правда.

По крайней мере, в моем случае.

Что же мне делать? Опять спасать Ярцева? Но зачем? Разве он мне друг? Или даже приятель? Нет, сослуживец, вот и всё.

Да, но если я оказался в обвинителях невинного человека, значит, надо исправлять свою ошибку. Признаться, что пошёл на поводу у доказательств Каширкина, который вынудил Диму Кузина взять на себя убийство, якобы во благо самому себе.

Обо всём этом я думал в поезде, когда ехал в Москву, прикидывая варианты, как мне поступить. Верно ли я предположил, что Ярцев, вернее, его Клара, лихорадочно думает, как найти путь к спасению? И тут же вспомнил, как она сказала, что как будто я их разговор подслушал и на магнитофон записал. Мой герой во всём признался жене – так я написал в сценарии. Выходит, верно представил, как в подобных случаях пытаются мужей обманутые жёны, которые всё-таки не хотят их терять.

В вестибюле Останкино меня встретила смазливая девушка, повела за собой к лифту, потом по длинному коридору с многочисленными дверями, ведущими в многочисленные кабинеты и кабинетики разного рода начальников, потому что, как я понял, это был этаж кабинетный, а не монтажных и аппаратных, где создавалась та бесконечная лента передач и сериалов, а потом выплёскивалась на головы и души людей.

Вот показалась дверь с медной внушительной табличкой, на которой что-то написано. Я не успел прочесть, что, как девица распахнула дверь и ввела

меня в холл, довольно просторный, где у полукруглого барьерчика сидела ещё одна такого же типа девица. Она совсем не походила на нашу Руфину Марковну, секретаршу Львовича, была куда моложе и симпатичней.

Девицы переглянулись, сидящая за барьерчиком кивнула, и передо мной распахнулась дверь к самому. То есть руководителю объединения, как я понял.

Это и был Марк Захарович Полянский, о котором мне по телефону говорил Ревун. Он и пожелал со мной встретиться, чтобы обсудить все вопросы, связанные со сценарием.

На бритом лице Полянского, худощавом, несколько утомлённом заботами, всё же отобразилась улыбка, когда он увидел меня. Я тут же узнал этого лысеющего, но всё ещё молодежавого джентльмена, участника многочисленных передач, где он неизменно выдавал остроумнейшие реплики по поводу проблем, связанных с кинопроизводством, сериальной индустрией и её достоинствами и недочётами. Всегда изысканно одетый, ведущий себя естественно, свободно, так же свободно изъясняющий свою точку зрения, Марк Захарович был любимцем многих режиссёров, которые охотно приглашали его на передачи, где дело касалось специфики кино на телевидении.

– Присаживайтесь, прошу вас. – Полянский указал мне на кресло у низкого столика. – Как доехали? Как вас устроили? Надеюсь, всё в порядке?

– Всё в порядке, – ответил я, – благодарю.

Нам принесли кофе, я сел напротив стены, на которой висела картина, напоминающая мне какой-то пейзаж, вроде даже импрессионистов, кого-то из французов скорее.

Полянский всё говорил ничего не значащие слова, потом о моём сценарии, похвалил его и наконец перешёл к делу.

– Понимаете, Александр Сергеевич, при всей оригинальности вашего сценария всё же мы должны опередить стратегию сериала. А она зависит от характера вашего героя. Он мне нравится, ваш Бобров. Такого поэта-следователя у нас ещё не было. Романтик, в личной жизни неудачник, обманутый женой и другом... Такой русский офицер, верно? Вроде бы такие повывелись... Но то и хорошо, что вы его неудачником делаете. Есть конфликт, есть борьба внутри него самого, вот что я разглядел. И что ценно. Но вот зачем вы его в церковь-то запустили? Этот батюшка Гурий, ну зачем он? Хотя вы его и хотите эдаким праведником показать, всё равно он у вас ходульным получился. Простите, но так не один я думаю. Лучше его совсем убрать. Погодите, дайте досказать. Эпизод, которым вы заканчиваете, получился самым неудачным. И всё из-за этого Гурия. Ну зачем он ему плачется? То есть исповедуется, что ли? Зачем у него вроде утешения ищет? Лучше будет, если он один всю боль на себя возьмёт. А вернёт его к жизни новое дело... Вы придумали, какое?

– Но мы же говорили с Ревуном о двух сериях, где эта история и заканчивается.

– А если мы предложим вам ещё пару серий? Но пусть у вас будет такой же яркий сюжет, как сейчас.

– Я как-то не думал.

– Подумайте. Но только без этого...

– Без чего?

– Ну, чтобы ваш Бобров не получился Алёшей Карамазовым.

– Но помилуйте... У Достоевского есть запись, что Алёшу он как раз в террор хотел отправить. И только потом вернуть его в монастырь.

– Это я знаю, – устало сказал Полянский. – Террор может быть, только без поповщины.

Я промолчал.

– Значит, – подвёл итог нашему разговору Полянский, – меняете финал. И пишете новую заявку. Можете пожить здесь, в нашей гостинице. Расходы мы возьмём на себя. Кстати, расчёт за сценарий можете получить, как переделаете концовку сценария.

Он встал, давая понять, что разговор окончен.

Я тоже встал. И неожиданно для себя решил продолжить разговор.

– Позвольте мне всё же сказать, Марк Захарович. Мой Алёша Бобров если и похож на своего тёзку Карамазова, то лишь отчасти. Потому что мы знаем лишь отчасти. И посмотрим как бы сквозь тусклое стекло. Помните?

– Это, кажется, из апостолов?

– Да, из Послания апостола Павла к Коринфянам. Дальше он говорит, что когда мы были младенцами, то мыслили по-младенчески. А как стал мужем, то оставил младенческое.⁹ Это я к тому, что здесь весь смысл Боброва. Он взрослеет и всё ближе подбирается к евангельской истине.

– И что же? – Лицо Полянского, бледное, сухое, было холодно-надменным.

– А то, Марк Захарович, что оригинальность моего следователя как раз в том, что он хочет жить по евангелию. Но чем ближе к истине Христовой подбирается, чем чаще терпит неудачу. Но неудача его личная, а подзащитный-то выбирается из ловушки.

– Я понимаю вас, Александр Сергеевич. Но зрителю это трудно будет понять.

– Почему – трудно? Моего Боброва ссылают подальше, в район, но дело-то вынуждены не закрыть, а продолжить расследование. И у нас остаётся вера, что оно завершится в пользу мальчишки, невинно осуждённого.

Лицо Полянского осталось холодно-непроницаемым.

– И у нас продолжится стратегия дальше показывать нашего Боброва – борца не просто за правду, а правду высшую (если вы не хотите назвать её Христовой).

Марк Захарович чуть улыбнулся.

– Да вы не подумайте, что я такой уж атеист. Но не может же ваш Бобров из серии в серию проигрывать. Чем же он кончит, вы себе представляете?

– А пусть его расстреляют – как капитана Каттани¹⁰ из «Спрута». Но только после того, как зритель его полюбит.

Полянский опять пристально посмотрел на меня. Сказал:

– Интересно. Вы всё это изложите на бумаге?

– У меня с собой нет ноутбука.

– Это не вопрос. Но всё же... С этим Гурием... Дидактика, понимаете? Мораль в конце басни – это же антихудожественно... Подумайте, прошу.

И он протянул мне руку.

И снова я пожал её – как Мазуркина, как Ревуна, так и эту холёную, но твёрдую руку.

⁹ Первое Послание апостола Павла к Коринфянам, глава 13, ст. 9–12.

¹⁰ Капитан Корrado Каттани – герой итало-франко-германского многосерийного фильма «Спрут».

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ. «Я ПРОПАЛ, КАК ЗВЕРЬ В ЗАГОНЕ»¹¹

Стоило мне выйти из кабинета, как сразу меня встретила та самая смазливая девушка, которая и привела сюда.

– Вас просит зайти к нему Константин Эрнестович.

Она повела меня по тому же самому коридору, на одном из поворотов которого мы оказались у лифта, поднялись на несколько этажей выше, опять шли по коридору и опять оказались у дверей с медной табличкой, правда, размером поменьше.

Ревун встретил меня, приветливо улыбнувшись:

– Проходите. Как поговорили?

– Предложено писать ещё одну заявку.

– А сценарий?

– Надо переписать финал.

– Ну, это не беда. Что будете пить?

– Дайте просто водички. Желательно без газа.

Мне и в самом деле хотелось пить – в горле пересохло, чувствовал я себя прескверно – будто мешки таскал.

Сел в кресло, мне предложенное, попил, немного успокоился. Глянул на стену: у Ревуна висел не пейзаж, а какая-то абстракция, из острых разноцветных линий, пронзающих шары.

– У Полянского я видел пейзаж. По-моему, Клода Мане. Репродукция, конечно. А у вас кто? – Я показал на картину.

– А у меня подлинник. Нашего молодого таланта, на сериале работал. Нравится?

– По-моему, картина в тему.

– Какую?

– Нашу с вами.

Он усмехнулся:

– Пожалуй. Что же не понравилось Марку Захаровичу?

– Вы и в самом деле не знаете?

– Хотелось бы услышать от вас.

– Церковь ему не понравилась. Предлагает всё, что связано с отцом Гурием, убрать.

– Ну, а вы, конечно, не согласились? Для вас ведь христианская основа сценария важна?

– Православная, если говорить точнее.

Он опять усмехнулся, но усмешка вышла дружеской. Бритое, с румяными щёчками лицо, глаза, устремлённые на меня, – всё вызывало если не симпатию ко мне, то дружеское расположение.

– Считайте, что вы очень удачно провели переговоры, Александр Сергеевич. Гурия убрать можно без всяких потерь для смысла всего написанного. Вы это сделаете. И даже улучшите сценарий.

– Примерно в этом же духе он и говорил.

– Вот видите. И напишете новую заявку – не хуже этой. Вы сможете.

– Не уверен. Устал, хочу домой.

¹¹ Строка из стихотворения Б. Пастернака «Нобелевская премия».

– Ну, Александр Сергеевич! Придётся протерпеть. Надо вам не только творческие дела решить.

Вот оно что. Неужели он об Александре хочет сказать?

Я снова наполнил стакан минералкой, выпил.

– Ну, говори. Какую-такую гадость ты припас?

– Александра в Москве. Я её встретил вчера.

А я с ней говорил по телефону позавчера. И она ничего не сказала про возвращение. Выходит, опять меня ждут сюрпризы.

Ну что ж, ничего. Подготавливаюсь.

Опять он вызывает меня к барьеру.

– Вы не сердитесь на неё, Александр Сергеевич. Войдите в её положение. Ей сейчас ни в коем случае нельзя волноваться. Нужно спокойно продолжать лечение уже здесь, в Москве. Я об этом позаботился. А вам мы не говорили потому, чтобы не отвлекать вас от работы. Ведь и вам вредны сильные переживания.

– Какой, однако, вы заботливый, Константин Эрнестович.

Он смотрел на меня уже без улыбки.

– Я просил Александру не говорить вам, что лечение надо продолжить в Москве, а не в Кручинске. Всё идёт как нельзя лучше, это вы знаете. Но для закрепления результатов лечения надо точно выполнить рекомендации профессора. Александра будет наблюдаться в клинике.

– Весьма вам признателен. И всё же не совсем понимаю, почему меня надо держать в неведении? Почему я должен всё узнавать последним? Или вы что-то такое уже решили? И поэтому я, оказывается, не знаю, что она в Москве, и прочее...

– Да, Александр Сергеевич, вы многого не знаете. Что мы с Александрой решили.

– Вот как? «Мы», значит?

– Да, именно мы.

– И что же решили? Выкладывайте.

– Успокойтесь. Сядьте. Поймите и меня. Мне тоже крайне тяжело вести этот разговор.

Опять у меня пересохло во рту. Но больше пить эту минералку не буду.

– Ну, что же вы молчите, уважаемый? – как можно спокойнее сказал я.

– Мы решили, что Александра остаётся со мной. Как только наберётся сил, начнёт здесь работать. Разведётся с вами. Мы поженимся.

Вот как всё просто. Вот, значит, каков финал нашего сериала. Что же ты так бездарно затыкнул его, Ревун? Почему довёл Сашу до инсульта, а потом героически принялся её спасать? Впрочем, так ли уж героически? И зачем меня-то втянул в эту игру? Решил жар загребать моими руками? Денежки свои решил сэкономить? А? Ведь жена-то твоя, Константин Эрнестович, сколько миллиончиков у тебя отсудит? Надо же тебе дыры в своём бюджете затыкать? Почему бы меня, простофилю, дурака, обманутого мужа, в этих целях не использовать?

Ах ты Ревун, Ревунчик окаянный...

– Подонок – вот ты кто...

Подлец!

– Не горячитесь, Александр Сергеевич. Вы слишком побледнели.

– Нам лучше всего закончить разговор, – вслух сказал я. – За себя не ругаюсь.

– Хорошо-хорошо, – поспешно сказал он. – Но надо решить ещё один вопрос. Ведь вы наверняка захотите встретиться с Александрой. А она про-сила передать, что это нежелательно.

– Врёшь! – вырвалось у меня.

– Александр Сергеевич!

– Ладно, драться не буду... Слишком пошло... А встречусь с женой обя-зательно! Так и запомни.

Я пошёл к двери, распахнул её.

Слава Богу, меня поджидала та же девица. А то я заблудился бы в этих бесконечных коридорах. И ещё мог бы и упасть.

Но девица проводила меня до вестибюля, вывела на улицу, посадила в машину, и меня благополучно доставили в гостиницу.

Как только я остался один, сразу кинулся к дорожной сумке. Лекар-ства в боковом кармане. Вытащил пакет, лихорадочно нашёл корвалол, потом конкор, ещё самые необходимые лекарства.

Унять сердцебиение, снять боль. Если это ещё и нервишки мои разыгра-лись, надо выпить вот эти таблетки с длинным названием, которое я ещё не запомнил. Мой лечащий врач, хорошая такая женщина, Лариса Иванов-на, мне их рекомендовала. Новейшее какое-то лекарство от межрёберной невралгии, очень эффективное. Мне помогает.

Так.

Сесть в кресло, прижаться к мягкой спинке.

Закрывать глаза. Боль должна отпустить.

Сейчас, сейчас.

Разберёмся во всём по порядку.

Если сваливается столько несчастий сразу, надо их разгребать одно за другим.

Начнём со сценария.

Никаких исправлений делать не буду.

Нельзя поклоняться их богам. Так поступали святые всех веков. И я буду следовать их примеру. Спасать Ярцева не буду.

Так.

Финал оставляю такой, какой написан. Убирать моего отца Гурия (прото-тип – отец Афанасий) не буду.

Деньги? Никуда они не денутся. Выплатят – ведь сценарий я сдал в срок, и он принят. Пусть не дадут сейчас – на дорогу деньги у меня отложены.

Уехать от них как можно скорее. Вот в чём вопрос.

Но Саша!

Похоже, Ревун сказал правду. Я же узнал от Дуси, что они опять вместе. Но, как всегда, не хотелось верить.

Придётся!

Что ж, она выбрала его. Потому что... ну, почему? Денег он выложил больше?

Да, конечно.

Жениться наконец на ней решился?

Да, конечно.

Лечение успешное, ходить она стала? И говорит нормально?

Да, конечно.

Но всё-таки это не главное.

Главное – она идёт к желанной цели.

И эта цель уже близко!

Вот в чём вопрос!

Александра Колотилина, ваш выход!

И в свете луча она выходит из-за ширмы, направляясь к микрофону.

И начинается её шоу, в котором она – главная героиня!

А может, она не выходит, а сидит в кресле, и к ней выходит какой-нибудь Лучано Паваротти, или Аль Пачино, или Никита Михалков – из наших, если не импортных знаменитостей.

Да, вот в чём вопрос, дорогой мой Неделин. Ты всего лишь провинциальный поэт, к тому же нищий. Тебе же протеже устроил её любовник, и ты повёлся, как сказала Дуся. Правда, ты так поступил, чтобы её же и спасти, но это дело второе, не самое главное. Ведь так она рассудила, если даже не захотела повидаться с тобой.

Так.

Ещё накапать тридцать капель корвалола.

Разбавить водичкой.

Выпить.

А может, и коньячку?

Он у меня припасён на крайний случай. Лариса Ивановна говорила, что пару рюмок можно принять, тоже помогает.

Но кратковременно.

Кто-то постучал в дверь.

А, наверное, девица от Полянского. Они же обещали ноутбук.

Или дежурная по этажу.

– Войдите!

Дверь открылась.

На пороге стояла Саша.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ. «Я Б ШТУРМОВАЛ ТЕБЯ, ПОЗОРИЩЕ МОЁ»¹²

В чёрном брючном костюме, с тростью в правой руке, с короткой стрижкой, изящной, свободной, с полумесяцами волос на щёки – этим новым обликом она кого-то мне сразу напомнила, но я не догадался, кого. Просто такой я не видел её раньше. Волосы чёрные, густые, которые она укладывала так и эдак, всегда красиво, что меня радовало. И никогда не думал, что она их острижёт.

– Можно войти? – спросила она.

– Входи, что за вопрос.

Я убрал лекарства в пакет, сунул их в ящик тумбочки.

Встал, подвинул ей кресло к столику.

– Проходи, садись.

Она послушалась, прошла по комнате, чуть прихрамывая, опираясь на трость. Двигается уверенно, постарался герр профессор. И в самом деле он хороший специалист. Можно сказать, высший класс, как она рекомендовала его по телефону, когда я расспрашивал, как идёт лечение.

– Пахнет корвалолом, – сказала она, усаживаясь в кресло.

– Да, разговаривать с твоими друзьями – непростое дело.

– Они мне не друзья.

– Извини. Константина Эрнестовича теперь надо называть твоим мужем.

¹² Строка из стихотворения Б. Пастернака «О стыд, ты в тягость мне» из цикла «Разрыв».

Она покривила губы – подобие улыбки появилось на её ухоженном лице.
– Хорошо выглядишь, – сказал я на удивление бодро. – Только причёска непривычная. Впрочем, и такая тебе идёт.

– Я пришла сюда не для того, чтобы выслушивать твои остроты.

– Какие же это остроты? Я искренне говорю. Ты действительно хорошо выглядишь. И я рад, что лечение прошло так удачно. Константин Эрнестович мне сказал, что лечить тебя дальше положено в Москве. И он уже обо всём договорился.

– Да, это так. Но я пришла совсем не для того, чтобы это тебе сказать.

– Признаться, я всё же не знаю, для чего ты пришла.

– И не догадываешься?

– Ну, наверное, всё же положено проститься по-человечески. Я ему не поверил, будто ты наказала сказать, что видеть меня не желаешь.

– Ничего подобного я не говорила.

– Значит, он соврал. Впрочем, ему не впервой.

Она посмотрела на столик, взяла стакан, налила в него воды.

– Пересохло в горле.

– Прости. Может, чего-нибудь хочешь? Я попрошу, принесут.

– Не надо. Впрочем, я бы выпила.

– Что? – я придвинул карту гостя, нашёл телефон ресторана. – Коньяк подойдёт? Или вино? Тут вряд ли есть «Киндзмараули», которое ты любишь.

– Пойдёт и какое-нибудь красное. Только не креплёное, а сухое.

– Я помню твои предпочтения. Вот, например, итальянское. «Фалернского», которое любил Воланд¹³ в это время суток, здесь, увы, нет.

Я сделал заказ по телефону.

– Раз вспомнил о Воланде, надо нам решить и квартирный вопрос. Поручишь его маме, она отлично управится. Мишку, конечно, забираешь с собой. Константин Эрнестович позаботится устроить его в какую-нибудь престижную гимназию. А потом и отправит в Европу, в Англию, например. Вероника Игоревна будет вас навещать. Она ведь так любит столичные театры. Кстати, Константин Эрнестович познакомил тебя со своими родителями?

– Прекрати! – выкрикнула она и грозно посмотрела на меня. – Хватит паясничать! Или хочешь, чтобы меня снова хватил удар?

Она схватилась за стакан и снова стала пить, с трудом проглатывая воду.

Пожалуй, я перебрал.

Но о чём же с ней говорить? И как? Плакаться, умолять вернуться? Нет уж, хватит, милая.

– А ты не подумала, что меня самого может хватить инфаркт?

Тогда она пустила в ход самое сильное своё оружие.

Закрыла лицо руками и заплакала.

Выручила меня официантка, которая принесла коньяк, вино, конфеты, салатики. Скосила глаза на Сашу, которая вытирала платком лицо, спросила, не надо ли ещё что, и ушла, плотно прикрыв за собой дверь.

– В самом деле, что это я?.. Глупо. Давай выпьем. И помолчим.

Мы так и сделали.

Потом, как и положено, я рассказал, что собираюсь делать дальше. Наступает зима, в Преображенке жить станет тяжело – каждый день надо топить, а это отнимает много времени. Квартиру разменяю быстро – меня устроит и однокомнатная, большего мне на надо. А до холодов поживу в Преображенке. Попробую писать прозу, ведь давно собирался. Заяв-

¹³ Имеется в виду персонаж романа М. Булгакова «Мастер и Маргарита».

ку, которую предложил Полянский, писать не буду. Денег теперь не надо, тебя, Сашок, обеспечат и без меня. Упомянуть Ревуна я не стал, чтобы снова не доводить её до слёз.

– И вот ещё что хочу тебе сказать, Сашок. Мне болеть сейчас никак нельзя. Буду следить за своим здоровьем. Конечно, не как ты, я ведь в эфир идти не собираюсь. Но одно важное дело я обязан завершить.

– Какое?

Она успокоилась, смотрела на меня ровным взглядом, уже без тревоги и обиды.

– Мне теперь надо исправить свою ошибку. Доказать, что Димка Кузин – не убийца.

– Значит, в твоём сценарии всё правда?

– А ты-то когда успела его прочесть?

– Я как в Москву прилетела, так в первый же вечер его и прочла. Он на столе у Константина лежал.

– И как тебе?

– Очень понравился.

– Правда?

– Правда. Я и предположить не могла, что Андрей убил свою любовницу. А ты всё точно вычислил.

– Они требуют, чтобы я финал изменил. Но я этого делать не буду.

Она задумалась.

– Давай выпьем, Сашок. За всё хорошее, что было у нас.

– Давай.

Мы сдвинули бокалы, я не удержался и сказал:

– Сашок, может...

Она отрицательно покачала головой.

Я махом выпил коньяк.

Она лишь пригубила, поставила бокал на столик.

– Я тебе буду звонить. Разрешишь?

– Конечно, – согласился я. – Лучше, если не я буду звонить. К тому же буду следить за твоими успехами по ТВ.

– В самом деле? Ты веришь в мои успехи?

– А как же. Всегда верил. Ты знаешь, на кого теперь стала похожа?

– На кого?

– Когда с тросточкой вошла... Жорж Санд – вот ты кто.

– Это комплимент?

– А то как же! У Достоевского есть статья, где он её хвалит. Она в самом деле писала и хорошие вещи, хотя много и барахла насочиняла. Но знаменита была по заслугам.

– Спасибо.

Мы ещё выпили за наши взаимные успехи, а потом она встала.

– Мне пора.

– У тебя машина?

– Да, не беспокойся.

– Тогда я не пойду тебя провожать. Терпеть не могу согладатаев. – Я подумал о шофёре Ревуна.

– Это моя машина. Я сама вожу.

– Извини, я забыл, что ты умеешь. Всё равно не пойду провожать.

– Понимаю тебя.

– И я тебя понимаю. Будь счастлива, Сашок.

– И ты, Сашок.

Помолчали.

– Сашок и Сашок выпили на посошок.

– Здорово. Сейчас придумал?

– Сейчас. Поцелуемся?

– Нет, хуже будет.

– Согласен. Ну, иди.

– Иду.

И она пошла к двери, слегка опираясь на трость.

Остановилась у двери, ещё раз посмотрев на меня.

А потом дверь за ней закрылась.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

«– ПОСЛУШАЙТЕ! ЕЩЁ ЗА ТО МЕНЯ ЛЮБИТЕ, ЧТО Я УМРУ»¹⁴

Прошёл год.

И снова осень, ещё тепло, тихо в моём домике в Преображенке.

Значит, сегодня я смогу наконец превратить «ритмический гул» в слова, которые всё громче звучат и звучат в моей душе и просятся на бумагу.

Что ж, начну с того, что произошло с той осени, когда я вернулся из Москвы.

Нелегко мне было встретиться с мамой Димы Кузина, всё рассказать ей. Вместе мы занялись бюрократической волокитой по пересмотру дела, и оно уже близко к завершению. Димку оправдают, потому что есть железные свидетели – не та девушка с бензозаправки, которую я выдумал, а мальчишки из сельскохозяйственного колледжа в Купавино, где преподаёт мать Ольги Соловьёвой, Наталья Иванова. Ребята и рассказали ей, что когда копали червей для рыбалки, то видели Ярцева, как он зачем-то забрасывал яму землёй и листьями. А потом, когда он уехал, они стали раскапывать эту яму из любопытства, что же он припрятал. Но как увидели человеческую руку, сразу любопытство улетучилось.

Рассказать об этом они побоялись, но когда началась шумиха, связанная с убийством Ольги Соловьёвой, они решились и всё пересказали Наталье Ивановне.

Андрей Ярцев и его Клара не стали дожидаться повторного суда, а спешно уехали в Израиль. Видимо, у Клары или её родителей были хорошие связи, потому что уехали они быстро и всей семьёй.

Развод нам оформили той же осенью. Вероника Игоревна долго тянула с разменом нашей квартиры, всё искала выгодные варианты, хотя и у неё самой, и её сына Максима, волейболиста, были свои прекрасные квартиры. Мне пришлось в холода куковать в Преображенке, но когда я устроился на работу во вновь открывшуюся церковь сторожем и по совместительству помощником во всех бытовых делах нашему отцу Сергию, только что окончившему семинарию и начавшему служение, мне чаще пришлось бывать в новом храме и ночевать там в приличной келье, которую мне выделил наш настоятель. Восстановление церкви завершилось как раз к празднику Казанской иконы Божией Матери, в честь которой и назван наш храм.

А примерно с Крещения я наконец получил свою однокомнатную квартиру в пятиэтажной хрущёвке, и теперь у меня есть собственное жильё и в Кручинске, куда я езжу, когда возникают неотложные дела.

¹⁴ Строка из стихотворения Цветаевой «Уж сколько их упало в эту бездну».

Дебют Александры на одном из федеральных каналов состоялся той же зимой – мне об этом сказала Вика, позвонив по телефону. Дебют прошёл успешно, теперь передачу Саши многие знают. Она стала появляться и в других развлекательных шоу как приглашённая, ещё не телезвезда, но ведущая, у которой уже есть известность и имя.

Как они живут с Ревуном, я не знаю – она мне позвонила один раз, после показа моих серий по ТВ. Но говорили всё больше о сериях, больше междометиями.

А о серьёзном я заговорить не решился.

Больше она мне не звонила.

Стоит ещё сказать, что у меня с Димой Кузиным стали складываться неплохие отношения. Я добился, что в исправительно-трудовой колонии, нашей, кручинской, где он отбывает наказание, его определили заведовать «комнатой отдыха», где он оформляет всю «наглядную агитацию», если называть эту работу по-старому. Есть там и библиотека, а недавно через отца Афанасия я добился, чтобы там открылась и молельная комната. Владыка предложил заниматься ею нашего молодого отца Сергия. Дело в том, что ИТК общего режима находится на правом берегу Волги, в десяти километрах от нашей Преображенки. Вот мы с отцом Сергием ездим и туда, благо у молодого батюшки есть машина – он сын одного из наших маститых священников.

Мои две серии прошли к концу зимы. Наши, кручинские, конечно же, их заметили. А вот московские – не очень-то. Наверное, потому что дальше сотрудничать с ними я отказался.

Я загружен другими делами, ведь, по сути, стал у нашего батюшки старостой, хотя числится официально сторожем. Приходилось мне и иподиаконствовать – у меня появился стихарь, и я надевал его, когда некому было сослужить отцу Сергию.

Есть у меня и радость – я попросил Димку скопировать прориси икон, и он согласился. Стены нашего храма пока белые. И у меня возникла мысль помочь Димке овладеть хотя бы начатками иконописи, а потом определить его в ученики к хорошо знакомому мне нашему иконописцу Вите Четверякову. Так и сделал, взяв Витю с собой. Димка написал первую икону, небольшую, Богородицы, и очень даже неплохо у него получилось. Правда, Витя её правил, а Димка смотрел очень внимательно.

И это была самая моя большая радость.

Вот, пожалуй, и всё, что произошло за этот год.

...Сегодня выдался хороший день. Наверное, последний этой чуткой и грустной осенью. Попробую написать о том, что дороже всего. Может, получится? Ведь название этого стихотворения давно сложилось в моём сердце. И не даёт мне покоя.

Я вслушиваюсь в себя всё чаще. Потому что даёт знать о себе сердце.

Надо спешить, а то не успею.

А надо написать – последнее, наверное, моё стихотворение.

Но вот беда: только начнёшь писать – и сразу болит сердце.

Всё сильнее и сильнее.

Но сегодня я пересилю его.

Потому что мне помогает шорох накапывающего дождя.

Ему отдам предпочтение перед музыкой.

Ведь он шумел надо мной, когда я мальчишкой лежал на сеновале в сарайчике на задах дома нашей бабушки, которую мы ласково звали бабаней.

Не помню, о чём я тогда думал. Просто мне сладко было лежать, глядя в прямоугольный проём чердака, и слушать дождь.

И потом, уже юношей, угнездившись в стогу сена, я смотрел то на светлое, то на тёмное небо, откуда сыпались жемчужные капли, прекращались, когда выглядывало летнее солнышко.

И в этом чередовании шума и тишины, яркого света и внезапной темноты был удивительный ритм, который способна передать лишь самая лучшая в мире музыка.

И здесь, за Волгой, в домике, где тоже есть чердак и где мы лежали с тобой на только что скошенной траве, где пахло клевером, душицей, чабрецом, который у нас называют богородкой, всей той травой-муравой, которая прогрета солнцем, но ещё не успела засохнуть.

Было раннее утро, но я понял, что ты проснулась.

– Слышишь, шумит дождь, – сказал я.

– Да, слышу...

Ты повернулась ко мне и обняла меня, и мы слушали, как этот шум нежно касается наших сердец, переполненных любовью.

И вот сейчас, уже один, осенью, в этом же домике я слушаю шум всё усиливающегося дождя. И сквозь пелену, стелющуюся над речной зыбью, я думаю о тебе и вижу твою улыбку, и твои глаза, и снова ощущаю тепло твоих плеч, и щёк, и всего тела.

Я чувствую, как поднимаюсь всё выше и выше, плыву на волнах дождя и успеваю сказать, прощаясь и с тобой, и с прекрасной Землёй, на которой жил:

– Слышишь, шумит дождь.

И ты отвечаешь:

– Да, слышу, шумит дождь.

СТИХИ К ПОВЕСТИ О ПОЭТЕ ИЗ ПРОВИНЦИИ

Уильям ШЕКСПИР

СОНЕТ 66

Зову я смерть. Мне видеть невтерпёж
Достоинство, что просит подаянья,
Над простотой глумящуюся ложь,
Ничтожество в роскошном одеянье,
И совершенству ложный приговор,
И девственность, поруганную грубо,
И неуместной почести позор,
И мощь в плену у немощи беззубой,
И прямоту, что глупостью сльвёт,
И глупость в маске мудреца, пророка,
И вдохновения зажатый рот,
И праведность на службе у порока.
Всё мерзостно, что вижу я вокруг...
Но как тебя покинуть, милый друг!

(Перевод С. Маршака)

Александр ПУШКИН

ЭЛЕГИЯ

Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино – печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.

Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть – на мой закат печальный
Блеснёт любовь улыбкою прощальной.

Александр БЛОК

В РЕСТОРАНЕ

Никогда не забуду (он был или не был,
Этот вечер): пожаром зари
Сожжено и раздвинуто бледное небо,
И на жёлтой заре – фонари.

Я сидел у окна в переполненном зале.
Где-то пели смычки о любви.
Я послал тебе чёрную розу в бокале
Золотого, как небо, ай.

Ты взглянула. Я встретил смущённо и дерзко
Взор надменный и отдал поклон.
Обратясь к кавалеру, намеренно резко
Ты сказала: «И этот влюблён».

И сейчас же в ответ что-то грянули струны,
Иступлённо запели смычки...
Но была ты со мной всем презрением юным,
Чуть заметным дрожаньем руки...

Ты рванулась движеньем испуганной птицы,
Ты прошла, словно сон мой, легка...
И вздохнули духи, задремали ресницы,
Зашептались тревожно шелка.

Но из глуби зеркал ты мне взоры бросала
И, бросая, кричала: «Лови!..»
А монисто брэнчало, цыганка плясала
И визжала заре о любви.

Марина ЦВЕТАЕВА

РЕКВИЕМ

Уж сколько их упало в эту бездну,
Разверзтую вдали!
Настанет день, когда и я исчезну
С поверхности земли.

Застынет всё, что пело и боролось,
Сияло и рвалось.
И зелень глаз моих, и нежный голос,
И золото волос.

И будет жизнь с её насущным хлебом,
С забывчивостью дня.
И будет всё – как будто бы под небом
И не было меня!

Изменчивой, как дети, в каждой мине,
И так недолго злой,
Любившей час, когда дрова в камине
Становятся золой.

Виолончель и кавалькады в чаще,
И колокол в селе...
– Меня, такой живой и настоящей
На ласковой земле!

К вам всем – что мне, ни в чём не знавшей меры,
Чужие и свои?! –
Я обращаюсь с требованием веры
И с просьбой о любви.

И день и ночь, и письменно и устно:
За правду да и нет,
За то, что мне так часто – слишком грустно
И только двадцать лет,

За то, что мне прямая неизбежность –
Прощение обид,
За всю мою безудержную нежность
И слишком гордый вид,

За быстроту стремительных событий,
За правду, за игру...
– Послушайте! – Ещё меня любите
За то, что я умру.

Борис ПАСТЕРНАК

РАЗРЫВ

О стыд, ты в тягость мне! О совесть, в этом раннем
Разрыве столько грёз, настойчивых ещё!
Когда бы, человек, – я был пустым собранием
Висков и губ и глаз, ладоней, плеч и щёк!

Тогда б по свисту строф, по крику их, по знаку,
По крепости тоски, по юности её
Я б уступил им всем, я б их повёл в атаку,
Я б штурмовал тебя, позорище моё!

Арсений ТАРКОВСКИЙ

ПЕРВЫЕ СВИДАНИЯ

Свиданий наших каждое мгновенье
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
По лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.
Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: «Будь благословенна!» –
Я говорил и знал, что дерзновенно
Моё благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевою вселенной
К тебе сирень тянулась со стола,
И синевою тронутые веки
Спокойны были, и рука тепла.
А в хрустале пульсировали реки,
Дымилась горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне,
И – боже правый! – ты была моя.
Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полновзвучной силой
Наполнилась, и слово ты раскрыло
Свой новый смысл и означало царь.
На свете всё преобразилось, даже
Простые вещи – таз, кувшин, – когда

Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твёрдая вода.
Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...
Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

Иеромонах Роман (МАТЮШИН)

РАДОСТЬ МОЯ

Радость моя, наступает пора покаянная,
Радость моя, запожарилась осень вокруг.
Нет ничего на земле постоянного,
Радость моя, мой единственный друг.

Жёлтое, красное – всё разноцветное,
Золотом, золотом устланы рвы.
Прямо в лицо роднику безответному
Ветер повыбросил мелочь листвы.

Затосковали деревья бесправные,
В ризах растерзанных гибели ждут.
Лишь золотые кресты православные,
Радость моя, нас в бессмертье зовут.

Радость моя, эта суетность грешная
Даже на паперть швыряет листы.
Но возжелали покоя нездешнего
Белые церкви, святые кресты.

Их не прельщают купюры фальшивые,
Не привлекает поток золотой,
Нужно ли Вам это золото лживое,
Вам, лобызающим вечный покой?!

Белые церкви светлеются издали,
Благовествуя о мире ином.
Живы ещё проповедники истины,
Радость моя, не скорби ни о чём.

Белые церкви исполнены кротости,
Ими донесёшь освящается свет.
Радость моя, что кручинишься попусту –
Белым церквам нынче тысяча лет.

Выжили вы, бессловесные зрители,
Бури прошли, расточились врази.
Сколько всего за века перевидели
Белые церкви, осколки Руси?

Белые церкви плывут в бесконечности,
О, кладенцы неземной чистоты!
Непокорённые граждане вечности,
Белые церкви, святые кресты.

Вас не касаются запахи тленные,
Этот октябрьский отчаянный пир.
Белые церкви – твердыни Вселенных,
Не устоите – развалится мир.

Звон колокольный летит сквозь столетия,
Встретим же в храме молитвенный час!
Радость моя, мы с тобой не заметили:
Осень уже за порогом у нас.

Алексей РЕШЕТОВ

Не искал, где живётся получше,
Не молился чужим парусам:
За морями телушка – полушка,
Да невесело русским глазам!
Может быть, и в живых я остался,
И беда не накрыла волной
Оттого, что упрямо хватался
За соломинку с крыши родной.

Николай ЗИНОВЬЕВ

КРЕПИСЬ, ДУША!

Не сатана ли сам уже
В стране бесчинствует, неистов?
Но тем достойнее душе
В такой грязи остаться чистой.

Держись, родимая, держись.
И не спеши расстаться с телом.
Крепись, душа! В России жизнь
Всегда была нелёгким делом.

Николай ЗИНОВЬЕВ

Я – РУССКИЙ

В степи, покрытой пылью брэнной,
Сидел и плакал человек.
А мимо шёл Творец Вселенной.
Остановившись, он изрёк:
«Я друг униженных и бедных,
Я всех убогих берегу,
Я знаю много слов заветных.
Я есмь твой Бог. Я всё могу.
Меня печалит вид твой грустный,
Какой бедою ты тесним?»
И человек сказал: «Я – русский», –
И Бог заплакал вместе с ним.

Евгений ЧЕПУРНЫХ

КРАСНЫЙ ОТРЯД

Скачет красный отряд.
Скачет белый отряд.
И со страху молчат соловьи.
Скачет в красном мой брат,
Скачет в белом мой брат.
Скоро встретятся братья мои.

Не поют соловьи,
Не зовут соловьих.
И не кончится дело добром.
Слишком острые сабли
У братьев моих,
И сердца заросли серебром.

Встрепенётся трубач
И застынет, трубя.
Обнажат мои братья клинки.
Так они возлюбили, Россия, тебя,
Что тебя же и рвут на куски.

Помолчим, брат мой, брат.
Догадаться – не труд:
Русский узел никто не разрубит.
Те, кто любит,
Те первые нас и убьют,
А потом уже те, кто не любит.

Михаил АНИЩЕНКО

ВОТ И ТЫ ЖИВИ...

Не сдавайся, брат, не кисни,
Не стреляйся на плацу.
Я и сам бежал по жизни,
Словно слёзы по лицу.

Я и сам плутал в тумане,
По вокзалам стыл и дрог,
И меня твои дворяне
Не пускали на порог.

Но, храня мечты босые,
Заплетая боль косой,
Я любил дожди косые,
Сам бездомный и косой.

Я зловещей ждал развязки,
Был и хром, и близорук,
Но возил любовь в салазках
Над обрывами разлук.

Я готов к опале, к тризне,
И – к терновому венцу...
Вот и ты беги по жизни,
Словно слёзы по лицу.

Владимир ВЫСОЦКИЙ

**ПАРУС
(ПЕСНЯ-БЕСПОКОЙСТВО)**

А у дельфина
Врезано брюхо винтом!
Выстрела в спину
Не ожидает никто.
На батарее
Нету снарядов уже.
Надо быстрее
На вираже!

Парус! Порвали, парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

Даже в дозоре
Можешь не встретить врага.
Это не горе –
Если болит нога.

Петли дверные
Многим скрипят, многим поют:
Кто вы такие?
Вас здесь не ждут!

Парус! Порвали, парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

Многие лета –
Тем, кто поёт во сне!
Все части света
Могут лежать на дне,
Все континенты
Могут гореть в огне, –
Только всё это –
Не по мне!

Парус! Порвали, парус!
Каюсь! Каюсь! Каюсь!

Константин КИНЧЕВ

ДЕТИ ПОСЛЕДНИХ ДНЕЙ

День ото дня множился зыбкий дым,
Едкий туман следом сползал за ним,
Даже зола не сберегла углей.
Празднуют мир дети последних дней.

Вот уже год, как отгулял пожар,
От катакомб тянется к солнцу дар –
Робкий посыл, робкая тяга жить
Тех, кого влёт смерть не смогла убить.

Те, кто был до вас,
Все те, чья правда – Свет,
Крестят ваш путь
И смотрят вам вслед.
Чтобы вы смогли
Поднять и пронести,
Всё то, что Любовь
Желала спасти!

В этой войне всё было как в кино,
Плавился шар, камнем летел на дно,
Чёрное дно грязных, слепых страстей.
Празднуют мир дети последних дней.

Стихи поэта из провинции, найденные в его рукописях

ЗАВЕТ

Мой прадед, лихой барабанщик,
На двадцать первом году
Однажды проснулся пораньше
И зашагал на войну.

Не знаю, что тут сработало,
Но дали ему барабан,
И бил он в него с охотой,
И звал за собой славян.

И рядом реяло знамя,
И Скобелев-генерал,
И бились они как надо
За братьев своих болгар.

Так шёл Иван Солоницын
Суров, невысок и силён...
Бывает, что он мне снится –
Я вижу, как падает он.

Я вижу, как обнимает
Балканскую землю он,
Как кровью солдат истекает –
И дальше идёт батальон.

Идти, пока кровь не остыла,
За братство народов и стран –
Об этом гремит и поныне
Прадеда барабан.

Хочу во что бы ни стало,
Коль голос мне Господом дан,
Чтоб слово моё прозвучало,
Как прадеда барабан.

1982 г.

УЛИЦА ДОЛОРОЗА¹⁵

И здесь, под небом Спасителя,
Жить бы – и умереть,
Господа Вседержителя
Прославить и в песнях воспеть.

И в храмах молиться и плакать,
И чувствовать благодать,
И как великую благодать
Жизнь эту воспринимать.

Но милая моя Отчина,
Истерзанная вороньём,
Снова, как «Отче наш»,
Призывает: «Идём!

Мы нищие, мы опозорены,
Нас грабят, смеются и бьют»...
Но улицей Долороза
Русские люди идут.

Воруйте наши алмазы,
Золото, нефть и газ.
Но помните: Сектором Газа
Веки не сделать нас!

Улицей Долороза
Идёт вся Отчизна моя...
Это Голгофа росссов,
Они путь Иисуса хранят.

РЕЧКА СОЛОНИЦА

Старинный город Кострома
Однажды ночью мне приснится.
Там есть речушечка одна
С родным названьем Солоница.

Такая грустная она,
И солнце в ней не серебрится,
Почти исчерпана до дна
Её пречистая водица.

Стоят коровы прямо в ней,
Слепней хвостами отгоняя,
Доволен очень воробей,
У берега её купаясь.

¹⁵ Улица Долороза – путь Христа на Голгофу, где теперь улица в Иерусалиме. Святая Земля, весна 1998 года.

Поверх её пречистых вод
Клубами пар струится бурый –
Кожевенный передовик-завод
План выполняет, брови хмуря.

Исток мой, реченька-струна!
Отравлены мы и избыты,
Но живы, как и вся страна,
И силы наши не избыты.

Ударят чистые дожди,
Пробьётся и ключей водица...
Ты только этого дождись,
Моя родная Солоница.

1984 г.

МОЙ ДЯДЯ ВАСИЛИЙ КЛОЧКОВ

Не знаю, откуда берутся
Наглые клеветники,
Но вылить отраву рвутся
В чистые родники.

Будто панфиловцев было
Не двадцать восемь, а сто,
А может, вообще их не было –
Всё ведь былём поросло.

У нас-то лишь пушечки хилые,
Не устоять им в бою
Против немецкой силы,
Закованной в броню.

Да, это так, модераторы,
Вы сильные и сейчас,
Но знают ваши провайдеры –
Оружие есть и у нас.

Самым хитрым подлогам
Память вырыла ров –
...Я вижу, идёт по окопам
Мой дядя Василий Клочков.

И говорит мне: «Алёша,
Ромбом танки идут,
Снаряды закончились, в лёжку
Наш уничтожен редут.

За нами Москва и Саратов,
Волга, родное село,
За нами Отчизна, братик,
Россия – во весь горизонт.

Она велика, необъятна,
Но некуда отступить,
И буюм мы биться, братья,
И будем здесь умирать.

Вот что сказать тебе важно,
Учти, без пафосных слов –
Знаю, поймёшь ты главное,
Что в сердце держит Клочков.

Смотри, здесь казах и русский,
Нам всё понятно без слов...»
И первым шагнул за бруствер
Мой дядя Василий Клочков.

Бутылку с горючей смесью
Последнюю, что есть у него,
Бросает он сильно и метко –
И танк полыхает огнём.

Да, известно доподлинно:
Не все они полегли,
И к ним подоспели на помощь
Братья-сибиряки.

И получила в рыло
Рать, что была в броне...
А сколько панфиловцев было,
Это неважно совсем.

А вам, брехуны из «Googl»
Скажу я без лишних слов:
Память у нас не протухла –
С нами Василий Клочков!

2016 г.

НИКОЛАЙ УГОДНИК И БАБА НИНА

У нас в Екатериновке
Баба Нина живёт.
Всё у неё по старинке –
Веру и дом бережёт.

В красном углу икона,
Лампада горит перед ней,
Никола – хранитель дома
И даже деревни всей.

И вот, чтоб соседство наладить,
Однажды сказал эрудит:
«Этот святой в Италии,
В городе Бари лежит».

Нахмурилась. Взглянула сурово:
«Какой ещё Бари ты взял?
Милок, ты здоров ли?
Или вчера гулял?»

Никола – русский донине,
Заступник из рода в род,
Его видали святые
Да и простой народ».

Меня она долго отчитывала,
И я послушно кивал
И больше свою начитанность
Пред нею не выставлял.

И вот я в городе Бари
И пред гробницей клонюсь,
И благостию одарен,
Плачу и так молюсь:

«Никола, Угодник родимый,
Ты бабушку Нину спаси,
В зверств лихую годину
Бабушки нас сберегли.

Вымолили, отстояли
От бесов, убийц, палачей,
Спасителя не предали,
И не было их верней.

Никола, Угодник родимый,
Ты Русь мою сбереги,
Грозы над Родиной милой
И множество нищих, нагих.

Каемся и страдаем
И верим в спасенья час...
Светителе Николае,
Моли Бога о нас».

г. Бари
2001 год



**Людмила
СВИРСКАЯ**

КОФЕ ПО-ВЕНСКИ

Расходятся, скрипя, дощечки у моста.
У мостика – мне скажется вернее.
Над Летой, как всегда, такая пустота,
Что задержаться хочется над нею.
На берег «тот» легко попасть со всех сторон,
Без ветки золотой – когда бы если...
На пенсию ушёл измученный Харон:
Возил туда-сюда – баркас и треснул.
Застыли облака. Осенний ветер стих.
Под небом лишь свобода от печали.
Я здесь касаюсь всех: любимых и чужих,
И мёртвых от живых не отличаю.

БЕТХОВЕН

Пыль с мёртвого рояля деловито
Сметает фрау Мюллер день за днём.
Как он звучал, рояль мой! *Dolce vita!*
Моё ль остановилось сердце в нём?

Не морщась от щелчков и зуботычин,
Я накрепко, до хруста сжал кулак:
Угрюм и одинок. Косноязычен.
И по губам читаю кое-как.

Клубок судьбы давно уже размотан,
Уплачен долг ещё одной весне.
Проросшими фасолинами ноты
Разбухли в абсолютной тишине –

-
- Людмила Александровна Свирская родилась в городе Алматы (Казахстан). После окончания школы переехала в Барнаул (Алтайский край, Россия), окончила Алтайский государственный университет, факультет филологии и журналистики. С 1999 года живёт в Праге (Чехия). Автор семи стихотворных сборников, изданных в России и Чехии, и многочисленных публикаций в различных изданиях: «Алтай», «Сибирские огни», «Берега», «Симбирск», «Чайка», «Простор», «Европейская словесность», «Под небом единым» и других. Стихи переводились на чешский, украинский, английский и каталонский языки. Финалист и призёр всероссийских и международных поэтических фестивалей. Победитель конкурса «Пушкин в Британии» – 2018.

Заношенной, затянутой, затёртой...
И если с губ срывается упрёк,
Теснятся пирамидами аккорды
На чёрном небе вдоль и поперёк.

А впереди – бемоль, как белый парус.
Квартет «d-moll». Душа идёт ко дну...
Я вытяну всю музыку из пауз
И до последней ноты вам верну.

Ни денег, ни славы. Лишь двое детей-непосед.
На ужин – картошка с французской комедией в восемь.
Напрасно ругает жару возмущённый сосед:
Уже на подходе мадам пунктуальная – Осень.

Империя Лета! Как скоро ты рухнешь к ногам,
Шурша обречёнными листьями ночью и днём...
Но мне безразлично: назло и векам, и врагам
Своё лаконичное платье я гордо надену –

Пройду через парк как сквозь толщу роскошных витрин,
Любуясь блестящей, чуть смуглой родной черепицей...
А осень близка: непогода, тоска, аспирин...
Мне б сотней последней навек от неё откупиться.

Ни единым облаком не хмурясь,
Замаячил мартовский денёк.
Я с тобою, кажется, рифмуюсь,
Хоть и многим это невдомёк.
Друг от друга нас не отпуская
И на половинки не деля,
Бьётся рифма – женская-мужская,
На которой держится земля.

МАЛИНОВЫЙ СВИТЕР

О.В.Д. – с благодарностью

Теперь мне по ночам так горько спится:
Потрескивает сердце как свеча...
Молитвы шепчут тоненькие спицы,
Серебряными клювами стуча.

Нет бабушки давно. Но кто-то вяжет
Мне свитер, повторяя: «раз» и «два»...
И тянется малиновая пряжа
Со дна души, которая – права...

К чему e-mail и номер телефона,
 Коль здесь любовь, в моих руках уже?..
 И музыка малинового звона
 Не затихает в дремлющей душе.

Вчера панихида была по зиме.
 Мы все её в путь провожали последний.
 А следом шёл снег по уставшей земле –
 Бездомный, в права не вступивший наследник.
 Летели снежинки в весеннюю грязь,
 Срывались со скользких натянутых веток...
 Снег шёл торопливо, как будто боясь
 Куда-то ещё опоздать напоследок.

КОФЕ ПО-ВЕНСКИ

Н.Я.

Кофе по-венски – знакомый сюжет:
 Стройный бокал, белоснежный манжет,
 Вальсы, балы, парики, треуголки..
 Я – в легкомысленной пёстрой футболке,
 Ты – с рюкзаком, полным книг и идей..
 Встретились двое хороших людей,
 Чтоб поболтать о стихах и кино,
 Кофе по-венски испив заодно.

Вена была до конца откровенна..
 Встретились буднично. Обыкновенно:
 «Здравствуй» – «Привет».
 И, примкнув к ротозеям,
 Мы понеслись по садам и музеям,
 Безотлагательно, самозабвенно
 Вену вливая в себя внутривенно...

И закружилось с восторгом вселенским
 Небо по-венски. И солнце по-венски.
 Что же касается кофе... Увы..
 С ним решено потерпеть до Москвы.

Мы в карантине: ты и я.
 Я на балконе, ты на фото.
 Не изменилась жизнь моя
 С момента твоего ухода.
 И ощущение как в кино:
 Сажу, смотрю и жду финала.

А ты ушёл давным-давно,
По руслам высохших каналов,
Свободен, дерзок – и один,
Ты вырвался из группы риска
Туда, где вечный карантин,
Откуда только к солнцу близко.

КАРАНТИННОЕ

Июнь пронёсся, радостно стуча
Копытами по клавишам надежды.
С утра до ночи слышу: «Где ж ты, где ж ты?»
И пустота свободного плеча,
Коль нечего уже держать Атланту,
Хранит прикосновение одно...
Весь мир – как в школьной физике «дано»,
Но вдребезги разбиты Гегель с Кантом.

Здесь кто-то перепутал верх и низ...
Июль пришёл – а я оттуда родом.
Что ж я могу, не вылезая из
Норы своей трусливо год за годом?

Ты говорил, что мир накроет тьма,
Когда был жив и он, и ты в реале...
Давай поставим пушкинское: «vale!»
В конце никем не вскрытого письма...
Чтоб только Бог не дал сойти с ума.

Билеты продаются в том окне –
Куда-то. А вернее, для чего-то.
И запертые наглухо ворота
Становятся податливее мне.
Там чей-то голос (только голоса
У нас ещё не заперты покуда)...
Он спрашивает, что я делать буду
В ближайшие два с четвертью часа.
Дышать. Бежать за солнцем вдоль реки,
Постукивая термосом глинтвейна,
И трогать по пути благоговейно
Массивные висячие замки...
Приснится же такая чепуха!
Год двадцать первый. Третий день суровый.
На ощупь я бреду. И держит снова
Соломинка последнего стиха.



**Сергей
ЛЁВИН**

ЮБРУБ

*Делай деньги, делай деньги,
Позабыв покой и лень,
Делай деньги, делай деньги,
Всё остальное – дребедень!*

Песенка пиратов из м/ф «Остров сокровищ»

– Эти раритетные! Вре́мён ещё Николая I. Потому две тысячи за штуку, дешевле не уступлю, можете не уговаривать... Советские юбилейные почти все по шестьсот, за редким исключением. А десятки эти современные стальные, с латунным покрытием, беспонтовенькие, вообще за полтинник отдам. Там и Анапа, между прочим, есть в городах воинской славы. Берите, увезёте на память! – скороговоркой выстреливал худенький мужичок, упакованный в тёмный и плотный утеплённый костюм для подводного плавания.

На мокром песке перед ним лежал коричневый чемоданчик. На его корпусе в лучах робкого весеннего солнца посвёркивали аккуратно разложенные монеты, цепочки, крестики, брошки и браслетики. Неподалёку грелся металлоискатель, с которого стекали капли воды – «аквамен» только что проворно вышел из моря, завидев потенциального покупателя.

– А как они сохранились в таком приличном состоянии? Морская вода – она же вроде коррозии, всё разъедает, – усомнился Михаил. – Я пару лет назад у вас в разгар сезона отдыхал, так у меня за две недели пряжка на ремне окислилась и потемнела. И это потому, что я на влажные плавки брюки в первый день сдуру напялил.

– Не хотите – не верьте, – насупился кладоискатель. – Дело ваше. А суть, знаете, в чём? В примете о монетке на счастье. Типа, бросить её в море, чтобы вернуться. На дне её со всех сторон песчинки облепляют, и образуется что-то вроде защитной оболочки – для морской воды непроницаемой! И лежит себе

-
- Сергей Александрович Лёвин родился в 1978 г. в городе Котовске Тамбовской области, получил филологическое образование в ТГУ имени Г.Р. Державина. С 2001 г. живёт в Анапе. Член Союза писателей России, Союза журналистов России, лауреат всероссийских и международных творческих конкурсов и фестивалей, автор более 10 книг для детей и взрослых, публикаций в изданиях «День литературы», «Север», «Дон», «Веретено», «Родная Кубань» и других.

денежка, словно в коконе, пока я её не найду. Ну, или кто-нибудь ещё. Нас таких тут хватает.

Он провёл рукой в сторону, и Руднев действительно заприметил метраж в двухстах ещё одного чудака в гидрокостюме, шарящего в воде металлическим щупом.

– А дорого так почему?

– Дорого?! Да вы что? У меня цены самые демократичные. Вы у любого нумизмата номиналом поинтересуйтесь и сравните, а потом обвинениями бросайтесь! Но у меня-то, в отличие от них, товар непростой, с эксклюзивным бонусом, так сказать. Монеты эти, морем заряженные, деньги приманивают. Примеров масса!

– А что ж вы сами, раз они такие чудодейственные, в ледяной воде часами туда-сюда шарахаетесь? Сидели бы дома, купюры считали, со стола в комод пачки денежные перекладывали.

– Зря вы так, – нахмурил лоб дядька. – Я больной человек, инвалид. У меня пенсия мизерная. Потому, как вы выразились, и шарахаюсь с металлоискателем, и торгую, чтобы внукам на фрукты копейку наскрести. Хотя по образованию инженер-металлург! А магия монеток этих на меня не действует, уввы. Я, считайте, посредник: нашёл – продал – осчастливил, а сам с фигой в кармане и железякой тяжелой на горбу остался.

Михаилу стало стыдно. Но ненадолго. Он вообще не привык париться по пустякам. Однако слова о сверхъестественных свойствах морских монет упали в плодородную почву...

Больше всего в жизни Руднев любил деньги. Их ему всегда не доставало. Ещё пацанёнком собирал найденную на улице мелочь в трёхлитровую банку. Выброшенные бутылки и майонезные банки не смущаясь доставал из урн и сдавал в пункт приёма стеклотары. Без зазрения совести загонял одноклассникам привезённую из-за границы дядькой-военнослужащим дефицитную жвачку с вкладышами. Втридорога, по спекулятивной цене.

После школы Миша с лёгкостью поступил на экономфак, который окончил с отличием, поработал по году-полтора в негосударственных банках, набираясь опыта, а затем устроился в финуправление мэрии родного кубанского Славянска и безупречно оттрубил пару лет, пройдя путь от ведущего специалиста до начальника отдела. Был поощрён губернаторской грамотой, замечен сверху и приглашён на собеседование в Краснодар. В итоге Руднев прочно осел на серьёзной должности в краевом минфине.

Зарплату назначили не бог весть какую – всегда хочется большего! – зато стабильную. Поскольку семьи не было даже в проекте, вечерами хватало времени на калымы. Михаил тайком от коллег – особенно из отдела кадров, с волчьей яростью впивающихся в каждую строчку ежегодной налоговой декларации, везде ищущих подвохи и признаки коррупции, – вёл бухгалтерию нескольких некрупных фирм, специализирующихся на турпутёвках и продаже «вторички» и экономящих на штатной единице.

Но главное – через него ежедневно и ежечасно проходили потоки огромных, невероятных, непостижимых перечислений, которые он лёгким росчерком ручки отправлял в странствие, ставя подпись на очередном документе. Да, он не стискивал тяжёлые пачки пятитысячных банкнот, не вдыхал их специфический, слегка пьянящий, скупой типографский запах, но, глядя на рассевишиеся по клеточкам таблиц и диаграмм цифры и соседствующие с ними волнующие сокращения «тыс. руб.», «млн руб.» и особенно «млрд руб.», ощущал будоражащую, почти первобытную мощь денег с азартом гончей, которая взяла след петляющего по лесу зайца.

А ещё Руднев брал на заметку любые нетрадиционные методы приумножения состояния, не брезгуя откровенно абсурдными, ибо считал, что в финансовом вопросе все средства допустимы, а значит, хороши.

На его мониторе красовались бескрайние бледно-зелёные поляны stodоларовых купюр, усеянные золотыми слитками. Дома на стене спальни висела склеенная из четырёх листов ватмана карта желаний, пестрящая вырезанными из гляцевых журналов элитными автомобилями, изысканными коттеджами с дизайнерскими интерьерами, бриллиантовыми россыпями, сексапильными блондинками, одетыми в соболиные меха и индийский шёлк, и прочими атрибутами роскошной жизни.

Михаил лично тестировал любое подслушанное у сослуживиц средство – из-за терзающего душу ощущения проплывающих мимо миллионов дамочки заикливались на несостоятельности личных накоплений и жаждали увеличить их любой ценой. Руднев ходил по квартире в напаянном на голову пакете с китайским золотым драконом, мыл полы денежной водой (до начала процедуры монеты минимум сутки настаивались в ведёрке или тазике) и даже полоскал в унитазе банановую кожуру, умасливая благоволящих богачам безымянных деньгодухов. Не чурался ношения просторных красных трусов, выращивания в горшках на подоконнике толстолистных и мясистых «денежных деревьев», а также коллекционирования лупоглазых, облепленных блестящими кругляшами керамических жаб, выстроенных на книжной полке на фоне сочинений Адама Смита, Роберта Кийосаки и Карла Маркса с его «Капиталом». Из относительно свежих способов заинтересовала зарядка кошелька – для этого в оный вставлялся шнур от мобильника и оставлялся на ночь, законнекченный с розеткой.

Руднев никогда не был религиозным человеком, да и в храм ходил в редчайших случаях – помянуть на глазах начальства, которое кучно посещало утренние литургии лишь по большим православным праздникам, сопровождая губернатора. Тем не менее, стоя на коленях возле оставшейся на память от бабушки старинной иконки, Михаил не единожды возносил молитвы: о богатстве и процветании – Николаю Чудотворцу, о деньгах – Матроне Московской, о достатке и успехе – Спиридону Тримифунтскому. «Огради меня, Спиридон, и семью мою от бедности и нужды. Убереги и приумножь наши финансы. Пошли нам изобилие и богатство. Аминь», – шептал он, но отдачи от святого с диковинным именем не чувствовал, потому вскоре сию практику позабросил.

Нежданно-негаданно выписанную расщедрившимся начальством премию, найденную на улице «пятихатку» или выгодную продажу начавшей надоедать машины Михаил не колеблясь относил на счёт своих тайных экспериментов, оправдывая для себя крайнюю степень их экстравагантности для почтенного государственного мужа и официального распорядителя бюджетных средств.

Потому на удочку хитромудрого искателя прибрежных сокровищ Михаил клонул сразу. Оставалось определиться с наживкой.

– Этот рубль с Лениным сколько стоит?

– Двести. Он не слишком редкий. К юбилею революции выпущен, там тираж крупнейший был – несколько миллионов! Я его вчера буквально выловил, да и нередко такие попадаются, честное слово. Вы лучше с Циолковским за шестьсот купите. Или с Чеховым. Они и люди поприятнее будут! Если оба возьмёте, всё за тысячу отдам.

Предложение звучало заманчиво, однако эмоциональность Михаила всегда проигрывала прижимистости, потому он молча достал из кармана кошелёк.

– Вот-вот, в кошелёчке и носите! Средство верное, безотказное, – засуетился мужик при виде банкнот. – Вы у меня сегодня первый покупатель, а покупатель-мужчина – примета хорошая! Может, всё-таки Циолковского возьмёте, а? Или хоть Менделеева?

Михаил брёл по пустынному анапскому пляжу, наблюдая за галдящими, недовольными всем вокруг, голодными чайками, которых спугнул весёлый лабрадор, ошастливленный спустившим его с поводка хозяином.

Курорт ранней весной – совсем другой город, ничем не напоминающий развесёло-пьяную летнюю феерию. Тихий, спокойный, даже скучный, с редкими апатичными людьми, плетущимися по своим делам так вяло, словно едва вынырнули из летаргического сна и уже не против в него вернуться.

Однако профсоюзную путёвку в пансионат, подведомственный краевой администрации – ещё советской постройки, но более-менее модернизированный в начале нулевых – выдали именно на март, когда цены на услуги поменьше и, значит, для соцстраха поприятнее. Руднев не раз пожалел, что пожадничал и не отказался в пользу одного из своих замов. Курсовка была рассчитана на пятнадцать дней, но прошло всего пять, а он уже изнывал от безделья.

Закрутить курортный роман не получалось – пансионатные попутчицы все как одна были или далеко «за», или совсем не в его вкусе: если не бесформенные одышливые тетёхи, то тонкие, как ножки циркуля, недомодели, с презрением ко всему миру в студёных, водянистых глазах.

Репертуар местного кинотеатра был просмотрен в первые три дня, в Городском театре вместо спектаклей демонстрировали выставку пальто и шуб эконом-класса, а пешеходные маршруты ограничивались изгибами набережной – живописными, но приедающимися. Оставалось топтать исходные тропы, любясь разнообразиями морского прибоя под аккомпанемент птичьего гвалта.

Под ногами похрустывали выброшенные вчерашним штормом ракушки вперемешку с деревяшками, пластиковыми бутылками и другим мелким мусором, который равнодушно облизывала набегающая пена.

Золотой крестик на толстой перекрученной цепочке настолько органично вписался в nature mort, что Михаил ни за что бы его не заметил и прошёл мимо, однако спрятавшийся в клубке водорослей благородный металл выдало отразившееся в нём солнце, пробившееся сквозь пробрешину в низких облаках.

Руднев наклонился, извлёк находку из песка и отряхнул. На всякий случай осмотрелся. Никому до него дела не было: семья с ребёнком лет шести кидала хлеб лебедям и уткам-лысухам, пережидаящим зиму в тёплых краях, а пара старушек увлечённо обсуждала вечерний выпуск новостей, в котором добрый премьер обещал поднять им пенсию на полтора процента. Михаил улыбнулся сам себе, положил цепочку в карман и отправился в номер, едва не пританцовывая.

Там он достал пухлую записную книжку, в которой вёл скрупулёзный учёт всем тратам и прибылям, и вписал в графе, лаконично обозначенной знаком «плюс»: «зол цепь», – оставив прочерк в соседнем столбике со стоимостью. Без консультации ювелира было не обойтись.

На соседней странице он начертил сокращение «юбруб», а рядом сумму – 200. В нежелании ставить точки и потребности кромсать и миними-

зировать слова таилась крайняя степень меркантильности, в которой Руднев стеснялся признаться даже самому себе.

Он считал, что этим... экономит на чернилах.

Наутро по плану стоял спортзал.

Сыграв несколько сетов в теннис с лошадиной, почти двухметровой каланчой из мэрии Выселковского района и пропотов минут десять на тренажерах, Михаил с чувством исполненного долга пошёл в раздевалку, где возле скамеечной ножки обнаружил мятую пятисотку – очевидно, кто-то выронил из кармана, когда натягивал джинсы. Ценителей здорового образа жизни окрест не наблюдалось, поэтому он с чистой совестью отправил купюру в кошелек, посчитав, что там ей уютнее, чем на кафельном полу.

После полудня водитель маршрутки передал ему сдачу с сотни – вместо врученного на входе полтинника. Руднев не возражал – считал всех шоферюг наглыми барыгами, готовыми обчитать любого пассажира независимо от пола и возраста.

Вечером анапский ювелир, покрутив в пальцах крестик с цепочкой, взвесив их и задумчиво поцокав языком, сказал, что готов приобрести «безделицу» за две с половиной тысячи. «Значит, стоят в два, а то и три раза дороже», – решил про себя Михаил и, не прощаясь, ретировался из мастерской, прикидывая, кому загнать золотишко подороже.

В восемь утра следующего дня его разбудила эсэмэска. Недовольный, он вынул смартфон из-под подушки, разблокировал и обомлел: на счёт поступило сорок семь тысяч рублей. Отпускные он получил заранее, премий, насколько помнил, не предвиделось.

На всякий случай набрал зама, зная, что тот в это время обычно стоит в пробке по пути на работу:

– Володь, привет! Не знаешь, откуда мне денежка капнула? Вроде как не должна была...

– Так это, Михал Сергеич, квартальную на две недели раньше дали. Кому-то даже повышенную, есть же везунчики! Вам-то какая пришла?

– Обычная, – зачем-то соврал Руднев. – Ладно, всё, не отвлекаю, скоро увидимся.

Он отключил звонок и присел на кровати. Требовалось перевести дух, собраться с мыслями и как следует обдумать ситуацию. Морской ли рубль так стремительно начал действовать или сработали другие мистические механизмы, но цепочка из халявных денег явно наращивала звенья. Самым важным сейчас было – не спугнуть удачу. И не проболтаться, ибо настоящую тайну, как полагал Михаил, хранит лишь один человек. Стоит кругу посвящённых расшириться – пиши пропало.

В 8.47, сонно ковляя по коридору пансионата в столовую, он обнаружил изящный браслет с брюликом возле одной из типовых бледно-серых дверей. Ковровая дорожка под находкой была скомкана, и воображение живо нарисовало картину всепоглощающей страсти: распалённый предвкушением постельных игр любовник начинает ласкать свою пассию, не дожидаясь, пока она достанет из сумочки магнитную карточку и разблокирует дверь. Женщина радуется этой жаркой игре, тихонько, чтобы не разбудить соседей, хихикает, шуточно отбивается, толкает его в грудь, уворачивается от жадных до мягкой плоти рук и за этим развесёлым похотливым действием

не замечает, как с запястья соскальзывает подаренный мужем на десятилетие свадьбы браслет...

Впрочем, всё могло быть совсем не так романтично. Перебравшая в расположенном через дорогу армянском ресторанчике, больше смахивающем на чебуречную, суррогатной «Изабеллы» по полтиннику за сто граммов, дама обронила украшение, пытаясь нетвёрдой рукой отыскать в глубине бездонной сумочки наотрез отказывающийся попадаться на глаза пластиковый четырёхугольник с чипом.

Вариантов много, итог – один: приятное пополнение бюджета. Из ниоткуда. Страшно захотелось похвастаться – хоть кому, но правила есть правила, а нарушать их Руднев не привык.

В 12.34 позвонил старый приятель, который не давал о себе знать лет так пять. Или семь.

– Миш, ты сейчас на работе?

– Нет, Гриша, я даже не в городе. В отпуске. В Анапе отдыхаю по путёвке.

– Жаль. Я тут у вас в мэрии по оказии. Хотел зайти, должок отдать.

– О, гляди-ка, вспомнил!

– Да хватит тебе! Я всегда помнил, просто возможности не было: то кредит, то ипотека, то полгода с женой бывшей судился. А сейчас наконец по всем счетам расплатился и стал долги раздавать. Ты у меня в списке первый... Спасибо, что выручил тогда.

– Спасибо, дорогой друг Григорий, в карман не положишь. Ты давай-ка, раз уж совесть в тебе внезапно пробудилась, накинь на сумму ещё четвертиночку. С учётом инфляции можно и побольше, но я сегодня добрый. И оставь моей секретарше Жанне Ивановне в 307-м кабинете. Я её наберу сейчас, предупрежу, чтобы встретила.

– Ну ты и жмот, Миша! Я к тебе со всей...

– А ко мне со всей душой не надо, – отрезал Руднев. – Мне надо вовремя и в полном объёме, учитывая проценты и моральный ущерб. Как уговаривались: кабинет 307, третий этаж направо. – И дал отбой.

Найденной в 16.46 неподалёку от пансионата тысячной купюре Михаил даже не удивился: таинственный механизм извлечения денег из незаслуживающего их пространства был запущен и работал исправно.

На следующий день, плотно позавтракав в весьма приличной для бюджетного учреждения столовой, Михаил решил догулять до песчаного пляжа. Погода располагала: день выдался солнечным, мягким и по-настоящему весенним. Синоптики обещали +18, полный штиль и отсутствие облачности. Даже воздух отличал особый вкус: его хотелось есть ложками, урча от удовольствия.

Руднев издали заметил давешнего «аквамена», шлёпающего, словно цапля, по колено в воде метрах в двадцати от береговой линии. Чемоданчик с трофеями лежал на песке, не вызывая энтузиазма у скучных прохожих.

Михаил подошёл поближе, стал рассматривать находки. Некоторых монет с прошлого раза не доставало, зато добавилась крупная пятикопеечная восемьдесят третьего года и двадцатипятирублёвка со зверями-талисманами сочинской олимпиады. Её явно посеяли не так давно...

Заметив интерес к чемоданчику, кладоискатель прочапал к берегу и затащил привычное:

– Это редкие монеты, николаевские ещё – Первого Николая, конечно. Две тысячи за штуку. Вот эти юбилейные советского периода – по шестьсот. Состояние идеальное, сами видите...

– Я у вас был пару дней назад, можете не утруждаться. Юбилейный рубль купил с Лениным.

– А, из недорогих. Ещё что-нибудь желаете? Вот с Менделеевым монета коллекционная. Берите, не пожалеете. А ещё лучше эта трёхрублёвая, 89-го года, землетрясению в Спитаке посвящённая. Раритет между прочим!

– Скажите, а они все обладают такими свойствами?

– Какими? – вдруг насторожился мужичок.

– Вы же сами говорили: деньги притягивать.

– А у вас получилось, да? – лицо кладоискателя исказилось, он мгновенно утратил благодушие и учтивость.

– Да нет, конечно, – попытался сыграть в обратную Михаил, но не тут-то было: продавец как клещ пребольно вцепился ему в запястье сухой пятернёй.

– Отдайте мне эту монету. Пожалуйста. Или продайте! Я верну вашу сумму впятеро. Хотите, вдесятеро? Я вам тот рублик за сколько продал? Двести же? Так вот, я вам прямо сейчас две тысячи заплачу... – И он полез в водонепроницаемый кошелек, закреплённый на поясном ремне, но пальцы слушались плохо, дрожали и никак не цепляли вихляющуюся «собачку».

– Нет, не стоит, – отступил на всякий случай на пару шагов Руднев. – Я всё равно не продам. Сделка обратной силы не имеет.

– Продайте! – взвизгнул мужичок. – Я старый больной человек, мне деньги на лечение нужны, внуков поднимать, а вам жить да жить ещё, горя не зная.

Михаил продолжал пятиться. Искатель прибрежных сокровищ явно был чокнутым, и пререкаться с ним казалось не столько бесполезно, сколько опасно. Кто знает, чего ожидать от перевозбуждённого пенсионера.

– Вы даже не подозреваете, владельцем какой реликвии случайно стали! – голосил дедуля. – Это же не просто монета – это сверхрубль!

– Сверхрубль? – попробовал чудное слово на вкус Михаил, задумчиво перекатил его языком во рту. – Сверхрубль... Забавно. Сами выдумали?

Собеседник не ответил. Ему, кажется, поплохело: кровь отлила от лица, кожа посерела, глаза будто запали в глубину черепа, и «аквамен» медленно осел на песок рядом со своим чемоданчиком.

– Эй! Эй, вы что?! – беспомощно закрутил головой Руднев. – Эй, человеку плохо! Есть здесь кто-нибудь местный? Как скорую вызвать?

Тут же вызвался доброволец – очкарик в нелепой кепке-«жириновке» и с дурацкими бакенбардами, который стал сосредоточенно давить на кнопки ископаемой «Нокии». Подтянулись и зрители: они всегда материализуются из воздуха, когда с кем-то происходит несчастье. Среди зевак удачно оказался врач, незамедлительно начавший щупать пульс незадачливого торговца раритетами и слушать его дыхание.

Человека с чемоданчиком обступил десяток прохожих, и Руднев решил ретироваться, что называется, под шумок. Понимал, что пользы от него ноль, да и не хотел своим нежеланием расставаться с чудо-монетой спровоцировать у инвалида новый сердечный приступ.

В 13.53 позвонили из риэлтерского агентства. Сообщили, что нашёлся надёжный покупатель на дачный участок, который принадлежал бабушке Михаила, а после её кончины перешёл по завещанию любимому внуку. Копаться в земле, выращивая огурцы с помидорами, он, естественно,

не пожелал. На уговоры родни уступить дачу по-свойски, то бишь за бесценок, ответил категоричным отказом, за что был внесён эшеломом тётъ, дядь и внучатых племянников в разряд классовых вредителей и врагов народа.

Меньше всего Руднева тяготили семейные проклятия, потому, завершив юридические хлопоты, он выставил участок с домом-вагончиком и деревянным сортиром на продажу. Тот полгода висел мёртвым грузом, есть не просил, и ладно. А теперь его были готовы приобрести за сумму, превышающую самые смелые ожидания Михаила, который морально готовился скинуть цену процентов на пятнадцать-двадцать!

Договорившись, что оформление договора купли-продажи можно начинать, а он через неделю придет и всё подпишет, Руднев откинулся на кровати, рассматривая давно не мытую люстру. «Ух, как всё завертелось-то! Красота!» – думал он.

Часик подремав (а что, отпуск – можно позволить!), он подключился к пансионатному wi-fi и задал в поисковике: «сверхрубль». Яндекс выдал, как обычно, всякую непотребщину вперемешку с аналитическими статьями из газеты «Экономика и жизнь» и цитатами министра финансов. Крайне разножанровые материалы объединяли слова «сверх» («вы достигнете сверхнаслаждения», «сверхоргазм для настоящего мужчины») и «рубль» («курс рубля снова катастрофически падает», «о бедном рубле вы замолвите слово»). «Сверхрубля» в чистом виде в перечне не наблюдалось.

Десять ссылок, двадцать, тридцать... Лишь на четвёртой страничке Михаил углядел выделенный жирным шрифтом во фрагменте текста «сверхрубль» – в цитируемых блогером под ником No\$off фрагментах воспоминаний некоего Александра Макарчука, бывшего работника Московского монетного двора. Текст, правда, размещался на сомнительном портале «Нераскрытые загадки и тайны XX века», специализировавшемся на Бермудском треугольнике, ангаре восемнадцать, перевале Дятлова, вторжении рептилоидов и прочей паранормальщине.

Сайт с постом No\$offa предназначался людям, убеждённым, что в шкафу у них обитает полтергейст, в огороде – кикимора, а тихий сосед по ночам молится Вельзевулу и варит борщ из чёрных котов. Абсурдности portalу добавляло то, что главную страницу увенчивала криворуко сделанная реклама фирмы, которая продаёт шапочки из фольги, защищающие владельца от агрессивных инопланетных космоизлучений.

Впрочем, если не брать во внимание раздражающие факторы, читать фрагменты мемуаров Макарчука было по-настоящему интересно...

Текст, озаглавленный «Тайна юбилейного сверхрубля», предварял комментарий блогера: «Существует немало баек и городских легенд о необычных, наделённых иррациональными свойствами монетах.

Крайне оригинальную историю мне прислал Юрий Макарчук, чей отец не так давно покинул этот мир, оставив после себя исписанную мелким почерком тетрадь с мемуарами, разбитыми на небольшие главки. Юрий сам увлекается нумизматикой, в том числе паранумизматикой, потому решил, что текст под названием «Сверхрубль» может быть небезынтересен читателям моего блога. Что ж, как минимум мне он показался любопытным! С удовольствием делюсь».

Далее выделенная иным шрифтом шла история Макарчука...

«С 61-го и до самого 85-го года, когда началась Перестройка, я проработал на Московском монетном дворе. Сначала обслуживал станки – инженером по механике. Один, потом три, пять. Через шесть лет безупречного труда доверили цех. Следил, чтобы вся техника без сучка и задоринки действовала.

В год полувекового юбилея Октября пришёл госзаказ – отчеканить серию памятных монет. Тираж огромный: у каждого номинала (10 копеек, 15, 20, 50 и один рубль) – по 50 миллионов экземпляров! Как раз в том спецвыпуске и оказался тот роковой рубль.

Внешне вы бы никогда не нашли разницу – да её и не было! Вес стандартный – 11,25 грамма, материал тоже без неожиданностей – смесь меди, никеля и цинка. На реверсе – Владимир Ильич, протянувший правую руку в знакомом всем по многочисленным памятникам жесте, стоит на фоне огромных серпа и молота. На аверсе – герб СССР и надписи: «один рубль» и «пятьдесят лет советской власти». Ни один нумизмат не разглядел бы в монете сверхординарное. Но волей судьбы я стал свидетелем рождения сверхрубля и даже недолго побыл его владельцем. Произошло это так...

Однажды во время обеденного перерыва штамповщики ушли в столовую, а я остался возиться с капризничающим прессом (мне не нравился посторонний шум). И тут зашёл начальник отдела технического контроля с незнакомым мужчиной, одетым не по погоде. Лето жаркое, духота, а он в тёмном и, по всему видно, тёплом кожаном плаще и в несуразно больших солнцезащитных очках – будто карикатура на иностранного шпиона, какие часто публиковали в «Крокодиле». Комично-отталкивающий эффект усиливали пышные, будто накладные, усы и аккуратная чеховская борода.

Учитывая строжайший пропускной режим, появление на монетном дворе столь экстравагантного типа показалось мне, по меньшей мере, странным.

Начотдела Максим Кожедуб, застав в помещении сотрудника, смутился, а затем, пытаясь разрядить ситуацию, пояснил: «Это, Александр Тимофеевич, мой давний приятель Николай Стариков. Из Владивостока прилетел. С руководством визит согласован. Показываю вот технологии».

Очкарик поздоровался. Голос его был мягким и располагающим.

– Очень интересно с юбилейной серией было познакомиться. До того, как она по городам и весям разойдётся. Особенно рубль впечатлил. Рельеф, символика. Уговорил вот Максима Сергеевича из первой партии мне экземпляр презентовать. Не для передачи в третьи руки, конечно, и без огласки.

Он, не обращая внимания на выпучившего глаза и, кажется, готового запыхтеть от возмущения Кожедуба, показал вспыхнувшую в лучах ламп монету, каких-то пару часов назад сошедшую со станка.

Я, понятное дело, возмутился. Это ни в одни ворота не лезет! И потребовал рубль вернуть. Кожедуб не противился – знал, что я прав.

Незнакомец пожал плечами и протянул монету. Сказал: «Что ж, правила есть правила» – и покинул цех вместе с раздосадованным провожатым.

Хотел я возвратить рубль в его партию, однако ближе к вечеру узнал, что первый крупный тираж уже отправлен в банковские отделения и монета больше не раритет. Решил жене новинку показать, обменял через бухгалтерию на бумажный – всё официально, мне проблемы не нужны. Да и не вынесешь рублик так просто – досмотр.

В тот же день мне неожиданно выписали премию, а, покидая проходные, я нашёл оброненное портмоне с тремя четвертными – приличная сумма! Вернулся и отдал находку контролёрше с просьбой к завтрашнему утру повесить объявление – хозяин непременно отыщется.

Дома ждал сюрприз – жена моя Катерина сообщила, что вечером её вызвали в горно и предложили должность заведующей детсадом, в котором она двенадцать лет трудилась сначала нянечкой, а потом воспитателем. И повышение долгожданное, и прибавка к зарплате весомая. Нам всё это очень кстати было – как раз о детях всерьёз задумались, возраст...

Недолго думая, решили отметить событие в ресторане: иногда и шикануть можно, раз повод такой. Праздновал я с полной, так сказать, самоотдачей, здоровье позволяло. А после ресторана ещё и к соседу по лестничной площадке заглянул – догнаться, несмотря на протесты супруги.

Наутро проснулся с сильнейшей головной болью, с трудом припоминая окончание вечера. Катерина немедленно пролила свет на белые пятна и живописала культпоход с таким энтузиазмом, что мне стало тошно, и я отправился на работу, даже не позавтракав.

Сел в трамвай, полез в кошелек – пусто! Всё оставил в проклятом ресторане, всё! Лишь в боковом кармашке лежал чудом сохранившийся рубль, который я кондуктору и вручил. Тот долго и с подозрением изучал незнакомую монету. Пришлось объяснять, что это спецтираж к 50-летию Великой Октябрьской социалистической революции, который вскоре наводнит карманы всех советских граждан, и настаивать, чтобы он принял оплату...

Ближе к обеду, когда самочувствие более-менее вернулось в норму, я встретил в коридоре Кожедуба – бледного и неопрятного, будто тоже с тяжёлого похмелья. Завидев меня, он сокрушённо затряс головой:

– Тимофеич, гостя моего помнишь? Вчера в цеху вас знакомил. Представляешь, погиб вчера ночью!

– Как погиб? – растерялся я.

– Зарезала шпана какая-то подворотная, когда он в гостиницу возвращался. Деньги из карманов выгребли, часы сняли – да у него и ценного-то ничего не было! Паспорт в кармане лежал с бумажкой, где мой адрес и телефон записаны. Вот я ночь в милиции и провёл, показания давал.

– Беда какая, Максим, слов нет! – пожалел я искренне так внезапно и трагически погибшего Николая. Вроде и знакомы не были, а неуютно на душе сразу, больно.

– Беда! – поддакнул Кожедуб. – Горе, Тимофеич! Это ж я его сюда, в Москву, вытащил. Он ведь непростой человек был. Очень!

– В смысле?

– Да... как бы это сказать... Наверде колдуна он был, Саша.

– Я, Максим Сергеевич, конечно, всё понимаю. Трагедия, друга убили. Но не с ума же сходить.

– А я и не сошёл, – уверил начцеха. – Я с ним в студенческой общаге пять лет в одной комнате прожил и чего только не видел! Мог он и кровь прикосновением остановить, и боль головную шёпотом унять, и судьбу предсказать. Но не любил: особенно когда удачей перед экзаменом зарядить просили или ещё чего. Говорил, от прапрадеда у него ещё энергия осталась, её по мелочам расходовать нельзя... Я тебе, Саня, честно признаюсь, у жены моей проблемы со здоровьем. Очень серьёзные. Онкология. Лучшие врачи смотрели, денег потратил – мало не покажется, в долги влез. Но толку никакого, динамика отрицательная. Вот я и вспомнил про Колю-чародея, как мы его промеж собой называли. В моём положении за любую соломинку ухватишься. Связался с ним. Он прилетел аж из Владивостока, не отказал. Хотя я знаю, что ему путешествия тяжело даются. Со здоровьем проблемы: солнечный свет глаза режет – аномалия какая-то. И знобит после приземления не меньше суток. Невероятно, конечно: целитель, а себе помочь

не может... С женой моей он поговорил, руки ей к животу приложил только – и сразу легче стало! Румянец вернулся! Силы, энергия – другой человек! Я в качестве благодарности решил ему экскурсию организовать, куда простым смертным нельзя, с директором согласовал. Поужинали у меня. Проводить его до гостиницы хотел, но Коля ни в какую – сказал, хочет в одиночестве по столице прогуляться. Вот и прогулялся...

– И что теперь? Родным сообщили?

– Он одинокий был. Так, наверное, даже лучше. Сейчас милиция протоколы пишет, то да сё, а после обеда меня отпустили – буду сам всё решать. По похоронам, по транспортировке тела. Ума не приложу, как всё это делать... Эх, такой человек ни за грош пропал!

Понурий Кожедуб, выговорившись, пошёл заниматься скорбными хлопотами, а я задумался о вчерашних удачах. Начались они, как только ко мне попал рубль, который незадолго до гибели подержал в руках чудотворец Николай. И, видимо, поделился своей удивительной силой с монетой. Неспроста же она за ничтожно короткое время столько для меня сделала!

Но рубль исчез из моей жизни и, похоже, навсегда. Совершенно бездарно профуканный сверхрубль...»

– Ну и идиот! – ухмыльнулся Руднев. – Такое сокровище в руки заполучил и так бездарно распорядился. Это ж уметь надо! Придурок!

После мемуаров Макаруча в блоге No\$offa шли малоинтересные далёкому от нумизматики человеку посты о наборах бразильских монет, редких биметаллических десятирублёвках с заводскими дефектами, бумажной сторублёвке с изображением присоединённого Крыма, а затем, спустя несколько месяцев, – ура! – ещё одна публикация о сверхрубле. Лишённая литературности предшественницы, но не менее любопытная.

«Сверхрубль: смена владельцев. ЖЗЛ, или Жизнь загребущих людей.

После поста о «волшебной» монете, якобы аккумулирующей деньги для своего хозяина, мне в личку пришёл с десятков писем о людях, которые некоторое время были обладателями артефакта, с таковыми встречались или же о них слышали.

Всю информацию я проанализировал, выбрал наиболее достоверные «сверхрублёвые» истории и систематизировал в хронологическом порядке, отобразив примерную географию перемещений монеты по стране. Несмотря на небольшие временные провалы, картина складывается достаточно полная.

1967–1977 гг. Красноярск – Москва. Владелец: Иван Александрович Забураев. За десять лет превратился из рядового нумизмата в денежного магната. Помимо редких монет, собирал нэцкэ, старинные иконы, полотна известных живописцев. По слухам, приобрёл на чёрном рынке несколько подлинников Моне и неизвестную картину Репина. Чрезмерной активностью привлёк внимание правоохранительных органов. Был арестован – в его новой семикомнатной квартире, купленной в центре столицы после переезда с севера, обнаружили краденые холсты. Имущество конфисковали. На допросах вину отрицал, ссылался на мистическую монету-искусительницу, которая затмила разум и заставила совершать неблагоприятное.

1977–1982 гг. Москва – Архангельск. Владелец: Елена Сергеевна Букрева, известная как Ленка Букре. Сделала головокружительную карьеру:

от продавца в бакалее до управляющей шестью столичными магазинами. Официально числилась в одном, остальными рулила при помощи подставных лиц. На Олимпиаде-80 добилась эксклюзивного разрешения на реализацию иностранцам сувенирной продукции. В 81-м, понимая, что привлекает избыточное внимание как милиции и прокуратуры, так и криминала, переезжает сначала в Ленинград, а затем в Архангельск. В 1982 году убита вместе с мужем и двумя детьми в собственном доме, сожжённом грабителями. Дело осталось нераскрытым. Двоюродная сестра Елены – Ольга Образцова – винила в гибели Букреевых рубль с изображением Ленина, который стал источником не столько сказочного обогащения, сколько бед.

1982–1988 гг. Архангельск – Ростов-на-Дону – Москва. Владелец: Араик Ваневич Анджан по прозвищу Китаец. Начиная с шестёркой в архангельской организованной преступной группировке Анатолия Калашникова (Толика Калаша). Внезапно разбогател, стал стремительно наращивать авторитет, используя все доступные методы. В 84-м, по неподтверждённым сведениям, заказал Калаша и вскоре подкупами и шантажом занял его место. В том же году переехал в Ростов – у предшественника там имелся бизнес, который решила отжать местная братва. После серии кровавых разборок и заказных убийств вернул дело и приумножил доход. Аппетиты Китайца продолжали расти, и, проведя пару лет на берегу Дона, он отправился покорять столицу. В 89-м, владея сетью торговых павильонов в Бирюлёво и половиной «Горбушки», Араик был застрелен вместе с двумя телохранителями посреди Арбата. Накопленное Китаецем «добро» разошлось среди его «коллег». Приближённый к Анджану Виктор Сума, Сумароков, арестованный в 1991 году, в тюрьме разродился мемуарами о перипетиях блатной жизни – возможно, литературная фамилия обязывала. В них упоминался фартовый юбилейный рубль, который Китаец всегда держал при себе – носил в холщовом мешочке на верёвочке рядом с крестиком.

1989–1997 гг. Москва. Владелец: Сергей Пантелеевич Мавроди, финансовый гений, один из виднейших авантюристов за всю историю России. В 89-м основал кооператив «МММ» – всего пять лет спустя он превратился в крупнейшую в стране финансовую пирамиду, от которой пострадало свыше 10 миллионов человек. В декабре 97-го Сергея Мавроди объявили сначала во всероссийский, а затем в международный розыск, после чего он исчез из вида. По неофициальным данным, осенью 97-го на его дачу в подмосковном посёлке Жуковка-3 на Рублёвском шоссе проникли грабители, которые довольствовались лишь скромной суммой. Предприимчивый финансист хранил миллиардные накопления на банковских счетах в Швейцарии. Однако воры забрали сейф, вскрыть который на месте не сумели. В нём хранилась чрезвычайно оберегаемая Сергеем Пантелеевичем вещь – вероятнее всего, сверхрубль...

1997–1999 гг. Москва – Анапа. Владелец: Геннадий Андреевич «Сидор» Сидоренко, медвежатник, специалист по грабёжам разной степени сложности, возможный участник ограбления дачи Мавроди. После вскрытия сейфа, очевидно, стал владельцем малопривлекательного для бандитов экспоната – юбилейного советского рубля, которые после 1993-го вышли из обращения. После серии успешных ограблений многократно увеличил капитал. Летом 99-го, отдыхая с семьёй в Анапе, отправился на рыбалку, арендовав парусную лодку в яхт-клубе. Из плавания не вернулся, став жертвой обрушившегося на побережье четырёхбалльного шторма.

P.S. На этом эпизоде след сверхрубля теряется. Новых упоминаний о нём нет уже больше двадцати лет».

– Ха! А след-то нашёлся! – воскликнул Михаил, бросая смартфон на подушку.

От обилия информации он подустал, но воодушевление накатывало свежими приливными волнами. Мысли неслись вскачь не хуже холёного ахалтекинского жеребца, и гордо лежащий посередине журнального столика артефакт казался не случайным зигзагом судьбы, а заслуженно пожалованным ей ключом к новым – безграничным! – возможностям.

– Без денег жить нельзя на свете, нет! – пропел Руднев слегка отредактированную арию из «Сильвы» и, повинувшись сиюминутному порыву, вскочил с дивана и станцевал нечто малопривлекательное, но крайне экспрессивное, спазматически дрыгая ногами и руками и встряхивая головой.

Начиналась полная приятных сюрпризов жизнь. И это надо было срочно отметить!

Одевшись и положив сверхрубль в кошелёк – деньги к деньгам! – излучающий флюиды счастья Михаил покинул номер, одарил широченной улыбкой девушку на ресепшен и, распахнув дверь, вдохнул аромат анапской весны.

В 19.46 он заказал в неожиданно стильном для курортного заведения баре Brookwin самое дорогое, по-настоящему роскошное итальянское вино, а также лучшие блюда от шеф-повара. Не успел Руднев опустошить первый бокал терпкого напитка, к нему за столик подсел менеджер и провозгласил, что Михаил – тысячный с начала года посетитель заведения и в честь этого ужин обойдётся ему бесплатно.

Обладатель сверхрубля по-барски смиренно принял известие и спустил пару часов три бутылки элитного алкоголя и зачем-то заказанного «на десерт» литра крафтового пива, с трудом извлёк тело из кресла – пора было проложить траекторию пути до пансионата.

В 23.17 в дверь его номера требовательно постучали. По звуку показалось, не кулаком, а тяжёлым металлическим предметом. С трудом покинув лежбище, Михаил, держась за стену, дошагал до коридора и, набычившись, хотя никто его видеть, конечно, не мог, грозно спросил:

– Кто там?

– Кто-кто, мил человек? Я!

Голос был мужской, восхищённо-оптимистичный, не юный. Подвоха он, на первый взгляд, не таил.

– Не понял... Кто я?

– Ульянов я! Владими'г Ильич! П'гишёл заб'гать свою 'геликвию. От'гывайте немедленно именем 'геволюции!

Михаил окончательно утвердился во мнении, что крафт был лишним, и решил игнорировать буйного гостя, сочтя его алкогольным фантомом. Тот, однако, не угомонился – вновь саданул по дереву увесисто, будто тараном.

– От'гывайте, 'Гуднев, гово'гю! В'гемя, батенька, деньги! А я то'гоплюсь! И п'гемного!

– Не открою, – мрачно изрёк Михаил. – Хоть обдолбись там, коммунист хренов.

– Эй-эй-эй! За такие слова и схлопотать можно! По кумполу! – гость обрушил очередную серию крепчающих раз от раза ударов. – Могу и ногой наподдать! – И Ленин действительно лупанул с невероятной силищей и сделал это, как и обещал, ногой. Да так, что казённая обитель мигом сдала позиции – дверь слетела с петель.

От грохота Руднев отпрянул. Напротив него в облаке пыли стоял Владимир Ильич Ульянов собственной персоной – будто с картинки «Букваря» из Мишиного детства: невысокий, с плешью на всю голову и бородкой клиньшском, с озорными искорками в прищуренных глазах. В одной руке вождь мирового пролетариата, одетый в строгий серый костюм с алым галстуком и стильную жилетку оттенка крокодиловой кожи, сжимал серп, в другой – молот.

– Что ж вы, батенька, по-доб'тому не захотели? Получите в ответ наше п'голета'гское «фи». И пода'гочек вп'гидачу!

Ленин раскинул руки а-ля Брюс Ли и с оглушительным воплем «кия!» совершил несколько супербыстрых движений опасными инструментами, со свистом рассекая воздух и наступая на Михаила с напором «броневичка». Руднев понял: спасения нет, хотел рухнуть на колени и слёзно молить о пощаде, но молоток опередил его намерения, с омерзительным хрустом впечатавшись в висок. В голове потемнело, однако до нырка в абсолютную мглу финансист увидел, как сверкающий полумесяцем в лучах люстры серп несётся куда-то вниз и вбок, метя в самое интимное, истощно заорал и... проснулся в ледяном поту. На электронных часах мерцало: 00.00.

«Обнуление. Обдупление. Офигение», – подумал он словами на букву «о» – круглую, монетоподобную. Передёрнулся от ужаса, захлестнувшего всесокрушающим цунами, и с криком: «Да подавись ты своим свехрублём, урод лысый!» – схватил артефакт и с трёх метров эффектно вышвырнул его в форточку, продемонстрировав снайперский талант, которым отродясь не отличался.

В 00.04, шокировав очаровашку на ресепшене мертвенно-бледной и потной физиономией, а также неуставным видом – из одежды на постояльце были лишь пижамные штаны и майка с желтовато-золотым принтом изогнувшегося буквой S символа доллара (ещё один приманивающий деньги фактор!), Михаил вывалился в промозглую ночь, включив фонарик на смартфоне и пополз по тротуару, клацая зубами и невнятно матерясь.

От позора и вызова полиции спасала девственная пустота ночной мартовской Анапы: ни машин, ни прохожих. Тишь да гладь. Жаль, не благодать...

Михаила колотило от холода, алкогольной интоксикации, но – больше всего! – от терзающего голову, которую спешно покидали запуганные мавзолейным узником винные пары, осознания того, что он самолично, без нажима и постороннего вмешательства, под влиянием дебильнейшего ночного кошмара взял да и выбросил главный в жизни джек-пот, заветный билет в Эльдорадо, шанс побыть царём Мидасом без алхимических последствий для организма.

И он, подвывая от отчаяния, искал и ползал, ползал и искал.

В 00.42, когда штаны на коленях превратились в лохмотья, пропитавшиеся кровью из стёсанной кожи, луч фонарика выхватил слившийся с серой тротуарной плиткой реверс свехрубля. «А-а-а! А-а-а! – заорал Михаил, не найдя более адекватного выражения своим чувствам. И подытожил: – А-а-а!»

Он победоносно прошествовал мимо девушки, которая за четыре года работы в пансионате навидалась всякого, но с таким инцидентом сталкивалась впервые, вернулся в номер, долго и с наслаждением стоял под горячим душем, не отводя глаз от водружённой на мыльницу монеты.

Терять её из вида Руднев более не собирался.

– Сверхрубль! – полыхнула первая мысль после пробуждения. Внезапная, как аварийное отключение света. – Сверхрубль!

И тут же, после взрыва, срыва, почти паники – успокоение: монета лежала на журнальном столике, и радостный Ильич протягивал руку в приветственном жесте, будто желая владельцу доброго утра.

Вопреки опасениям, голова болела не критично – лишь в мягкой сердцевине мозга вяло копошилось когтистое насекомое. Да ещё саднили разодранные колени. Ничего, терпеть можно.

В 9.55 Михаил покинул пансионат, кормёжка которого внезапно стала его раздражать, и отправился искать более-менее приличный ресторанчик. Как назло, межсезонный курорт благополучно дремал, и все заведения с вывесками, от дизайна которых не страдало чувство прекрасного, открывались после полудня, а то и ближе к вечеру. Пришлось довольствоваться пиццерией.

Заказав острую El Diablo с перцем халапеньо и чёрный чай, Михаил расположился за столиком поудобнее и подвёл итоги и балансы. Итак, он стал обладателем артефакта, аккумулирующего финансовые потоки для своего хозяина. И этот чудеснейший деньгомагнит реально действует!

Омрачал достоинства сверхрубля неприятный факт: практически все известные его владельцы плохо кончили. Оставалось гадать, что произошло с теми, о ком не знал автор блога.

Но здесь Руднев проблемы не видел: он не собирался заниматься криминалом или рисковать жизнью, плавая в штормящем море. Куда важнее – сохранить заданный курс и удачу в секрете: за столь расчудесную баблокачку могут и убить. Не задумываясь о принципах гуманизма.

Михаил дождался неожиданно вкусную пиццу и, расплатившись с миленькой официанткой, отправился наслаждаться весенними ароматами. На улице посчитал сдачу и удовлетворённо хмыкнул: с пятисот ему дали семьсот пятьдесят. А то, что за ошибку, вероятнее всего, вычтут из зарплаты симпатяги – так это ж её проблемы. Внимательнее надо относиться к работе!

В 11.03 Руднев понял, что за ним следят. Сначала подумал: показалось, но обострилась паранойя. Решив удостовериться, что нервничает зря, он обернулся и уткнулся взглядом в невысокого человека в серой ветровке и больших чёрных очках, излишних в пасмурную погоду. Благодаря им он и запомнил этого типа минут десять назад на аллее хвойного парка рядом с Вечным огнём.

Михаил присел на лавочку. Очкарик сделал то же самое, достал телефон и уставился в экран. Когда через пять минут Руднев встал, человек, выждав пару секунд, поднялся.

Мысли полетели, как вспугнутые кошкой голуби: «Ага. Следят. Но кто? И как узнали? Не может быть! За такой-то срок! Может, обычный гоп-стоп? Кто знает, что у них в Анапе за нравы?! Может, во мне за километр отдыхающий виден? А раз турист, то при деньгах, понятное дело. Чёрт! Что же делать?!»

«Бежать!» – истерично твякнул внутренний голос, и Михаил не стал сопротивляться, припустив со всех ног и не обращая внимания на удивлённые лица благостно-расслабленных прохожих, наслаждающихся прогулкой по ещё не перегруженному миллионами гостей городу.

Последний раз Руднев полноценно бегал в студенчестве, на занятиях физрой. Потому нарисованный воображением лёгкий, преисполненный гра-

цией бег в реальности обернулся грузной, да с одышкой, косолапостью – ноги заплетались, сердце выскакивало.

То ли преследователь был ещё более неуклюжий, то ли растерялся от такого кунштюка, но через пять минут потного позора Михаил погони не обнаружил. По улице Пушкина прохаживалась молодая мамочка с коляской, старик выгуливал полинявшую, похожую на ветхую мочалку болонку, да крутил педалями велосипедист. Ни следа треклятого очкарика! Ура!

Обрушившись увесистой филейной частью на скамейку, Михаил восстанавливал дыхание, ощущая себя развалюхой и астматиком со стажем. Однако все недомогания сводила на нет терапевтическая мысль о притаившемся в боковом отделении кошелька сверхрубле. И о выпавшей у кого-то из кармана тысячерублёвке, застрявшей между разошедшимися деревянными планками скамьи.

В 11.37 Руднев вернулся в номер, закрыл его вдобавок к автоматически защёлкивающемуся замку на непонятно как пережившую модернизацию щеколду. Глянул в окно: внизу ползли таракашками редкие прохожие. По дороге ехали автомобили и маршрутки, возле ствола рослого платана подкачивал колесо велосипедист.

Велосипедист!

Тот самый или нет, определить Михаил не смог. Вроде одет так, да не так. А за углом промелькнула серая ветровка...

«Паранойя! Бред! Я не буду сходить с ума! Я сорокалетний здравомыслящий мужик с двумя высшими. У меня в отделе двадцать три подчинённых и секретарша Жанночка, с которой изредка случается неплохой секс. Через меня идут потоки важнейших документов. И что, я буду трястись от ужаса при виде плюгавика в куртке и дебила-велосипедиста?! Ну на!..»

Предосторожности тем не менее казались не лишними, и Михаил опустил жалюзи, оставшись в успокаивающем полумраке, а затем, вспомнив шпионские боевики, с мрачной решимостью выдернул из прикроватного телефона штекер и внимательно повертел в руках аппарат. Следов вмешательства не обнаружил: на пластике ни царапинки. И то дело!

Чтобы снять напряжение, он принял душ и прилёг, отгоняя назойливо жужжащие тревожные думы. Усталость после нервной ночи и похмельного утра взяла своё, и Руднев провалился в глубокий сон, лишённый сновидений.

Проснулся около трёх от неприятного дробного перестука, будто кто-то барабанил в окно ноготками. Было темно, словно наступил поздний вечер. Погода испортилась: анапское небо затянули рваные тучи, которые спешили вдоль горизонта резво, как на ускоренной перемотке. Но завывающий в ставнях воздух подсказывал, что это не видеоэффект, а обычный для южных краёв в весеннюю пору шквалистый штормовой ветер.

Дверь вздрогнула – тут-тук! Руднев замер у окна, скрючившись авангардистской скульптурой, взгляд заметался по углам, ладонь стиснула смартфон, мигом вспотев. Кого набирать?! Полицию? Пожарных? Кого звать на помощь, когда в номер ломятся непрошеные гости?

Стук повторился. Требовательный, даже гневный.

«Точно знают, что я здесь. Что же делать?»

Сверхрубль на столике еле-еле замерцал, будто почуявшая орочью близость эльфийская сталь, и Михаил, созерцая разнервничавшийся артефакт, принял спонтанное решение – очевидное при всей своей безрассудности, но, несомненно, эффективное.

Он на цыпочках приблизился к монете, поднял её, ощущая вибрацию взволнованного металла, и, проводив Владимира Ильича прощальным взглядом, отправил его себе в рот вместе с серпом и молотом.

Монета была крупной, для глотания неудобной, но, борясь с рвотными позывами, Руднев набрал полную пасть вязкой слюны и протолкнул сверх-рубль в пищевод, морщась от неприятной тяжести в горле, а затем где-то под рёбрами.

Впрочем, тошнота не шла ни в какое сравнение с торжеством. Ликование наполняло силой, хотелось прыгать до потолка и ходить колесом, как в детстве, когда комплекция позволяла.

«Ничего, по кишкам попутешествует и выйдет, никуда не денется», – восторгался своей сообразительностью Михаил.

Вновь прогремел стук. Короткие, словно выстрелы, удары. Три. А затем голос – женский, не лишённый приятности:

– Михаил Сергеевич! Главный администратор беспокоит, Ольга Евгеньевна. Левицкая моя фамилия. У меня для вас приятный сюрприз от нашего пансионата.

– Какой такой сюрприз... – он заткнулся, но поздно – предательские слова прорвались, выдав его с потрохами.

– Вам непременно понравится! Даже не сомневайтесь! У нас впервые проходит акция «Летний бриз», что-то вроде лотереи для гостей. Участвуют все постояльцы. И, представляете, вам повезло! Откройте, пожалуйста. Я вручу вам приз, и мы сделаем фото на память, если вы не против.

– Никакого фото! – огрызнулся Руднев, но сменил гнев на милость.

Интонации задверной Левицкой не пробуждали страха и трепета. Значит, всё чисто, без подвоха. Артефакт продолжает действовать, ничего больше.

– Минуточку!

Он придирчиво оценил себя в зеркале – приличный, конкурентоспособный мужчина в расцвете сил. Пригладил поредевшие на затылке волосы пятернёй, по привычке подтянул брюки и щёлкнул замком.

Ольге Евгеньевне было не больше тридцати пяти. Миловидная, совсем немного склонная к полноте, что её ничуть не портило, блондинка с затянутой в хвост гривой, в тёмно-синей юбке и белой блузке с бейджем на пышной груди, приветливо улыбнулась постояльцу, демонстрируя аккуратные белые зубки, и протянула светло-голубой конверт, перевязанный китчевым алым бантом.

– Вот, Михаил Сергеевич, именной сертификат на отдых в нашем пансионате. На четырнадцать дней. В любой летний месяц можете воспользоваться, даже в пик сезона – главное, сообщите о вашем намерении заранее для своевременного бронирования. Считайте, вам повезло!

– Я так и считаю! – Руднев ловко вытянул конверт из пальцев главного администратора, отметил отсутствие обручального кольца и даже прокрутил в голове быструю и сочную эротическую фантазию – впрочем, немедленно отвергнутую как бессмысленную и отвлекающую от главного. – Спасибо! А сейчас, извините, у меня...

– Да-да, всё понимаю. Но если вы всё же согласитесь в любое удобное для вас время сделать фото на память, я была бы вам премного благодарна.

– Я подумаю.

Он закрыл дверь излишне резко, о чём сразу пожалел. Левицкая казалась барышней интересной и привлекательной. С такой можно попробовать легкомысленный, но от этого не теряющий шарма курортный романчик. Достаточно догнать её, согласиться на дурацкое фотографирование, пригласить в ресторан, и...

Мечтания Руднева прервало очередное постукивание. На сей раз вкрадчивое. Он усмехнулся, подумал, что сам вполне ещё жеребец, раз она вер-

нулась. Видимо, почувствовала его смятение вперемешку с влечением и поддалась обаянию, увеличенному свехрублём, наподобие сильнодействующего афродизиака.

– Я так и знал, что вы вернётесь, Ольга! И ждал я вас совсем-совсем недолго, – в рифму мурлыкнул он, распахивая дверь, и застыл с отвисшей челюстью, в которой, как в гамаке, разлёгся сдохшим морским огурцом обесилевший язык.

Напротив Михаила стоял «аквамен» с перекошенным от злости лицом и всклокоченными волосами, а за ним в коридоре маячили фигуры, плохо различимые при скудном освещении. Одна напоминала субтильного велосипедиста, вторая – хмурого очкарика, преследовавшего его утром в парке. Стоял и ещё кто-то – высокий, словно баскетболист, и опасно широкий в плечах.

– Ну что, паскуда, рубль гони! – выцедил лидер визитёров. – Первый раз по-хорошему просим.

– А хрен вам, суки! – взвизгнул Руднев, подивился пробудившейся смелости, отродясь его не отличавшей, и проворно захлопнул дверь, крепко саданув ей «искателя сокровищ» по вытянувшейся физиономии.

Тот приглушённо взвыл. Дверное полотно моментально прогнулось от удара, за которым последовали ещё и ещё.

«Долго не выдержит. Стопудово на такой штурм не рассчитана», – печально констатировал Михаил и бросился к окну, не различая, что долбит по ушам сильнее – кулаки грабителей или пульсирующая в голове кровь.

Он распахнул створку, впуская в номер ледяной влажный воздух – лютовал норд-ост, разбрасывающий горстями мерзопакостный косой дождь.

Разглядывая накануне пейзаж сквозь стекло, Михаил приметил, что где-то в метре от его окна почти до первого этажа спускается пожарная лестница – смонтированная, видимо, ещё в советские времена. Он даже нафантазировал, как доблестно спасается по ней после пробуждения в клубящемся из-под двери дыму.

Казавшиеся глупыми мысли предстояло воплотить в жизнь.

Руднев был готов – слишком многое стояло на кону, а потерять свехрубль... Он даже думать об этом не хотел!

Раздался громкий, похожий на выстрел треск. Доску похлипче проломил особенно мускулистый и рьяный налётчик. Медлить дольше было опасно, и Михаил, перекрестившись, встал в оконном проёме в полный рост, преодолевая напор бешеного ветра, примерился и оттолкнулся ногами.

Пальцы скользнули по мокрому металлу, мизинец на левой руке премерзко хрустнул, разможившись о перекладину, запястье пронзила резкая боль. Ладони всё же обхватили лестницу – скорее инстинктивно, чем по расчёту. Руднев вскрикнул от радости, что прыжок удался, однако эйфория быстро развеялась – дьявольски болела кисть, на которую он боялся даже посмотреть, да и времени на эмоции не осталось – надо было действовать. И без промедления!

Переставляя ноги и перебирая руками, щадя искрящуюся импульсами рези левую, он пополз вниз по лестнице. Определившись с принципом движения, попробовал ускориться. Взгляд всё же упал на покалеченную ладонь – не оценить масштабы ущерба казалось малодушием, особенно когда привычный мир повис на волоске.

И здесь Руднева заколотило сильнее, чем от пронизывающего ветра («Бора, южане называют его бора!» – вспомнил случайно) и даже от потрясения от разбойничьего вторжения. Палец был сломан, причём максимально

неудачно – открытым переломом. Но из разорванных тканей торчал не окровавленный осколок кости, а нечто тёмное и, кажется, металлическое... Похожее на прут кладбищенской оградки.

«Что за хрень!» – возмутился-ужаснулся Михаил и поднёс руку ближе к глазам, балансируя в схватке с воздушным потоком и чувствуя накатывающую тошноту.

Из-под разошедшейся между второй и третьей фалангами кожи торчало нечто вроде крючка из меди и по бугристой поверхности «костезаменителя» ползли то ли буквы, то ли цифры...

Время застыло.

– Эй, вон он, сучара! Вниз ползёт, гадёныш! – раздался крик, и минуты вернулись к привычному ходу. – Очкастый, ты давай скачи за ним, ты цепкий, а мы по-стариковски, по ступенечкам. Никуда мразина не денется!

Передёрнувшись, Михаил набрал темп. Секунду спустя лестница под ним всколыхнулась – на неё сиганул преследователь. Раненая рука слушалась скверно, в ней совсем не осталось лёгкости, и она больше мешала, чем помогала. Хорошо, ступеньки завершались – правда, высоко, на смыкании первого и второго этажей. Сверху это расстояние казалось меньше и безопаснее.

Руднев дополз до предпоследней перекладины, попробовал удержаться одной рукой, чтобы повиснуть, сократив расстояние до земли, но пальцы скользнули по влажному железу, ноги безуспешно попытались найти точку опоры, и Михаил со всей безрадостной очевидностью осознал, что падает.

Он рухнул на асфальт – неудачно, так и не успев сгруппироваться. Позвоночник взвыл от удара, в лодыжке тошнотворно щёлкнуло, будто в лесу турист переломил сухую коряжку для будущего костра. Боль переполнила тело. Не осталось сил даже как следует выматериться.

Но Руднев и не думал сдаваться – свёрхрубливое приключение пробудило дремавшего в нём долгие годы борца, и этот воспрявший внутренний бунтарь приказал мямле внутри посторониться и взял управление организмом в свои уверенные руки.

Не обращая внимания на боль и отказывающуюся сгибаться-разгибаться ногу, Михаил заковылял в сторону моря, ускоряясь с каждым шагом.

Через десять секунд он побежал. Бег притупил всплески боли, но их заменило другое – диковинное и пугающее – чувство. В животе Руднева взвился колючими искрами невидимый огонёк, и побеги тепла потянулись по телу, словно упомянутый турист развёл-таки костёр внутри желудка и голодные языки пламени ринулись захватывать плоть.

Ощущение будоражило, наполняя организм новым, незнакомым содержанием, перековывая его по своей прихоти, заново перестраивая сложнейшую систему мускулов, артерий, сухожилий, капилляров и хрящей.

«Свёрхрубль! Это же он всё это со мной творит! Зря я его проглотил, наверное», – понял Михаил, но анализировать таинственные процессы было некогда – погоня приближалась.

Он услышал топот, а потом увидел, не оборачиваясь (сам не понял, каким образом, третий глаз, что ли, на затылке открылся?), преследователей. Первым по лужам чапал худосочный лестничный очкарик, а метрах в пятидесяти его нагоняли то ли три, то ли четыре силуэта, полускрытые плотными дождевыми струями.

Руднев бежал по курортной набережной, надеясь, что встретит полицейских – иногда они патрулировали это многолюдное место. Но в ливень и валящий с ног норд-ост здесь не было никого. Лишь рокотало штормящее

море да возмущённо, с надрывом скрипели ветвями редкие, торчащие из каменной акации.

Михаил посмотрел на покалеченную руку – тело тотчас вывернуло судорогой, в голове захлопали крыльями переполошённые мысли. «Что это? Что, чёрт побери, со мной происходит?!» – не только сломанный мизинец, но и вся левая кисть, выглядывающая из набухшего от влаги рукава, стала серого металлического цвета и будто окаменела: фаланги не шевелились – хуже того, не ощущались, словно это чья-то чужая, неродная рука.

Руднев бессознательно потянулся к жуткому новообразованию правой ладонью и заметил, что с той тоже нелады. Она покрылась сетью чёрных, похожих на трещины корней-побегов, которые пульсировали и с устрашающей проворностью расширялись, захватывая всё больше кожного покрова.

Страх перед бандитами-нумизматами растворился в дождевых струях вместе с желанием продолжать гонку. Руднева охватил бы озноб, но пышущий изнутри жар накопил такую яростную мощь, что крупные капли, падая на плоть, с фырчанием и шипением испарялись. Где-то между кишками и позвоночным столбом заработала плавильная машина, переиначивающая ткани тела в нечто непостижимое, обжигающее, ртутью перетекающее по кровеносной системе, жадное, жаркое и жестокое.

Михаил рванул рубаху – по тротуарной плитке весело забегали наперегонки пуговицы – и закричал. Бурлящие потоки лавы не умещались внутри, огонь дышал зноем из пищевода, испепеляя язык и круша зубы. На обтянувшей кости почерневшей коже на груди Руднева отчётливо проступили здоровенный, размером с человеческую голову профиль Ульянова-Ленина, серп с молотом и надпись: «один рубль».

Голова коммунистического вождя вместе с буквами и рабоче-колхозными инструментами выпучивалась и выпячивалась, сначала лучась холодным белым светом, а затем стремительно темнея, словно застывая...

Очкарик был совсем близко, но бег сбился: он остановился и наблюдал рудневские метаморфозы выпученными зенками, не представляя, что делать с этим шипящим, шкворчащим и орущим существом, окутанным облаками пара.

Зато это знал Михаил.

С невероятным трудом развернув многократно отяжелевшее, почти утратившее способность двигаться тело на девяносто градусов, преодолевая разрушающую мозг дурноту и напрягая отказывающиеся подчиняться мускулы, управляющие костями со скрипом и скрежетом, которые живой организм не мог издавать в принципе, Руднев бросился к обрыву высокого берега, сшиб секцию тронутого коррозией ограждения и из последних сил прыгнул – насколько мог дальше.

Полёт был недолгим, но и этих секунд хватило, чтобы преобразование завершилось и на скользкие валуны упал уже не человек. Нечто некрасивое, угловатое, увесистое, преодолев тридцатиметровую высоту, от сильнейшего удара треснуло и рассыпалось на сотни одинаковых юбилейных рублёвых монет с Лениным на реверсе и советским гербом на аверсе. Они с весёлым звоном брызнули по сторонам, скача и подпрыгивая, рикошета и радуясь свободе, до полусмерти напугав ватагу спорящих из-за надорванного мусорного пакета чаек.

А шторм продолжал бушевать, атакуя берег перемешанными с ливнем пенными волнами, которые азартно перекачивали гальку и жадно уволакивали в морские глубины всё, что плохо лежит.

До утра на мокрых камнях не осталось ни одной монеты.



**Юрий
КАРГИН**

«ВИТЯЗЬ СТУДЁНОГО МОРЯ»

Мамин Николай Иванович (псевдонимы Николай Ман и Николай Ропчин) – прозаик.

Родился 14 октября (27 октября) 1906 года в Балакове в семье заводчика И. В. Мамина. После окончания школы был учителем, рабочим, год учился в Московском университете.

В 1928–1932 гг. служил на флоте, был старшиной на легендарном крейсере «Аврора». С 1928-го – член Литературного объединения Красной армии и флота (ЛОКАФ). Писал стихи. Они впервые были опубликованы в 1929 году в газете «Красный Балтийский флот». Вскоре в журнале «Залп» был опубликован первый его рассказ «Турнир гимнов». В 1930 году вышел его первый поэтический сборник. Продолжал публиковать рассказы в журналах «Ленинград», «Залп» (г. Ленинград), «Знамя» (г. Москва). В 1934 году вышел первый сборник рассказов Маминна «Якобинцы», и он был принят в Ленинградское отделение Союза писателей СССР.

Но ранней литературной карьере не суждено было состояться. 28 июня 1936 года Николай Иванович поехал в Москву, был арестован по знаменитой статье 58-й за антисоветскую агитацию (наверное, припомнили ему его происхождение) и после, как всегда, короткого в подобных случаях следствия осуждён на 8 лет ссылки. Срок отбывал в Ухте.

Освободился в 1944-м. По дороге на «волю» у него украли чемодан со всеми рукописями. Пришлось срочно восстанавливать написанное в ссылке. В «столицах» ему жить не разрешили, и он уехал в Литву, где писал повести и рассказы и принимал участие в борьбе с националистическими бандами. Закончив повесть о литовской деревне – «Пуща», он привёз её в 1949 году в Ленинград, сдал сокращённый вариант в журнал «Звезда», заключил договор с Лениздатом и собирался ехать обратно в Литву. Но его снова арестовали.

На этот раз ему не предъявляли никаких обвинений, просто отправили этапом в Сибирь, в Красноярский край. Мамин попал в Удерецкий золотопромышленный район. Сначала устроился старательское поселение Мотыгино на берегу Ангары. По дороге туда он встретился с местной ангарской рыбацкой Машей. Больше они не расставались. Вместе валили лес, работали на автозаправке.

После смерти Сталина надзор за ссылкой ослаб, появилась возможность устроиться на более квалифицированную работу,

а главное, появилась надежда на пересмотр дела. Мамин стал работать внештатным корреспондентом в местной районной газете. В 1956 году, получив справку о реабилитации, он попросил Красноярскую писательскую организацию направить в Москву ходатайство о восстановлении его в Союзе писателей (и скоро его восстановили) и стал работать буквально запоем.

Одна за другой в Красноярске выходят его повести. Одна из них, «Полевой цейс» (1966), посвящена балаковским событиям 1918 года, когда город на несколько дней оказался в руках белогвардейцев. Наконец, в 1967 году вышел в свет и роман «Законы совместного плавания». Мамину уже 61, но он полон творческих сил, и, казалось, впереди ещё много публикаций. Однако в 1968 году писатель отправился в экспедицию по Северному морскому пути (о чём мечтал ещё с тех времён, как впервые ступил на палубу корабля) и погиб. О том, как это произошло, вспоминал впоследствии друг юности Мамина – Александр Алексеев-Гай, который всю свою жизнь посвятил флоту:

«Летом 1968 года из Архангельска Северным морским путём готовился очередной перегон судов на сибирские реки через Берингов пролив на Дальний Восток. Я был капитаном одного из судов этой группы, «Печорская», и предложил Николаю отправиться со мной в рейс. Он ответил, что согласен и прилетит на Диксон, где наш караван будет ждать благоприятной ледовой обстановки, чтобы следовать дальше. Западный сектор Арктики был ему знаком: там он уже плавал.

Предстоящий рейс был интересным для нас обоих. Я отдал Мамину каюту второго помощника, чтобы он мог спокойно работать. Николай не был праздным пассажиром и, как всегда, быстро вошёл в судовую семью. Он часто становился на руль, как-то ночь напролёт простоял палубную вахту (на стоянке), дав возможность отоспаться двум матросам после штормовой погоды.

В 20-х числах сентября мы благополучно обогнули мыс Дежнёва.

Из бухты Провидения три речных грузотеплохода последовали вдоль побережья в свой порт Анадырь. Но остальные суда, и нас в том числе, капитан порта задержал. На юг надо было спускаться открытым морем, а приближался сезон осенне-зимних штормов. Николай стал нервничать: ему не хотелось терять время. Он был готов пересечь на любое идущее во Владивосток судно, но тут нам разрешили наконец переход.

Получив благоприятный прогноз погоды, 5 октября наша группа легла курсом на мыс Наварин через Анадырский залив. Но уже на другой день небо затянули тяжёлые тучи, атмосферное давление стало падать, и к ночи разыгрался жестокий шторм.

Пытаясь укрыться под берегом, наша группа по решению начальника экспедиции изменила курс. Однако показания магнитного компаса на сильной качке неустойчивы, а управляемость судна ухудшается. Хотя по характеру зыби мы поняли, что вышли на малые глубины, отвернуть в море не удалось. Послать же людей на бак, отдать якорь было рискованно: их могло унести в клочоктавшую за бортом пучину. В результате «Печорскую» вынесло на галечную отмель, а буксирный теплоход «Восток» наскочил на подводную скалу и получил пробоину.

Во второй половине дня 7 октября из Анадыря прибыл вызванный спасатель – мощный буксир «Диомид». Он встал поодаль от берега на якорь и дал указание эвакуировать всех людей. Мамин категорически отказался покинуть судно: ведь на другой день утром должно было начаться самое интересное – стаскивание «Печорской» с мели. Спасатель продолжал наста-

ивать на эвакуации, утверждая, что идёт глубокий циклон, стаскивать нас завтра утром всё равно не будут, а «Печорскую» может разломать...

8 октября в предутренней мгле показался портовый катер. На нём мерили глубину, но подойти к нам не решились: мелко.

Не знаю почему, но мне не пришло в голову переправиться с людьми на нашей шлюпке на катер. И теперь это лежит у меня бременем на душе. Возможно, все мы подсознательно ориентировались уже на метеостанцию, к которой, высадившись на берег, должны были идти. Приморские станции располагаются обычно недалеко от берега, но их может быть не видно.

Высадка со шлюпки прошла благополучно. У Николая поверх свитера была надета кожаная курточка, в руках он держал портфель с рукописями и свёрнутым костюмом. Мы бодро тронулись в указанном направлении и минут через сорок подошли к реке.

Она впадала в море двумя рукавами, образуя на отмели общий широкий разлив. Временами налетали дождевые шквалы. Ни на этом берегу, ни на противоположном никаких признаков метеостанции видно не было.

– Сказано было перейти речку и следовать по правому берегу, – сказал радист.

Глубина была лишь по колено, но в некоторых местах, на быстрине, вода захлёстывала в сапоги, поэтому мы промокли и сверху, и снизу. Холод сразу же стал ощущаться сильнее. Однако Николай от предложенного ему полушубка отказался: впереди сопка, тяжело будет идти...

За сопкой метеостанции не оказалось. Перекусив холодными консервами, мы побрели дальше. Неожиданно река опять разделилась на два рукава. Вокруг по-прежнему не было видно никаких признаков жилья. Посоветовавшись с товарищами, я решил возвращаться обратно на судно.

Молодёжь ушла вперёд. Я, Коля, радист и старший механик следовали позади. Все уже порядком устали. Когда снова перевалили сопку, начало смеркаться. О том, чтобы искать брод через реку впотьмах, не могло быть и речи. После долгих усилий нам удалось наконец разжечь из наломанных у кустов веток небольшой костерок. Но его скудного тепла едва хватило, чтобы согреть руки. Достав из портфеля костюм, Николай надел пиджак под куртку, а брюки намотал на голову.

– Положение наше безнадежно, – сказал он вдруг. – Давай попрощаемся, пока в сознании...

– Что ты, – отвечаю, – в блокаду Ленинграда положение тоже казалось безнадежным, но я, отбывая в море, ни с кем не прощался.

Ночь тянулась бесконечно. Чтобы скоротать время, мы пытались вспоминать флот, друзей, читали стихи. Наконец стало светать. На том берегу реки начали проступать предметы, и вскоре уже можно было различить, что там – люди. Мы стали кричать, спрашивать, где брод.

Человеческие фигурки скрылись. Очевидно, вчера, когда уже стало смеркаться, мы проскочили то место. Вернувшись, обнаруживаем на берегу брошенный накануне старшим механиком спасательный жилет. Здесь!

Сегодня воды в реке значительно больше, чем вчера – уровень её выше сантиметров на тридцать-сорок. Николай споткнулся и, хотя старший механик тут же его подхватил, успел вымокнуть полностью.

Проламывая молодой ледок, мы выбрались наконец на берег. Теперь спасти нас могла только быстрая ходьба. Но довольно крутой склон весь в осыпях плитняка, и передвигаться тяжело. Мы растянулись цепочкой. Старший механик уходит вперёд, а Коля начинает отставать. Я то и дело останавливался, поджидая его. За поворотом реки открывается скала. Очевидно, при-

бывшая вода затопила прибрежную полосу, по которой мы вчера проходили, и теперь надо либо идти рекой, либо лезть вверх, обходить скалу. Оглянувшись назад, я вижу, что Коля совсем отстал. Возвращаемся с радистом к нему и, взобравшись все вместе на пригорок, пытаемся развести костёр. Но отсыревший плавник не загорается.

Радист ушёл на разведку – может быть, где-то неподалеку всё же есть метеостанция, а мы с Николаем лежим на пригорке. Оттуда видно, что на море опять надвигается шторм. Длинные валы несутся как поезда, и рёв моря становится всё грознее.

– Сашка! Надо идти к судну! – вскакивает вдруг Николай. Глаза его лихорадочно блестят.

– Шторм. Теперь нас не пропустит прибой.

– Не пойдёшь – пойду один!

– Ну, тебя одного я, конечно, не пушу. Пойдём уж оба...

Мы спустились к реке, прошли немного битым плитняком, и у Коли так же резко, как подъём, наступил упадок сил. Он опустился на землю.

– Идём, – уговариваю я его. – Идём, раз уж пошли. Старшему механику шестьдесят пять, а он прошёл...

– Он в тюрьме не сидел.

– Идём. Если не вперёд, так назад, на пригорок. Может, удастся костёр развести. Идём, а не то я тебя ругать стану и даже бить...

– Пойми, это не недостаток мужества, просто сил нет.

Понадеявшись, что метеостанция рядом, мы не стали обременять себя лишним грузом. Чем помочь? Раздеть Николая и начать растирать? А переодеть во что? Даже укрыть нечем. И ни капли спиртного...

Вернулся радист. Вместе с ним мы пытаемся втащить Николая обратно на пригорок. Но сил нет. Тогда, оставив Колю, с трудом поднимаемся на бугор сами и опять пытаемся разжечь костёр. Но спички отсырели тоже, даже бумагу не поджечь.

Радист спускается проведать Мамина. Через четверть часа возвращается:

– Николай Иванович умер.

Никогда не забуду я этот нескончаемый день. Стужу, от которой, казалось, должно было погибнуть всё живое. Чёрные краюхи волн, несущиеся с диким воем на море, и заочневшего внизу, под пригорком, Колю, которому мы оказались бессильны помочь.

Похоронили Мамина в посёлке Беринговском. Медицинское заключение гласило, что смерть наступила от общего переохлаждения организма. Дневник Николая и его последняя, написанная на «Печорской» повесть «Котелок мёду» были доставлены его вдове в Красноярск» (А. Алексеев-Гай. Жизнь и смерть писателя-мариниста, журнал «День и ночь», № 4, 1997 г., Красноярск, с. 146–158).

Кроме того, так и остались неопубликованными повести «Военное море» и «Пуща» (о новой литовской деревне), поэма «Сказание о кронштадтском пушкере Петре и корабельном коте Мартоне», незаконченная поэма «Субмарина его величества», «Баллада о летучем голландце».



**Николай
МАМИН**

ПОЛЕВОЙ «ЦЕЙС»

Дядя Костя привёз его с Юго-Западного фронта: восьмикратный, призматический, с белым клеймом фирмы Карла Цейсса из Йены. Бинобль этот подарил ему в апреле семнадцатого года сдавшийся в плен австрийский обер-лейтенант, худенький человек в очках, виолончелист по мирной профессии. Причём подарил он его со странными и многозначительными словами, напоминающими торжественное напутствие.

– Мир дал великую трещину, и теперь в России творится такое, что и вам, герр лейтенант, весьма полезно иметь зоркие глаза.

Не совсем обычного обера вскоре отправили в тыл, и дядя Костя не успел поговорить с ним поподробнее.

Мне шёл четырнадцатый год, и этот дорогой офицерский бинобль сразу заслонил всё в моей выгоревшей под степным солнцем голове. В свои призмы бинобль запросто показывал чудеса, и казавшийся издали синим и плоским лесок за Сазан-лем приобрел глубину и становился виден отдельно каждым дубком, а ястреб высоко в небе придвигался к самым глазам, и подкрылки у него оказались мелко-пушистые и нежные.

– Да возьми ради Бога. Только не разбирай, – безразлично сказал дядя Костя на мою умильную просьбу отдать «цейс» мне и прикрыл глаза синеватыми веками смертельно усталого человека.

Подпоручик пехотного полка, дядя был отравлен газами под Ней-Шидловецем в апреле пятнадцатого года и дважды ранен, по счастью, сравнительно легко. Он напоминал человека, кроме газов отравившегося ещё чем-то очень горячим и острым, и теперь лишь постепенно отходил.

Жене Ксане, моей старшей тётке, преподавательнице зоологии, он всё-таки по вечерам рассказывал что-то фронтовое, и ещё наутро тётка ходила с одичалыми, страдающими глазами. Дело происходило на даче, под степным тихим городком, и никто из нас, кроме, конечно, дяди Кости, ещё не знал, чем пахнет человеческая кровь и дым разорвавшейся гранаты. Однажды вечером я подслушал его рассказ о том, как пулемётчики, заранее пристреляв рубеж, зимней ночью насыпали вдоль него пустых консервных банок шагах в ста от переднего окопа. На следующую ночь могла быть атака.

– Когда банки забренчали под ногами немцев, расчёты шести станковых машин открыли огонь и били до тех пор, пока не стали светиться надульники и не закипела вода в кожухах... – как всегда, негромко и устало повествовал дядя Костя. – Ветер

бил со стороны немцев и припахивал – знаешь чем? – свежей убоиной и спиртом: немцы шли пьяные, в рост, и наутро вся низинка перед окопами стала зеленовато-серой.

Он молчал так долго, что тётя Ксана неуверенно спросила:

– Почему серой? Ведь зима же, снег...

– Какой снег!.. Одни трупы в шинелях. Как трава за лобогрейкой, – хмуро ответил дядя Костя и опять замолчал надолго.

А через день я, также сквозь неплотно прикрытую дверь, услышал ещё одну фронттовую быль из этого же смертного цикла.

– Шли мы в маскировочных балахонах, «максим» был поставлен на лыжи, чтобы не скрипели колёса, – так же обстоятельно и честно рассказывал Константин Михайлович жене. – Мороз был градусов пятнадцать. Но ты же знаешь, руки у меня не боятся мороза, и для верности я сам лёг за пулемёт. Они подошли вплотную, в ротной колонне, и нас не видели. И пулемёт, как покойник, накрыт белым. Я нажал на затыльники, когда до колонны осталось не больше полусотни шагов. Боже ты мой лютый, что было!..

Дядя долго опять молчал, а потом сказал:

– Омерзительно! Мясничья работа!.. Смотрю на свои руки – и начинаю понимать, как палачи сходят с ума. Да, вот эти самые руки...

Тётка вздохнула и, верно, тихонько поцеловала дядину руку. Она любила целовать его тонкие, необычно красивые запястья.

– Нет, Котенька, палачи с ума не сходят, – всё-таки убеждённо возразила тётка. – Сходят хорошие, чистые люди... когда им так приходится. Но ведь ты же не из... чего-нибудь...

Дядя горько засмеялся.

– Вот именно. Не из садизма и жестокости. Это моё мясничество нужно России. Мы так считали. Тогда.

Он тоже глубоко вздохнул, и они переменили разговор. А я, притаившись за дверью, без особого сожаления представил этих серо-зеленоватых немцев, наваленных рядами, как дрова на лесосеке, и с гордостью увидел не боящиеся ни мороза, ни огня дядины руки, намертво сжавшие рукоятки пулемётного затыльника.

Слово «Россия» тогда и для меня, тринадцатилетнего гимназиста, оправдывало многое.

Однажды дядя проговорился, что больше всего ему хочется поехать в Петроград и заново держать экзамены в политехнический институт имени Петра Великого. С первого курса этого института его в начале войны взяли в школу прапорщиков. И хотя Петроград уже устойчиво голодал и немецкие войска занимали Украину, даже дядя Костя ещё не догадывался, что та полоса войн, в которой всем нам суждено если и не погибнуть, то повзреть и состариться, только началась.

Мы жили тогда на даче купца Вилошникова, за двадцать рублей керенками в месяц сданное тётке догадливым хозяином, чтобы помещение не забрали под детдомовскую здравницу. Дача – трёхкомнатный флигелёк со скворечной-мезонином на крыше – стояла в старом, но хорошо ухоженном фруктовом саду на берегу степной речки Сазанлей, впадающей в речку Линёвку, а оттуда в Волгу.

Сазанлей, широко разливавшийся в половодье и мелевшей к июлю, тёк по самой границе голой степи и приволжской поймы, поросшей курчавым дубняком и талами.

Степь была в многоточьях кротовых кучек, с зыбкими миражами в жаркие дни, с коротким и яростным цветением тюльпанов по вёснам. Мне степь

казалась морем, которое я до этого видел только на картинах. Лет десять спустя я открыл, что в этом детском предвидении была доля правды. Во всяком случае, горизонт равнины был вполне морским.

По утрам дядя Костя любил выходить босиком на росную траву под яблонями, и мы со второй, младшей тёткой Серафимой, прозванной Сорокой и бывшей на пять лет старше меня, понимали без слов, что его сведённые окопным ревматизмом ступни просили ласки не остывающего и за ночь чернозёма.

Всё вокруг было на редкость штатским, абсолютно таким же, как и до войны, и лунными вечерами мы засиживались на маленькой скрипучей веранде, и тётя Ксана, не зажигая лампы, играла на гитаре и низким голосом пела про чёрные очи:

*Как люблю я вас, как боюсь я вас,
Знать, увидел вас я в недобрый час...*

Глаза же у дяди Кости были светло-карие, и, по-моему, он ревновал жену к песне, но только не показывал вида. А уже созревала морель, первая садовая ягода в наших местах, и завязь анисовых яблок покрывалась фиолетовой пылью.

Константин Михайлович, окрепший и загорелый за каких-нибудь две-три недели, словно за целое крымское лето, уже поговаривал о временной работе в чертёжной механического завода братьев Грачиковых, но старшая тётка сразу расстраивалась и приносила ему зеркало, чтобы дядя убедился, что он совсем ещё не в форме. Вот тут-то в нашу, так до дива мирную дачную жизнь, как первое дуновение предгрозя, вошла фамилия уездного военкома Захаркина.

Пётр Филиппович Захаркин, так же, как и дядя Костя, всего два неполных года назад был лишь прапорщиком военного времени и, по слухам, теперь тоже ходил в зелёном френче со споротыми погонами. Но с фронтом он рассчитался раньше дяди и осенью прошлого года уже успел подраться в Саратове с юнкерами, засевшими в городской управе, завалив улицы перед ней брёвнами, бочками и даже ящиками с айвой.

Злые и, вероятно, пристрастные языки у нас в городке говорили, что две снарядные пробоины в стене церкви Михаила Архангела возле управы – дело рук Захаркина, так как его батарея, восставшая против временного правительства, стояла у колокольного завода под Соколовой горой. О том, что на Михаило-Архангельской церкви юнкерами был установлен пулемёт, эти пристрастные свидетели обычно забывали сказать.

Повестку из военкомата принесли утром, и, прочитав её, дядя Костя сказал, разглядывая подпись.

– Он самый. – И, повертев лиловый бланк в руках, усмехнулся: – Как же, однополчанин. Значит, определился в бурном море...

Встревоженная тётя Ксана тут же отобрала у него бумажку и вслух прочла:

– «С получением сего вам надлежит явиться к 10 утра 2 июня сего года в Балашинский уездный военный комиссариат для прохождения регистрации как бывшему офицеру. Увоенком города и уезда П. Захаркин». Опять? – с драматическим ударением на слове спросила тётка и выгнула полукружьями свои чёрные, очень точного рисунка брови.

– Спасибо, не в «чека» к Бычкову... – меланхолически успокоил её дядя.

Бывалый фронтовик, получивший подпоручика накануне февральского переворота, отдохнув на жениных дачных хлебах, он, кажется, опять ничего не боялся.

Вернулся дядя Костя из городка после обеда, ведя за руль тёткин велосипед со спустившей задней шиной, но победно улыбаясь.

– Удивительно, что не посадили, – только и сказала переволновавшаяся Ксения Петровна. – Неужели твой однополчанин и на самом деле оказался...

Дядя Костя был невозмутим.

– При чём тут однополчанин? Как-никак бумага-то от врачебной комиссии фронта, – сказал он строго. – Службе до первого восьмого не подлежу. Ну, а о добровольчестве разговор был особый, большой и даже интересный, но... Словом, мне велено подумать. А я и так второй месяц прикидываю, что с собой бедному прапору делать? Резиновый клей есть?

Пообедав, мы занялись заклеивкой камеры, и мирное дачное житьё наше продолжалось ещё полных двое суток.

А 4 июня в Балашине началось кулацкое восстание против Советской власти, поднятое по сигналу мятежного чехословацкого корпуса военнопленных и недели на три охватившее весь уезд.

Но для меня в те дни и революция, и контрреволюция в наших краях имели лишь строго конкретный образ, и за словами «чехословак», «золотопогонник», «красногвардеец» (чаще просто «красный») стояли определённые, жившие или действовавшие неподалёку от нас люди.

Стрельба в городке началась перед рассветом, и до нашего сада докатилась уменьшенно и совсем не страшно, словно кто-то, нервничая, постукивал пальцем в полуку стенку.

По неотложной нужде выскочив на крыльцо, я всё-таки догадался, что в городе стреляют. А тут ещё чётко застучала какая-то диковинная швейная машинка короткими, перемежающимися паузой очередями – как потом оказалось, это грызлся единственным пулемётом тот самый уездный военком П. Захаркин, с полусотней красногвардейцев отходя к затону, чтобы погрузиться на буксирный пароход и отплыть в Саратов. Восстание уже целую неделю висело в воздухе, и даже на улицах о нём, готовящемся в окрестных сёлах, говорили открыто.

Когда швейная машинка застучала ещё раз, я побежал будить Константина Михайловича. В саду всё так же мирно шелестела листва яблонь и отблеск поблэкшей к рассвету луны матово лежал на побеленных стволах деревьев.

– Дядя Костя, палят! – сказал я громким шёпотом, очень довольный, что проснулся первым.

И как раз в эту минуту на окраине городка вспыхнул протяжный, многоликий крик «ра-а-а», щелчки посыпались гуще, и тут же их перекрыла методичная железная стёжка пулемёта.

Скрипнули пружины матраца – дядя Костя сел на постели и деловитым тоном, словно и не спал за минуту до этого, согласился:

– Ага. «Максим» старается. Иди спать. Тёток разбудишь. К нам не придут. Мы в стороне. Иди.

И опять зазвенели пружины: мой обстрелянный дядька укладывался на своё согретое место рядом с тётей Ксаной.

И так великолепно спокоен и трезв был его голос, что я вдруг устыдился своего мальчишеского беспокойства и на цыпочках ушёл по скрипучей лестнице в мезонин.

А в городе продолжали стрелять, и хриплые голоса людей, издали казавшиеся не громче комариного зума, звучали ещё долго.

Восстание пришло к нам на другой день в образе солнечно-рыжего дорожного техника Паисия Сергеевича, тоже младшего офицера, когда-то и дружка дяди Кости ещё по Саратовской первой гимназии.

Рыжий Паисий прискакал к нам на дачу на игреневом жеребчике из конюшни дорожной дистанции.

– Поздравляю, коллеги! – сказал он торжественно, только спрыгнув с седла.

Бархатный околыш его «технической» фуражки был потёрт, медные молоточки на ней потускнели, но на рукаве поношенной тужурки топорщилась широкая белая лента, и весь он светился молодой и жестокой радостью щенка, с которого только что сняли тяжёлый ошейник.

– С чем? – хмуро спросил дядя Костя, приоткрыв лишь один глаз.

Босой и в расстёгнутой гимнастёрке, он, как бы демонстрируя нейтральность, покачивался в гамаке на веранде с раскрытым томиком ахматовской «Белой стаи» на животе.

Тётя Ксана в полосатом дачном капотике, сидя на скамеечке, выбирала шпилькой косточки из алых картечин только что сорванной морели.

Всё на этой веранде с парусиновыми шторками и лёгоньким поскрипыванием гамака было действительно так несозвучно всему накалу городской «заварухи», что рыжий Паисий опешил.

– Невероятно, но факт. Проспали, – сказал он огорчённо. – С восставлением справедливого порядка, господа! Волга поднимается. Только что получена телеграмма: Волинск восстал.

– Тебе что, мало? Не навоевался? – вдруг пренебрежительно справился Константин Михайлович и полностью открыл прищуренный левый глаз.

Меня тогда поразила насмешка, блеснувшая в его взгляде. Какие могут быть разговоры и смешки, раз Волга поднимается, и даже обычно тихий Паисий Сергеевич нацепил белую ленту?

Но напоминание о запруженной трупами австрийцев и русских далёкой реке, по-видимому, чуть-чуть охладило рыжего, и он лишь сказал с оттенком лёгкой горечи:

– Вот так оно у нас всегда: ораторствуем, спорим до хрипоты, а как до дела коснулось... – Он махнул рукой и взял из ведёрка, предупредительно подвинутого к нему Ксенией Петровной, пригоршню морелек.

Дядя Костя смотрел на белую ленту над локтем Паисия, иронически улыбаясь.

– Говорят, у китайцев цвет траура белый, – наконец сказал он.

И Паисия взорвало:

– Стыдись, Кир! – бросил он страдальчески, но ещё называя Константина Михайловича его гимназической кличкой. – Они насильники и узурпаторы! Ни свободы слова, ни свободы убеждений. А ты – русский офицер...

– Бывший, – невозмутимо вставил дядя.

– И мыслящий человек... в гамаке качаешься...

– А ты хочешь, чтобы я на дереве качался? Кто это – они? – будто не поняв всей очевидности заключения Паисия, так же пренебрежительно справился дядя.

– Он не знает, кто?! Ленины-Свердловы.

– Ах, Ленины-Свердловы! Кстати, я слышал, что Ленин – культурный человек. Экономист, философ. И знаешь, мечтать о крестовом походе на его сторонников мне что-то лень. За что нам-то опять под пули лезть? – уже совсем другим тоном, миролюбивым и усталым, заворчал дядя.

Всё-таки они с этим закусывающим удила Паисием Рыжее Солнышко до сегодняшнего дня дружили лет восемь-десять, не меньше.

Но тут, как батарея, спрятанная на фланге, сверкнула серыми глазищами со своей скамеечки Ксения Петровна.

– Нет, это вы, Липнягов, стыдитесь! Называли себя сторонником эволюции, а призываете к поножовщине. Тоже мне, Пугачёв!..

Рыжий Паисий, четвёртый сын станционного телеграфиста и существо по природе настолько мирное, что никаких политических свобод ему и на дух не требовалось, рассердился вторично и далеко за перила веранды плюнул розовой косточкой. Он явно был в завихрении чьих-то злых и горячих слов.

– А вот это, извините, милая барынька, логика чистейше дамская, – сказал он холодно. – Мы же восстали за попранные демократические свободы, то есть именно за эволюционный путь развития страны, и нас же – в Пугачёвы! Спасибо.

Паисий долго молчал, мрачно поплевал в кулак косточки морели, а потом спросил подавленно:

– Значит, Кир, не пойдёшь записываться?

Дядя опять закрыл глаза, но уголок его рта дёрнулся. Он не любил болванов, как звал всех без исключения людей, не способных сразу понять ход его мыслей. Что ни говори, а характер моего дяди был нелёгкий.

– Куда записываться?

– В кассу взаимопомощи, – желчно бросил Паисий и поправил белую ленту на рукаве.

– Нет, ты хоть объясни толком, как оно теперь у вас зовётся, это самое христоролюбивое воинство.

– Народная армия комитета Учредительного собрания России оно зовётся, – обиженно буркнул Паисий и вдруг сказал деловито и без тени обиды: – Ну и чёрт с тобой! Нам таких дервишей и не надо. Качайся дальше. Только вот что... погоны у тебя целы? Мои Клаша куда-то забросила.

Все они тогда ещё считали, что старая дружба и так называемые идейные расхождения в некоторых случаях могут и сосуществовать. Правда, уже полгода спустя многие из них поняли, что всё это не так легко.

– А это – пожалуйста, – просто сказал дядя.

Он принёс из комнаты зелёный вещевой мешок и начал выгружать из него на стол всякую памятную мелочь. Красный анненский темляк от шашки лёг на связку писем, а пригоршня нагановских патронов застучала по немецкой губной гармонике. Помятые погоны с двумя звёздочками были завернуты в плотную бумагу. Мне показалось, что дядя Костя отдал их Паисию даже с каким-то весёлым облегчением. Словно тяжёлый и бесполезный пост сдал.

– На, подпоручик, носи на здоровье, – сказал он уже без тени насмешки и лишь на секунду запнулся: – Только... не спеши ты со своим вторичным ускоренным выпуском. Что, большевики именье у тебя конфисковали? Думать тоже иной раз полезно...

– А! За нас генерал-лейтенант Будберг подумает. Как начальник штаба армии, – беспечно отмахнулся Паисий, уже примеряя один погон к своему широкому плечу. Погон светился остуженно и тускло, как чешуя уже мёртвого дракона, и Паисий сказал вдруг растроганно:

– Подумать только, что год назад за эти... наплечники запросто прощались с жизнью! Послушай, а фронтовых зелёных у тебя, Кир, не осталось?

– Фронтовых не отдам. Бери, что дают! – твёрдо сказал Константин Михайлович и, не любивший толстокожих людей, замкнулся опять, а Паисий Сергеевич, спрятав свёрток с погонами в карман, стал прощаться.

Но было похоже, что какие-то дядины слова как бы вынули из него, такого жизнерадостного и румяного, некий сразу остывший стержень. И в седло он садился понуро. И долго скакал на одной ноге обок коня, а сытый жеребчик всё норовил куснуть его за коленку, и Паисий бормотал, уже не стесняясь присутствия дамы:

– Балуй, балуй, чёртов скот!

Когда Паисий уехал, дядя Костя ещё долго стоял у перил веранды и прислушивался к топоту его коня, словно по нему стараясь что-то определить, а потом сказал задумчиво и чутьчку недоумённо прижавшейся к его плечу тёте Ксане:

– Ведь был человек как человек. И где только он таких репёв набрался? Эх, ускоренный выпуск, помесь кого с кем – уж и не знаю!..

– Это Меньков всё, – убеждённо и печально сказала тётка. – Страшная фигура. Вот кому палачом-то быть. Этот с ума не сойдёт!..

А я, так и не поняв толком, о чём говорят взрослые, бегом поднялся в свою квартиру под нестерпимо накалившейся крышей и, сняв со стены над кроватью дядин «цейс», уже наполовину ставший моим, ещё долго смотрел в спину скачущему Паисию Липнягову. Знающий сапёр, в седле он сидел неумело, и локти у него взлетали совсем не по-офицерски. Но гнал он тем самым аллюром, который на пакетах со срочным донесением помечается тремя крестами. Мы, мальчишки Первой мировой войны, уже знали о таких головоломных крестах. Паисий, всё выше прыгая в седле и на глазах уменьшаясь, продолжал лупить своего конька гибким ивовым прутом. Офицеры ускоренного выпуска в эти летние дни второго года революции – они уже не могли не спешить. Когда Паисия заволокло такой же рыжей, как и он сам, пылью, я заскучал и сбежал вниз.

Тётя с дядей всё ещё стояли на краю веранды, так и не расцепляя ладоней, и Константин Михайлович свободной рукой, как маленькую, гладил жену по тёмным волосам, а Ксения Петровна закрыла глаза и жалобно улыбалась, верно, уже предчувствуя близкую разлуку. За их спинами продолжала чистить морель молчаливая Серафима, и её толстая коса двигалась между худенькими лопатками, как пушистое живое и сердитое существо. Младшая тётка зашипела на меня, словно клушка, раскинув крыльями обе руки над наполовину опустошённым эмалированным ведёрком. Но я, обманув её защитные манёвры, зацепил горсть уже обработанных шпилькой ягод из второго ведёрка и сразу вклинился между дядей и старшей тёткой. Ах, как я любил тогда этих милых молодожёнов, повенчанных летом шестнадцатого года, в одну из последних побывок дяди между фронтом и госпиталем, и только сейчас начинающих жить вместе. Молодые и добрые, они вполне заменяли мне и оставшихся в Саратове родителей, и всех товарищей по играм и учёню. Даже переэкзаменовка по арифметике, перенесённая на осень, возле них совсем не казалась страшной, потому что дядя Костя, ещё на первом курсе съевший зубы на домашнем репетировании, за один вечер мог втолковать о дробях больше, чем наш математик за всю неделю.

Было в этой милой и влюблённой паре нечто такое, что в те суровые и тревожные дни неудержимо, как птицу в лесную тень, влекло к ним мальчишеское сердце. Может быть, и то, что по молодости оба они были совершенно прозрачны и так откровенно счастливы тем, что наконец всё время вместе.

– Помолчи, – шепнула старшая тётка, пустив меня в тёплый промежуток между собой и мужем.

Константин Михайлович, не прерывая рассказа, только провёл большим пальцем по моей стриженной голове.

– Ну, проволока в четыре ряда, а внизу волчьи ямы с кольями на дне, и колья торчат из воды. Река-то вот, ста шагов не будет. Ну, ряд за рядом окопы полного профиля и блиндажи в три наката, а между ними вёрсты ходов сообщения. Словом, глубоко эшелонированный узел обороны. Без полусуточной артподготовки не суйся. А через реку – австрийцы. И всё так же – ямы, проволока, блиндажи. Тупик. Кризис позиционной войны. Армии зарылись в землю. И вокруг на сотни вёрст всё загажено, и нутро воротит от трупной вони. И вовсе не река между нами течёт, а какая-то ржавая сукровица. Трупы плывут. Дышать нечем. Значит, на правом фланге, вверх по реке, бой. По трупам видно, кто кому ломает оборону. И хлеб, и руки, и шинель – всё пропахло гненом, кладбищем. Вот так и гнили мы заживо в могилах под тремя накатами дубовых брёвен. А я закрою глаза – и вот его вижу. – Дядя ласково усмехнулся и кивнул в сторону сверкающего за деревьями Сазанлея, который ещё не успел по-летнему обмелеть. – Кузнечиков слышу, шершней, степь! Или Линёвку, а над ней талы шумят. Вот с Волгой ничего не получалось. Не мог её представить. Простору, что ли, перед глазами мало было. А может, смрад мешал. И вот они рядом: Сазанлей, Линёвка, сама матушка – синяя, в белых барашках. А фронт опять рядом. Завтра на Сазанлее окопы рыть будут, прямо тут, под яблонями, передний край пройдёт.

Дядя замолчал, машинально глядя тёткину голову. Дула низовка, от самого Каспия шёл горячий ветер. В степи за речкой на пыльной дороге вставляли закручивающиеся воронки смерчей, из тех, в которые если бросить нож, то он упадёт на землю в крови. Есть такое старушечье поверье. Но, странное дело, я видел окрест над Сазанлеем глазами дяди Кости: колючая проволока в четыре ряда, горбатые, прищурившиеся блиндажи, братские могилы траншей. Всё как в натуре, на учебном полигоне под Волынском. Ох, как цепка детская память!

Почему-то было не по себе. Вероятно, оттого, что фронт, проклятый, отравный, в трупном смраде и ржавчине политой кровью земли, всё-таки настиг дядю Костю и в наших самарских степях, так и не дав ему до конца долечить и ноги, и душу росной травой под яблонями.

Я жался к тётке и дяде и был готов зареветь от жалости и любви к ним, самым дорогим и близким мне людям на свете. И что только всем от них надо? Вон, то Захаркин повестки шлёт, то заполошный Паисий в белые смаливает. Как же жить дальше?

И, главное, хорошего леса вблизи нет, чтобы уйти в дезертиры. Вырыл бы землянку и жил, как сурок, пока отвоюют. А я бы таскал ему раз в неделю янтарём просвечивающую на солнце воблу, свежую картошку, пшено и зелёный лук. А то зайчишку застрелить можно. Положим, зайцев летом стрелять нельзя. Даже дезертирам.

– Стой! А если к киргизам уйти кочевать? – от чистого сердца ищу я выход, и дядя, поняв всё, смеётся и треплет меня по стриженной голове. Потом говорит сурово и печально, как равному:

– От таких дел, Димка, не уходят. Ещё дороги не придуманы.

– Нет, всё-таки рассказчик ты лучше, чем педагог. Ну что ты ему говоришь? – умеренно возмущается моя педагогичка-тётка и просительно гладит дядину руку.

Я знаю, ей очень хочется слушать о том, как он жил без неё на оплётённой колючей проволокой и протухшей от трупов западной речке, знать решительно всё, изо дня в день. Негромкий и даже сейчас чуть-чуть иронический дядин голос опять потёк в мирном шелесте яблонь.

– Ну, какой я рассказчик! Вот ты бы капитана Басыгина послушала... Так о чём, бишь, мы? Значит, какие песни пели? Да никакие. Когда уж всё осточертеет, заведёт под вечер иной раз какой-нибудь бородач из ополченцев «Трансвааль, Трансвааль, страна моя, горишь ты вся в огне». А каждому ясно, никакая это не Трансвааль стучит в душу, а самая что ни на есть Тамбовщина, Курщина, Рязань да Самара, тоже вот-вот готовые вспыхнуть своим огнём. Почему-то революцию мы там ещё за год, как ревматики непогоду, предчувствовали. Вероятно, от нелепости положения на фронте. Да и как цензура ни марала, а письма шли. Ну и... – дядя вдруг оборвал себя и сказал уже сдержанно и зло, словно мостик перекинул из нашего сегодня в тот дымный и пахнувший кладбищем край, где вились его мысли: – Ха, справедливый порядок. А что мы о нём толком знаем? Был царизм – то есть дворцовый кабак с Распутиными, с Вырубовыми... потом кабак всероссийский присяжного поверенного, этого, как его?..

– Керенского, Котя, – укоризненно подсказала тётка, которая, конечно, знала, что фамилию своего знаменитого земляка дядя всерьёз забыть не мог. Он не любил болванов и крикунов.

– Чёрт с ним! Речь о нас. Вчерашних прапорах. Мы командовать научились, ну, пусть по нужде, батальоном. Мы – автоматическое оружие, пока ещё смазанное и готовое к бою.

Дядя так глубоко вздохнул, что мне стало тесно между ним и тёткой. Потом сказал сердито:

– Но в чьих руках мы будем, нам тоже не безразлично, и своё новое начальство нам знать надо назубок, а не так, тят-ляп – записывайся, пусть барон Будберг за всех думает.

– А знаешь, Котенька, – так же неожиданно отозвалась тётка, как видно, прекрасно разбирающаяся во всех лабиринтах смятенных мыслей мужа. – И я ведь никогда не думала, что Захаркин может оказаться таким гуманистом.

У дяди Кости только чуть покривило щёку тиком от давней контузии.

– Захаркин?! Тот не с кондачка свой путь выбрал. Но его попёрли. Только, я помню, у него в батарее порядок был. И солдат на бруствер не ставили. А так тоже вчерашний прапор. Курица – не птица, как все мы, ускоренного выпуска. А тут надо «чистое дело, марш», как капитан Басыгин говорил.

– Как-как?

– Ну, такое чистое, что за него на смерть идти стоит. Вот была Россия, мы шли... Эх, Трансвааль, Трансвааль, страна моя... Задумаешься: кровь-то ведь русская льётся. Не венгерских гусар. А где оно записано, такое право – русским лить русскую кровь?

Они говорили ещё долго, и не совсем всё было для меня понятно, а я стоял между ними, обняв их обоих за бёдра, и слушал, и тёрся головой то о тёткин, то о дядин локоть.

Наше дружное трио порушила Серафима, дёрнув меня за начинающую отрастать косичку в ложбинке на худенькой шее и насмешливо сказав:

– Давайте, господа лекторы, обедать, а то от вашей философии под ложечкой сосать начинает. А потом я в город на велосипеде съезжу. Как ты, Ксана, думаешь, можно?

Старшая тётка ответила возмущённо:

– С ума сошла! Слышишь, Котя, она в город съедит?!

Я тут же прихлопнул лёгкую Серафимину руку у себя на шее, и горьковатое очарование беседы взрослых сразу растаяло. На веранде стало по-обычному ералашно и шумно.

Купец Вилошников пожаловал к нам под вечер второго дня восстания. Он приехал в плетёном тарантасе на кованом железном ходу и, прежде чем войти в дом, долго привязывал коня к штакетнику, а поднявшись на веранду, так же долго искал глазами по всем её углам хоть маленькую иконку, но, так и не найдя, неодобрительно прикашлянул и мелко перекрестился на восток.

– Лик Христов или Его святой Мати, а на худой конец – хотя бы кого-либо из чудотворцев и божьих угодников в доме надобно держать. Желаю здравствовать, господа, – сказал он постным тоном и перешёл к цели визита: – А прибыл я к вам вот по какому делу: договор нам надо перетаксировать.

Тут он подошёл к перилам веранды и так же неодобрительно и значимо поковырял худым пальцем вырезанный мною перочинным ножом на перилах вензель.

Дядя Костя, буркнув что-то вроде: «А, это вы...» – молча смотрел на владельца дачи из гамака.

Старшая тётка покраснела и сказала умоляюще:

– Котенька, это хозяин дачи.

– Вижу, – невозмутимо отсёк всякие контакты Константин Михайлович и только тогда поднялся со своего висячего ложа. – Так чем обязаны?

Купец был невысок ростом, почти плюгав, и дядя смотрел на него сверху вниз.

– А вот тем и обязаны, что живёте вы на моей даче-с, господин Трубников, – сказал он внушительно и как бы вскользь чиркнул взглядом по лямочкам от снятых погон на дядиных плечах. – А плата мне от вас идёт только новой формы ради.

– Но вы же сами... – укоризненно сказала тётка.

И купец успокоительно поднял руку.

– Сам, сам, милая барынька. Но формочку-то люди добрые опять старую надели.

– И вы прибыли сообщить нам эту новость? Я вас так понял? – иронически-вежливо справился Константин Михайлович.

– Именно так-с. И прибыл я заново оговорить вопрос об арендной плате в соответствии с изменившейся обстановкой, – вполне серьёзно отпарировал Вилошников.

Дядя уже знал о купеческих комбинациях в защиту своей недвижимости от посягательств уездного наробраза. Но из города уже с утра торжественно и низко наплывал почти пасхальный перезвон всех четырёх колоколен. Наробраз, как и все прочие «нары», был свергнут.

– Сколько? – спросил дядя небрежным тоном бывалого кутилы, которому подали ресторанный счёт, и достал из грудного кармана тощий бумажник.

Этот офицерский форс в общем-то нищего подпоручика и восхитил меня своей совсем не нынешней широтой и одновременно поразил какой-то ещё неясной мне до конца фальшью.

– То есть сколько теперь будет стоить дачка? Да полагал бы, что десять красненьких в месяц много не будет, – опять уже мирно сообщил Вилошников и показал дяде две растопыренные пятерни.

– Ксаночка, ножницы, – строго попросил дядя и достал из бумажника лист неразрезанных керенок, красным цветом и формой похожих на бутылочные наклейки.

Со стороны это лицедейство больше напоминало какую-то условную игру взрослых детей, чем деловую сделку, потому что некоронованные, но ещё двуглавые керенские орлы катастрофически падали в цене ежедневно. Кринка молока на базаре уже стоила десять-двенадцать рублей.

Дядя Костя ровно отрезал пять двадцаток и протянул их купцу.

– Как говорится, «в соответствии с изменившейся обстановкой». За месяц вперёд достаточно? – спросил он, подчеркнув слово «месяц», и вдруг весело и чуть-чуть глумливо усмехнулся: – Или вы рассчитываете на более длительные сроки этих изменений?

– За месяц и восемнадцать дней. Сороковку они-с уплатили ещё по старой таксе и прожили лишь один месяц и двенадцать дён, – всё так же, до смешного даже мне, мальчишке, пунктуально подсчитал купец и, не касаясь каверзного вопроса о прочности новой власти, принял керенских «птичек» на ладонь.

– Итак, мы в расчёте до пятого июля? И больше как квартиросдатчик вы к нам никаких претензий не имеете? – уже без улыбки, но всё так же иронически-вежливо спросил дядя, опять укладываясь в свой верёвочный кокон.

И купец Вилошников вдруг сказал искренно и сокрушённо:

– Эх, господин поручик, господин поручик! (Человек достаточно опытный, он, несомненно, знал и о правилах армейской вежливости, трактующих в частной беседе опускать все неблагозвучные приставки к чинам поручика, капитана, ротмистра и полковника.) Вот вы без смеха над стариком смеётесь: скупердяй, мол, купчишка, выжига, а он, купчишка сей, на общее дело двенадцать мешков-с пожертвовал. Ваши же солдатики кушать безвозмездно будут. Но принцип в денежном расчёте – важнее всего, и он на курсе дня жиждется. Так оно от века идёт: собираем по алтыну, отдаём по гривне.

– К сожалению, у меня нет сейчас солдат, – всё с тем же полускрытым вторым значением суховато отрёкся от своих офицерских привилегий дядя Костя и опять раскрыл «Белую стаю». – Нахожусь на излечении от ран и контузий и ни в какие военные игры временно не играю. Ну и... честь имею.

Когда купчина полез в свой плетённый тарантасик, я опять побежал в мезонин и наспех взял в цейсовский фокус его сухой, тощий, совсем не купеческий затылок под синим суконным картузом, налезавшим на уши. Мутный венчик седых волос, выбивающихся из-под околыша охотнорядского картуза, казался жиденьким и жалким. Купец был уже очень немолод, и охота ему была в эту жару трястись за пять пыльных вёрст из-за четырёх лишних керенок, на которые завтра всё равно уже ничего не купишь! Нет, уж лучше попросту удить косырей и плотву на Линёвке или ставить вентера на Сазанлее. Всё-таки доходнее.

Я совсем не завидовал купцу Вилошникову. Вот он снял картуз и большим трёхцветным платком отёр лысину. Она светилась мёртво и жёлто, как старый бильярдный шар, прыгающее движение которого в тряском тарантасе, казалось, было predetermined чьей-то совсем посторонней, недоброй и обременительной купцу волей.

И зачем только люди придумали деньги, да ещё такую их нелепую разновидность, как бумажные рубли, трёшницы и уже совсем абсурдные – керенские двадцатки? Не лучше ли было бы рассчитывать сурочьими и кротовыми шкурками, битой птицей, связками вяленой рыбы, порохом, дробью и даже серой крупной солью, которую киргизы привозят на скрипучих и длинных арбах из-под самого Эльтона и Баскунчака!

Ну сравнимо ли всё это нужное, деловитое богатство с потрёпанной бумажкой, будто бы обеспеченной достоянием уже отменённой Российской империи?

Спустившись на веранду, я застал одну из редких размолвок в семье дяди Кости и тёти Ксаны.

Константин Михайлович отмалчивался, уткнув глаза в одну из тех неинтересных книг с таблицами цифр и чертежами на каждом листе, которые он читал вперемежку со стихами. Гамак под ним тонко и зло поскрипывал. А тётя Ксана с блестящими от слёз глазами укоряла мужа в чём-то совсем несуразном, чуть ли не в преднамеренном самоубийстве. Серафима стояла с ней рядом, привалась худеньким плечом к столбику веранды, и невозмутимо наматывала на палец кончик толстой косы.

По её негодующим большим серым глазам было ясно, что она в этой семейной расправе целиком на стороне старшей сестры.

– Ты эгоист, фрондёр и, прости меня, мальчишка! Ты... вечный юнкер, а не фронтовой офицер, за которого себя выдаёшь! – причитала старшая тётка, и её расширившиеся зрачки стали никак не меньше круглых пуговиц на самых высоких «румынках».

– Уж если вечный, так гимназист, что ли, или вольнопер – так хоть будет правдоподобнее... – едко отшучивался дядя Костя и делал ногтем какие-то пометки на пожелтевших полях книги, а Ксана распалась всё больше.

– Молчи, Константин. Это просто чистейшее идиотство, армейский кретинизм! Зачем тебе было дразнить купчишку? Вот он донесёт о твоих намёках в контрразведку, и тебе покажут врачебную комиссию фронта!

– Эк! Что они мне сделают?

– Повесят как дезертира!

На минуту дядя стал задумчиво-серьёзен и сказал знающе, пыхнув клубом синего дыма, как выстрелил:

– Вешают шпионов. Дезертиров расстреливают. Жене армейского подпоручика это не мешает знать в наше время. А до контрразведки ровно двести двадцать четыре версты. Она в Самаре. Здесь эти господа, да и сам пристав Широков, пожалуй, не успеют ею обзавестись. Здесь у них ещё каменный век, и... вскипяти, пожалуйста, кофе. Оно успокаивает. – Дядя пыхнул ещё одним синим клубом и вдруг сказал так зло, что тётка сразу замолкла: – Проклятый толстосум! Ничему не научился. Да за двенадцать мешков можно оклеить керенками всю дачу. Десять дач! Сто! И чтобы мне да за его доходы идти людей убивать?! Отставить такой камуфляж!

Он упруго, как из седла, выпрыгнул из гамачной сетки и, словно сразу разрядясь от пароксизма своей нервической ярости, сказал вполголоса и совсем мирно:

– Димка, пошли на Сазанлей, вентеря посмотрим. Ох, лещи сегодня пле-скались!

Жили мы в то лето, если брать довоенные дачные нормы, достаточно скудно.

А дядин полевой «цейс» продолжал показывать мне из окна мезонина свои маленькие оптические чудеса.

Они ехали верхами, вдвоём, и у одного было загорелое каменное лицо драматического злодея. Я различил ещё за версту, всё-таки хитроумная опти-

ка Карла Цейсса из Йены давала восьмикратное увеличение. Зато во втором я так же без труда узнал Петра Уварова, саратовского реалиста, сына известного у нас в губернии присяжного поверенного. Он с весны гостил в Балашине у замужней сестры. На рукавах у обоих были широкие белые повязки, как у Паисия Липнягова.

Туполицый и загорелый солдат держал поперёк седла короткой кавалерийский карабин, а Уваров сначала показался мне безоружным, но, присмотревшись, я различил на его поясе спереди тупоносую кобуру полицейского «бульдога».

Мы, мальчишки времён Вердена и Перемышля, боёв во Фландрии и под Варшавой, знали тогда все марки и типы огнестрельного оружия едва ли не лучше любого унтер-офицера срочной службы.

Понуро опустив головы, не вздёрнутые поводьями, свободно брошенными на луки высоких сёдел, несли своих седоков к нашей даче две лошади – низкорослый, лохмоногий и горбоносый «калмык» и огромный, устрашающей худобы конище, верно, из армейских выбраковок. И на них, лениво переговариваясь, ехала шагом сама вооружённая заволжская контрреволюция. Поначалу это показалось мне даже смешным – Петя Уваров, читавший с эстрады на школьных вечерах Мережковского и Бальмонта и даривший гимназисткам в саду Сервье и саратовских «Липках» букеты ландышей и фиалок, и вдруг – учредилонец, белый доброволец, заволжский шуан¹. Было это тем более забавно, что форменные брюки великовозрастного реалиста вздёрнулись на коленях, и над цветными носками были видны белые кальсоны.

«И конь ни дать ни взять Росинант», – насмешливо подумал я и, дождавсь, когда всадники, пригибаясь, проедут в калитку, спустился вниз. На веранде, сидя в гамаке, читали вместе одну книгу дядя с тёткой и, напевая «Бал Господень», что-то кроила на столе Серафима. Пёс Хам, добродушный и мирный пойнтер, развалясь в тени, с костяным стуком колотил хвостом по полу возле её стройных и загорелых ног.

Но вот Хам, верно, услышав конский топот, вскочил, напрягся и оглушительно звонко залаял, бросаясь к стеклянной двери. Серафима прикрикнула на него, но бедняга совсем одичал в нашем тихом малолюдьи и уже крутился у ног лошадей, подпрыгивая и норовя куснуть их за добрые отвислые губы.

Загорелый кавалерист, как-то необычно ловко пригнувшись с седла, ткнул пса стволом карабина в пах, и Хам, завизжав, кинулся под крыльцо – вообще-то он был трусоват, но задирист и по молодости глуп.

Уваров, виновато улыбнувшись, сказал укоризненно своему суровому спутнику:

– Нашёл с кем связаться. Это ж пойнтер – некусачая порода.

– Петя, какими судьбами?! – вдруг, разряжая атмосферу готового вспыхнуть конфликта, раздался обрадованный голос Серафимы.

И я увидел, как смутилась, захлопывая книгу, Ксана Петровна, видимо, шокированная весёлой невоспитанностью сестры. Ну разве же можно было девушке первой обращаться так экзальтированно к незнакомому, а если и знакомому одной ей, то не представленному всему обществу молодому человеку?

«Хоть бы офицер был, а то... Уваров», – подумал я, разочарованно разглядывая «жёлтую яичницу», как звали у нас в Первой министерской всех без исключения воспитанников реальных училищ.

¹ Шуаны – участники крупномасштабного и длительного роялистского восстания против Великой Французской революции в провинции Бретань, на западе Франции, известного как шуанерия.

А Серафима и Уваров уже стояли рядом, и я совсем не узнавал нашей всегда уравновешенной, молчаливой и даже чуточку флегматичной, на первый взгляд, Сороки, такое испуганно-сияющее было у неё лицо. Как же, «жёлтая яичница» в гости пожаловала. Подумаешь, кавалер! Лично меня больше всего занимали привязанные к штакетнику лошади, и я уже был готов извлечь для себя все выгоды из тёткиного знакомства.

Ведь даже второй всадник, с лицом воинственного истукана, смотрел на мою младшую тётку с восхищённой улыбкой – и то сказать, девушка была очень хороша, даже я, шпингалет, догадывался, что таких ресниц, мохнатых, стрельчатых и загнутых кверху, и такой тяжёлой косы цвета спелого каштана не было ни у кого из девчонок во всём квартале между Московской и Часовенной.

А Серафима и Петька Уваров продолжали какой-то давно начатый, видно, сразу увлékший их разговор, и я не знал, как теперь свести его на коней и сёдла.

– Ну вот, я доказал! – взволнованно говорил Уваров, стоя перед Сорокой особенно прямо и почтительно, руки по швам, и мне уж было ясно, что эта строгая стойка перенята им у кого-то из знакомых офицеров. – Доказал, Симочка! Не спорьте. Себе? Вам? Ещё не знаю. Помните, у Блока: «И я сказал: «Смотри, царевна, – ты будешь плакать обо мне...»? Помните?

Тон его был совсем не предназначен для свидетелей, но Серафима, раскрасневшаяся, счастливая, с головой выдающая себя, не возражала – она, несомненно, помнила всё.

– Это было чертовски интересно! Мы не ели два дня, лежали в степи и поднялись по белой ракете. Понимаете, белой, видной даже днём. У нас был замечательный ротный, из кадровых, с двумя «Георгиями...»

– Петя, Петя, вы всегда были непрактичным и увлекающимся. Помните, под Новый год? А ваше купанье в проруби? Но это же страшно опасно и глупо: вас убьют – и я действительно... буду плакать, – ласково, но уже тревожно пела Серафима, а Уваров смотрел на неё, преданно и счастливо улыбаясь.

Я же мотал всё на свой условный ус – так вот где она, эта сероглазая тихоня, была под Новый год!.. Боже, когда же мне будет хоть семнадцать? Но лошади, лошади! Неужели я так и не покатаюсь сегодня в высоком казачьем седле?

– Я ведь никогда не думал, что война – это так интересно!.. – восторженно говорил ещё недалеко ушедший от меня реалистик Петя Уваров. – Ка-ак мы ворвались в городишко, как наш ротный!..

– Позвольте, юноша, это война-то интересно? Где вы это вычитали? В каких книгах? И где вы видели войну? Под Балашином? – насмешливо спросил вдруг с веранды дядя Костя, и его иронический голос сразу стёр улыбку с лица Уварова и поставил его на место.

Даже каменлицый солдат глянул на дядю с суровым одобрением.

– Какой там антирес? Просто нужды крайней нет. Ну, приказ: комиссаров сничтожать надо. Продали Расею, – словно бы поддерживая дядю Костю, буркнул он и вдруг чётко закинул карабин за плечи. – Ты вот что, Уваров, раз уж у тебя здесь знакомство, осмотри сад. А я спущусь к реке. Да только зря мы время ведём. Он нас ждать не станет. Поди, на Дымную пристань подался.

– Так вы кого, господу, ищите? – деловито справился дядя Костя.

И спутник Уварова неохотно сказал:

– Да тут один захаркинский холуй шалается. Только зря мы, говорю, коней гоняем. Не дурнее нас он, Захаркин. Кого ни попадя не пошлёт.

Уваров нетерпеливо и, как мне показалось, обрадованно кивнул:

– Хорошо, хорошо. Я осматриваю сад. Симочка, вы составите мне компанию? В качестве проводника...

Но тут, в конце концов, возмутилась Ксана и, всплеснув голыми по самые плечи руками, прикрикнула на бесстрашного разведчика со своим всегдашним педагогическим апломбом бывалой классной дамы:

– Где вы только воспитывались, молодой человек? Приглашать девушку на такую рискованную прогулку! Серафима, не смей!

– Да какой же это риск, Ксаночка? В саду определённо же никого нет. А нам надо... доспорить. У нас давние разногласия... – лукаво засмеялась было Серафима, но тут же покраснела до самых ключиц. – Мы же очень старые знакомые.

И опять решающее слово оказалось за дядей Костей, единственным нашим мужчиной, знающим войну не по обзорам полковника Шуйского в «Ниве».

– Оп-перетта. Кор-де-балет, – сказал он презрительно и через перила потянулся рукой к ученическому поясу Уварова. – Ну-ка, юноша, покажите вашу пушку. Не бойтесь, я к захаркиным лазутчикам отношения не имею.

Уваров доверчиво вынул свой «бульдог» из кобуры и на ладони показал его дяде. Из барабана торчали тусклые свинцовые носики четырёх патронов, пятое гнездо было пустым. Дядя сказал всё с тем же весёлым презрением:

– Кинематографическое оружие. Такая война действительно интересна... до встречи с противником. По-моему, бесстрашный воин, вас надо поставить носом в угол, а может быть, даже и... – Дядя слегка похлопал себя сзади по пузырю офицерского галифе, но заключил уже серьёзно: – Вам известно, что эта... бутафория за десять шагов не пробивает и трухлявой доски в дюйм толщиной? Неизвестно? Тогда получите назад деньги с вашего 2-го реального.

Но Уваров, не обижаясь на эти едкие слова, опустил свой кургузый револьвер в потёртый кожаный чехол, сразу оттянувший ему ремень с медной пряжкой, на которой были видны тиснённые буквы «С2РУ».

– Но я же совсем не намерен во что бы то ни стало убивать людей, – ясными глазами глядя на Константина Михайловича, сказал он. – Я считаю, что в этой смуте мы, то есть интеллигентная молодёжь, должны перенести всё со своим народом и прикрыть его грудью. Вот так.

Дядя вдруг болезненно поморщился, как от очень фальшивой ноты в оркестре, который он до сих пор всё-таки ещё слушал.

– Это, простите, из какой партийной программы? Социалистов-революционеров господина Чернова?

Уваров пожал плечами.

– Не знаю. Но так мне подсказывает совесть.

Дядя с шумом вздохнул.

– И тут совесть. И кроме всего, узкая у вас грудь, юноша. Вы уверены, что народ в ней нуждается? Он уж как-нибудь сам. И... забросьте вы его поскорее в Волгу, этот «монте-кристо». Ох, и даст же вам жару Пётр Захаркин! – вдруг добродушно и даже весело определил дядя Костя и успокаивающе кивнул жене: – Не бойся, друг мой. Это же чистойшей воды оперетта. Да пусть они походят по саду. Вон ещё Димку пусть возьмут. Он тоже любит в казаки-разбойники играть. Любишь, Димка?

Нет, больше всего на свете я любил моего бывалого фронтовика – дядю, и сквозь все его насмешки чувствовал какую-то горькую и большую правду его совсем невесёлых слов. Но я, конечно, не сказал. Что же это за любовь, о которой можно говорить на всех перекрёстках?

Дядя же так добродушно посмеивался, что Ксения Петровна вдруг успокоилась, и мы втроем пошли в сад.

Но меня всё ещё продолжала занимать лошадь Уварова, и не так сама лошадь, как высокое казацкое седло, в котором я ещё за свой короткий век и раза не сживал. Я всё время пытался свести разговор на лошадей и сёдла, а Уваров и тётка от меня отмахивались и были похожи на лунатиков.

Так мы и шли в ряд между побелёнными стволами яблонь, за которыми не могла спрятаться даже кошка, и яблони просматривались до самого забора над Сазанлеем. Конечно, никаких захаркинских разведчиков между ними быть не могло.

И о чём же они говорили, взрослые восемнадцатилетние люди?! Мне тогда их путанный разговор показался просто бредовым.

– «В белом венчике из роз впереди – Иисус Христос», – напевно скандировал Уваров, и его синие глаза смотрели на белые стволы вокруг вдохновенно и незряче. – Знаете, Симочка, весь Петроград с ума сходит от этой новой поэмы Блока, а я только сейчас понял, что она ни о какой не о солдатне из красных, а о нас, о белой гвардии. «Винтовок чёрные ремни, кругом огни, огни, огни...» Когда мы лежали в степи и горели десятки костров..

Всё-таки я фыркнул, лишь с опозданием сопоставив слово «гвардия» (значит, богатырский рост, гусарский ментик или драгунский кивер, шпоры, палаш на ролике) и.. уваровские вылезавшие из цветных носков кальсоны. Сравнить только! Но жонглёрская переброска непонятными и яркими словами между моими спутниками продолжалась.

– Уваров, Уваров, это же лубок, тут же совсем нет блоковских интонаций! – на секунду строжая, морщилась Серафима, а через минуту Уваров, прямо из Блока возвратясь на нашу грешную дачную землю, уже заинтересованно и деловито спрашивал:

– А кто этот мрачноглазый? Ведь он же офицер? Это же видно сразу. А эта строгая дама и есть...

Серафима, сразу став проще и понятнее мне, теперь тоже не говорила загадками:

– Дама – моя сестра. Неужели вы не заметили сходства? А это её муж. Офицер, подпоручик. Он отпущен по ранению.

На румяном и доверчивом лице Уварова появилось выражение деловитого интереса.

– Офицер? Пехотинец, кавалерист?

– Право, не знаю. Кажется, пулемётчик.

Уваров сразу остановился и растерянно взял тётку за руку.

– Да что вы говорите? Обязательно надо доложить Менькову. У нас же совсем нет пулемётчиков.

«Да у вас, поди, и пулемётов-то нет, вояки из оперетты», – вдруг почему-то злорадно подумалось мне, хотя всего четверть часа назад я жгуче завидовал Уварову, вооружённому револьвером и верхоконному. Но уж очень едко и со знанием дела высмеял дядя Костя его полицейский «бульдог», который только и стоит выбросить в Волгу.

Однако тут женский практицизм восемнадцатилетней свояченицы оказал дяде Косте, предпочитавшему гамак всем мобилизациям, неоценимую услугу – только я-то понял это много позже.

– Не смейте делать глупостей, Петя! – возмущённо прикрикнула моя младшая тётка. – Ни слова Менькову! Константин Михайлович тяжело болен. У него нервное потрясение и... галлюцинации. Кроме того, он отравлен газами. Слышите? Иначе я порву с вами дружбу!

– Ну, за вашу дружбу я готов на всё. Молчу. Подумаешь, Меньков, – прочувствованно сказал Уваров и, совсем как Валентин в «Фаусте», прижал руку к сердцу.

Дальше они опять стали самими собой, то есть гимназисткой и реалистиком, почти детьми, лишь играющими то в войну, то в возвышенные чувства.

– Но в кинематограф мы сегодня обязательно пойдём? – вдруг совсем по-заговорщицки спросил Уваров и попутно поддержал Серафиму за локоть: поперёк дорожки лежал поливочный жёлоб от конного чигиря. – Ведь Вера Холодная сегодня и Мозжухин.

– Ой, Мозжухин? Идём, конечно! – сразу воспламенилась Серафима и так же сразу погасла: – Но меня же одну не пустят.

– Со мной пустят, – солидно вступился я, тоже кровно заинтригованный хонжонковской «Золотой серией», в картинах которой сама Вера Холодная снималась самым крупным планом. – И вообще, мы отпросимся ночевать к деду.

Уваров покровительственно и благодарно потрепал меня по плечу, и я понял, что место в седле его Росинанта в дальнейшем мне напрочно обеспечено.

Когда мы возвращались к даче, то ещё издали увидели уваровского спутника, сидевшего на крылечке веранды с толстенной самокруткой в зубах.

Дядя Костя сидел ступенькой выше, и лицо его было странно напрягшимся и непроницаемым. Речь шла о балашинском восстании, как пожар в степи, охватывавшем всё новые сёла до самого Иргиза.

– С оружишком пока плоховато. Всё больше пики-самоковки да централки, – тягуче бубнил солдат и тяжёлой рукой разгонял вокруг своего каменного лица вонючий дым крепчайшего самосада. – Вот захватили под Рахмановкой броневичок с «гочкисом», а лент-то к нему всего один цинк. Но, слышать, в Волинске громадный трофей наши взяли. Ждём, и нам подкинут.

Увидев нас и Уварова, угрюмолицый солдат поднялся со ступенек и лениво сказал неизвестно к чему:

– Н-да, значит так: солдат спит, а служба идёт. Знаю, сам раз раненый был. Ну, а опосля комиссии вы, господин подпоручик, уж к нам в штаб понаведаетесь. Не гребуйте общим делом. Офицеры у нас в большом количестве, а фронтовиков – негусто. И вообще, народ сырой, наш брат-мужлан. Не все и на германской были. Командеров надо.

– Да, да, после комиссии обязательно, – что-то уж очень быстро согласился дядя Костя, и я ещё подумал, что о какой же это комиссии идёт речь, если до 1 августа у дяди есть защитная бумажка медицинской комиссии всего Юго-Западного фронта?

Эх, зря дядя не подался в степь на киргизские кочевья. Правда, там уйма блох в кошарках и едят руками, но здесь неприятности могут получиться и по крупнее.

– Ну, поехали, баринок, – чуть-чуть пренебрежительно, но добродушно сказал Уварову его спутник и пошёл отвязывать коня.

Только тут Серафима спохватилась и представила Петра Уварова сестре и зятю. Услышав его фамилию, Ксана Петровна подобрела и пригласила реалиста бывать у них – ведь ещё в тринадцатом или четырнадцатом году его отец, отказавшись от гонорара, защищал на судебном процессе волинского учителя Македонцева, связанного с эсерами, и о его смелой защите, перепутавшей охранке все карты, тогда говорила вся читающая «Саратовский листок» и «Газету-копейку» губерния, а может быть даже, и вся Волга.

– Нашёл же интересное – войну... – когда всадники уехали, с едкой печалью сказал вдруг дядя Костя. – Ха, бульдог нацепил, в саду разведчиков ищет. Эх, прописать такому вояке хар-роший берёзовый компресс с солью! Вот тебе война, вот тебе бульдог! Куда ты, дурак, лезешь? «Прикрыть грудью...»

– Но ты обратил внимание, какие глаза у второго? – покаясь в мою сторону, вполголоса спросила старшая тётка.

Она, верно, и не подозревала, что первым-то обратил внимание на эти мёртвые глаза каменного идола именно я.

– Глаза – зеркало души, сударыня, – насмешливо покривился дядя Костя и опять заскрипел гамаком, укладываясь поудобнее. – Слышала, что он про Самару рассказывал? Каждую ночь на такое полюбоваться – какие уж тут зеркала могут быть..

Он ласково полистал белую книжечку и вдруг прочёл с большим чувством:

*А я встану – Господь помоги! –
На покров этот зыбкий и ломкий.
Ты же письма мои береги,
Чтобы нас рассудили потомки...*

Смутно чувствовалось, что в его устах эти великолепные, но женские стихи были обращены вовсе не к одному человеку и касались совсем не одной судьбы бегствующего от войны подпоручика Константина Трубникова. Дядя так и сказал через долгую паузу, отвечая своим мыслям:

– Вот то-то и да – ещё неизвестно, как они всё это рассудят, свободные граждане – потомки. И ни на какую кассацию ведь не подашь от такого суда.

– Котенька, почитай мне вслух... – вдруг капризным тоном девочки протянула старшая тётка и потёрлась щекой о худое плечо мужа. – Тебе же и самому так полезно читать стихи. У тебя от них душа срастается.

Дядя Костя только невесело засмеялся. Но текущая жизнь была сильнее всяких стихов, и, увидев ироническую улыбку младшей сестры, Ксения Петровна сказала презрительно и едко:

– А вы, сударыня, не смейтесь. Сами хороши! Мы в ваши годы с вольноперами, хотя бы и из гимназистов, по саду гулять избегали. Да-с.

– Так с нами же Димка был! – с вызывающим укором огрызнулась Серафима и так же смело заключила: – Мы с Уваровым знакомы давно, но мне всего лишь нравится... его лоб мыслящего человека, если уж на то пошло..

– Мадам, вы поцарапаетесь, не входите в раж, ибо тема эта стара, как открытие Америки, – предотвращая ссору в общем-то дружных сестёр, миролюбиво вступился дядя Костя. – Лучше слушайте:

*И, печальную повесть узнав,
Пусть они улыбнутся лукаво...
Мне любви и покоя не дав,
Награди меня горькою славой.*

– Эх, и пишет же женщина! – истово сказал он и долго ещё читал нам стихи из тоненькой белой книжки.

Они источали какую-то непонятно сладкую отраву, и самым удивительным в них казалось то, что их тихая, но величаявая музыка как бы отодвигала

от нас куда-то далеко в сторону и рыжего Паисия, и угрюмолицего человека с карабином на луке седла, советовавшего дяде Косте понаведаться в бело-гвардейский штаб, где не хватало опытных офицеров-пулемётчиков.

У деда Василия Григорьевича был свой девятиконный дом под железной крышей. Вечный приказчик купца Кобзарёва и разорившийся от недостатка клиентуры мельник, дед Василий на старости лет пристрастился любительски чеботарить и дарить родным аляповато сколоченные полусапожки и кожаные татарские галоши...

– Только в мечеть ходить... – беззлобно посмеивалась бабка Ирина Евдокимовна, намекая на родословную мужа: дедов прадед был из выкревцов-татар, при крепостном праве принявших православие.

В тот памятный июньский вечер дедушка сидел на низенькой кадушке, обитой сверху провисшей кожей, и, свалив на кончик носа начётнические очки в железной оправе, сердито вколачивал в рыжий полувал мелкие, как пчелиные жала, гвозди.

Попутно он ворчал на нас с Серафимой.

– Синематограф! Какой вам сейчас, к праху, синематограф? (Чёрным словом дед никогда не ругался – «ляд», «прах» и «пёс», в крайнем случае, «шут» были его единственной бранью.) Того и жди, Захаркин от Саратова ударит, опять стрельбище поднимется, под пули попадёте. Нашли время – синематограф!

Но ни я, ни Серафима в прямом подчинении старика уже не числились – всё зависело от бабки, отопрёт или не отопрёт она нам калитку после третьего сеанса. Мы заранее знали, что наша вечная потатчица на дедовы слова не посмотрит, конечно, отопрёт – и препираться со стариком не имело смысла.

Пётр Уваров встретил нас на углу Дамбы и Аптечной, у когда-то душистой, а теперь пустой и запылившейся витрины бывшего фруктошника Саркисова. Увидев Уварова, я обомлел от самой лютой зависти: ведь может же так украсить человека обычная солдатская гимнастёрка с погонами вольноопределяющегося! И почему я не родился лет на пять раньше?

Острые поля зелёной фуражки гордо резали воздух, и овальный жетон кокарды казался не в пример наряднее облупившихся красных жестяных звёздочек красногвардейцев.

А до чего симметрично, сборчато и мелко была заправлена гимнастёрка! Недаром саратовские реалисты издавна славились тонким умением подгонять складку к складке.

Под пыльной листвой тополей, затенивших нашу Дамбу, единственную мощёную улицу городка, мы чинно, в ряд, пошли к кинематографу «Прогресс», и я чувствовал на себе любопытствующие взгляды прохожих. Навстречу нам, поплёвывая семечками подсолнухов, неспешно и густо двигалась толпа гуляющих горожан, в которой было непривычно много военных.

Уваров, щеголяя неизвестно откуда взявшейся выправкой, отчётливо козырял всем встречным офицерам. Лицо его при этом торжественно каменело, и мне уже не верилось, что это тот самый Петя Уваров, который с артистическим подвыванием читал со сцены «Белое покрывало» и «Сакья-Муни». И где только он успел поднахвататься такой бравой строевщины? Положительно, наша Серафима имела вкус не только к замысловатым выкройкам из приложений к «Ниве» и французской грамматике. Кавале-

ром её гордился даже я, смертельно жалея только об одном: что на его ещё по-мальчишески узких плечах нет ни одной нашивки.

– Петя, а вас скоро произведут? – шёпотом спросил я, желая показать «вольноперу» свою образованность, но он только счастливо засмеялся и, полуобняв меня за плечи, легонько прижал к себе, а потом сказал неожиданно строго:

– Не в нашивках счастье, Дымок. Это всё условности.

Все они, вчерашние восьмиклассники, в те дни хотели казаться взрослее, чем были.

Сегодня Балашино уже третий день подряд праздновало освобождение от новых и уже смертельно опостылевших ему хозяев.

Чем ближе к кинематографу, тем больше попадалось нам навстречу мордатых, откормленных парней в защитном – сёла вокруг Балашина были сплошь кулацкими, батрачили в них пришлые из малоземельных губерний, и кому, как не детям богатеев, было теперь идти в белую рать Самарской учредилки?.. Шальные взрывы тальянок и саратовок плыли над Дамбой, словно в престольную у нас Троицу.

Какой-то искусник впереди нас, вероятно, хвативший для светлого дня политуры, от плеча до плеча растянул малиновые меха, и его голосистый инструмент залился всеми бубенцами, а разухабистая частушка грянула озорно, весело и непристойно.

*И-эх, яблочко-революция,
Скинь штаны, неси в Совет –
Кон-три-бу-ция!*

– В общем-то грубость, – вдруг вполголоса брезгливо буркнул Уваров, чётким шагом между мной и Серафимой обгоняя взявшихся под руки песенников. – И эти семечки – земли не видно. Это ж чистая Азия. А туда же: со-ци-а-лизм. Тошно!

– А я где-то читала, что для обычных интеллигентных обывателей социалистическая революция вблизи – это недействующий водопровод и уборная, очередь за хлебом и знакомый адвокат в тюрьме. Обыватели в данном случае – это просто беспартийные местные жители, так? – обрадовавшись широкой теме и тоже спеша блеснуть горизонтами, скороговоркой сообщила Серафима.

И я фыркнул – такое старательно-умное у неё стало лицо. Уж говорила бы лучше о Вере Холодной да о Мозжухине, а то не иначе перед Уваровым выслуживается: я, мол, не как все эти лузгающие семечки, – начитанная.

Сорока, правильно поняв мою каверзную ухмылку, тут же меня пребольно ущипнула. Но Уваров ничего не заметил.

– Нет, когда мы арестовывали полицейских в Саратове, нам всё же революция такой не казалась, – мягко, но с томным и чуть-чуть обиженным достоинством возразил он и, взяв спутницу под руку, нагнулся к её розовому ушку:

– Революция – это прежде всего праздник, вроде карнавала, когда незнакомые люди целуются на улицах. Это «Марсельеза». «Отречёмся от старого мира». Нет, даже «Аллён л’афан де ле патри...» (начальная строка «Марсельезы»: «Идёмте, родины сыны...»). – **Н.М.**) А потом приходят большевики, праздник отменяется, и наступают будни...

Чем-то он в эту минуту напоминал своего краснобая-батюшку, который бывал у нас в Саратове. Но я прощал Уварову всё за сине-бело-зелёный кантик добровольца на погонах, за солдатскую кокарду и подчёркнутую выправку.

А Серафима смотрела на своего «вольнопера» с не совсем уверенным, но уже растущим уважением.

– Вы арестовывали полицейских, Петя?

Вот уж кого мы не любили ещё задолго до революции, так это полицейских: рослые и тяжёлые, как цирковые борцы, с «селёдками» в обшарпанных чёрных ножнах и сизыми «смитвессонами» на боку, они не раз били об тротуар наши ледянки на Приютской, на Гимназической, на Соборной улицах, чтобы мы не раскатывали крутых спусков к Глебучеву оврагу. С российской полицией наш детский счёт был особый.

– Арестовывали, собственно, студенты, ну и... рабочие, но мы тоже... присутствовали, – отрешённо и мягко улыбаясь своим воспоминаниям и тому светлому прошлому, которое теперь задёрнуто тучами, сказал Уваров и вдруг резко нажал ладонью на моё плечо.

Определённо, эта заплёванная шелухой семечек булыжная Дамба, горбатаяся под тополями, подсовывала нам сегодня всё новые сюрпризы, оценить которые полной мерой мы смогли лишь, самое малое, пятилетием позже.

Человек, в синем двубортном мундире без погон, но со светлыми пуговицами, в узеньком пенсне на полном холёном лице, шёл нам навстречу под руку с такой же выходной и дородной дамой. Страусовые чёрные перья на её большой шляпе качались, как на парадном катафалке, и мне почудилось, что к благоуханию сладких духов примешался едкий запах нафталина.

Уваров, проводив их сузившимися презрительно и зло глазами, сказал раздельно:

– Широков. Становой пристав. Тут же после февраля уехал из Воинска в Казань. И знаете, Симочка, что он там отчудил? Пристроился вольным слушателем на юридический факультет. Встретил раз летом отца и говорит: «Александр Герасимович, я обращаюсь к вашей совести интеллигентного человека и надеюсь на ваше благородство». То есть смотри не проболтайся, что я бывший «крючок». Ловок? А сам отца под гласным надзором три года держал за политическую неблагонадёжность и в жандармское управление доносы строчил. И вот опять здесь. В мундире. Ох, путаница ты российская!..

– Ну, и ваш папа смолчал? – возмущённо взвилась моя младшая тётушка. Слова «политическая неблагонадёжность» и в нашей семье начиная с 1905 года уже не были ни запрещёнными, ни зазорными.

– Мой отец всегда сочувствовал революции, – негромко, но с большим достоинством сказал Уваров. – Тем не менее ни до неё, ни после донощиком он не был.

– И очень напрасно! – всё с тем же неожиданным запалом отрезала Сорока.

И я сразу почувствовал, что не одни разбитые городскими ледянки на Гимназической стукнули ей в сердце – это был воздух, в котором мы всё-таки выросли: презирать жандармов и не любить полицию.

– Надо было написать в университет. Вот бы его попёрли!

– А пусть существует и... передаёт нашим контрразведчикам опыт борьбы с большевиками, – уже не без лёгонькой насмешки махнул рукой Уваров.

А я слушал и набирался ума-разума – знаменитый на нашей Средней Волге становой пристав после революции идёт учиться на юридический факультет и через три-четыре года может стать адвокатом. И он же может быть полезен тому же Уварову, на отца которого прежде писал доносы. Действительно российская путаница!..

А белая солдатня из сынков окрестных лавочников и мироедов впереди нас всё густела, совсем как сельдь, идущая метать икру с низовий. Воткни весло в косяк – и оно, покачиваясь и не падая, пойдёт вместе с обезумевшей рыбой.

Гармоники вокруг нас заливались гоготом и бубенцами, чуть ли не по три в ряд – их, и ливенок, и тальянок в этой кулацкой добровольческой орде армии было, пожалуй, гораздо больше, чем «станкачей» Кольта, Шварцлозе и Гочкиса, не говоря уже о «Максиме», которого почему-то особенно уважал мой детально разбирающийся в пулемётах дядя Костя. Нет, это была даже не Троица, а чистая Пасха, и Дамба гуляла совсем по-пасхальному.

*Эх, не за Свердлова да не за Ленина –
За донского казака да за Каледина! –*

скромным чадом стояла в воздухе только что испечённая частушка, и в лад ей жеманно повизгивали разбитные слободские вдовушки и солдатки, так табунком и увивавшиеся вокруг плечистых и краснощёких парней в защитном.

– Нет. Не то. Типичное не то, – хмурясь, шептал Пётр Уваров и опять казался мне обычным, времён вечеров и концертов в Саратовской первой министерской, со сжатыми у сердца руками и речитативчиками Вертинского.

– А что же «то», Петя? Вон наш Котенька в гамаке отлёживается... Это, что ли, правильно? – печально спрашивала Серафима, выдавая даже моим неполным тринадцати годам, что сердце её волнуют не только падеспань и стихи Северянина и Бальмонта, а и вещи, будто бы к умозрению восемнадцатилетних гимназисток и не причастные.

Так мы и шли, притихшие и чужие в разгульной толпе белых добровольцев, из тех, кому было за что кровно ненавидеть и уком партии, и Захаркина, и продрозвёрстку. И были мы в своей растерянности, вероятно, похожи на самых обычных воробьёв, залетевших в грозный механизм башенных часов, так железно чётко и непонятно щёлкали вокруг нас шестерни до поры скрытой ненависти и тугие, лишь начавшиеся разворачиваться пружины гражданской войны.

– Ваш зять, дорогая Симочка, мне показался очень незаурядным и порядочным человеком, – страдальчески морщась от рёва вокруг, гнулся к тёткиному уху вчерашний реалист Петя Уваров. – Но он, простите... не наш герой. Он просто уставший от бойни прапорщик военного времени. А нам нужен... рыцарь. Бесстрашный, яростный и в то же время... холодный, как... Немезида. Белый рыцарь. Вождь и предтеча будущей свободной и умытой кровью России. И хорошо, если он уже окончил академию генерального штаба. Но это уже деловая проза. Вы меня понимаете, Симочка?

– Понимаю, Петя, что это... очень красиво, – заморожено шептала Серафима, всё крепче стискивая мою руку, конечно, стесняясь пожать пальцы Уварова. Понимал ли я сам тогда отравленную красоту этих больных и наивных слов? Понимал, гори он ясным огнём, белый «вольнопёр» Уваров! У меня в памяти даже роились звучные и гулкие, как бронза, стихи:

*Жил на свете рыцарь бедный,
Молчаливый и простой,
Видом – сумрачный и бледный.
Духом – смелый и прямой.*

«Вот бы вам такого рыцаря себе в командиры, Петя Уваров», – думалось мне тогда, и только смутной догадкой вставало, что он, заплутавшийся

и бредущий на ощупь в лабиринтах гражданской междоусобицы фантазёр и путаник, вовсе и не заслуживал такого вождя.

Но ещё только в марте под Екатеринодаром приобрёл пешком впереди своих первопроходников Лавр Корнилов, и мы в великой неразберихе тех дней ещё не понимали, что он никакай не вождь, а всего лишь укрупнённая разновидность пристава Широкова.

Лишь через два года, когда конная армия бывшего драгунского усатого вахмистра по панским костям шла (аллюром в три креста) к Замостью и Львову, я знал точно: такие бесстрашные рыцари, господа белые добровольцы, не с вами. А тогда...

Тяжёлая рука легла на плечо Уварова.

– Что же ты, баринок, так закалялся? Зову, зову, а ты как пьяный. Здравствуй, барышня. Аль не признали?

Перед нами стоял тот самый солдат со страшным каменным лицом обычного ремесленника войны. Ну да, это же он вчера сидел у нас на дачном крылечке и курил толщиной в палец самокрутку, лениво уговаривая дядю Костю после медицинской комиссии наведаться к ним в белый штаб. Только теперь на нём не было куцега кавалерийского карабина, зато пояс его отягивала какая-то деревянная колодка, формой напоминающая окорок, а из колодки торчала чёрная рукоять автоматического пистолета.

«Маузер! Обойма в десять зарядов», – верный своим книжным познаниям всех образцов оружия, сразу узнал я. А солдат всё тискал плечо Уварова и говорил то ли простодушно, то ли с крестьянской хитрецей, улыбаясь:

– Агромальная, Петро, победа. Меньков в конном строю ищо один броневик у пролетарихов отбил. Машинка всех мер. Ах, и смел человек! Ну, просто атаман! Цена ему не менее полковничьей. Нет, ты слышишь, баринок, иди к господину штабс-капитану в эти самые порученцы. Он из тебя охвицера сделает.

– А где этот броневик? – словно внезапно просыпаясь и сразу отпуская руку Серафимы, азартно спросил Уваров.

И так заметна была эта перемена, что мне показалось, будто чья-то властная и злая рука с ходу, как патрон, вогнала его в какую-то мудрёную и смертоносную обойму, и он опять готов сутками лежать в голой степи, дожидаясь своей белой, видной и днём ракеты, и лезть с четырьмя патронами в барабане на любой броневик.

– Нет, вы просто мальчик! – восхищённая этой жестокой несолидностью, шёпотом сказала Сорока, и теперь уже сама взяла Уварова под руку.

А солдат с маузером звонко хлестнул себя по тугим кабаньим ляжкам и закричал сквозь смех:

– Вон, вон... на быках... везут! Кучер его, то исть механик, магниту какую-то прикладом расплющил, не идёт своим ходом машина. Быки везут, гы-гы-гы! Быки, понимаешь?

– Пошли посмотрим! – стремительно оборвал его Уваров и, таща нас за собой, повернул обратно, туда, где за спинами гуляющих уже хлопал кнут погонщика и хрипло наплывало:

– А, цоб, цоб, в печёнки-селезёнки! Цобе-цобе, дьяволова скотинка!

Броневик был обшарпанный, зелёный, с куполом пулемётной башенки и весь простроченный по броне многоточиями заклёпок. Его рубчатые резиновые шины, наполовину прикрытые стальными листами, почему-то разительно напоминали поповские галоши, выглядывающие из-под коротковатой рясы.

Везли броневомобиль три бычьих парных упряжки, круторогие и разномастные, и бока у животных потемнели от пота – видно, машина была тяжёлой.

За её рулем сидел сухопарый, ссутулившийся в тесноте кабины офицер в перекрёстных ремнях походной портупей. Был он черноволос и курчав в какое-то мелкое цыганское колечко и без фуражки. Её, почему-то с красным околышем, почтительно держал в руках молоденький прапорщик с девичьим румянцем на щеках. Спутанная солдатским ремнём связка винтовок стояла между ног прапорщика, и по его напряжённому лицу было заметно, что сидеть так, оберегая трофейное оружие и головной убор начальника, ему очень неудобно. Броневи́к катился медленно, густо вздыхали быки, щёлкал кнут в руках погонщика, и, уважительно притихнув, расступалась толпа на Дамбе.

Я успел рассмотреть лицо водителя и его табачного цвета френч с двумя Георгиевскими крестами над левым карманом. Чёрные, как антрацит, глаза офицера угрюмо и прямо смотрели вперёд, на спины быков, и было в них что-то упрямое и злое – словно он знал заранее, что над его машиной в бычьих упряжках обязательно будут смеяться, и заранее презирал и ненавидел этот неуместный и оскорбительный смех.

Но никто в толпе не засмеялся, только уже далеко впереди, возле «Прогресса», продолжала жалостно наигрывать «Маруся отравилась» какая-то отставшая от времени гармонь.

Как замороженные шли мы рядом с трофейным броневиком. Вплотную за ним цокали подковы маленького конного отряда, человек двадцать, не больше. И упрямо смотрел перед собой черноволосый офицер за такой же чёрной рулевой баранкой, медленно ворочающейся под его большими руками.

Отстав, я осмотрел броневик и сзади – там масляными белилами были намазваны череп и две скрещенные берцовые кости. Как на бутылке денатурата или в опасных местах электростанции. Краска была свежей, даже не загустели тоненькие потёки с утолщений на концах костей, словно и впрямь из них вытекал мозг.

Я ничего не сказал ни Серафиме, ни Уварову и, вернувшись, шёл, потрясённый, рядом со словоохотливым солдатом, шагавшим обок бронированного автомобиля, всё время заглядывая в его кабину и, видно, надеясь, что водитель с ним заговорит. Но офицер за рулём даже не смотрел на нижнего чина, словно весь мир был для него сосредоточен на чёрном колесе штурвала да на мокрых от пота бычьих спинах.

Вот так, тринадцати лет от роду, я впервые увидел рядом облик Курносой, и он по какой-то странной и совсем не детской ассоциации навсегда сросся в моей памяти с упрямым и чуточку монгольским лицом белого офицера за автомобильной баранкой.

– Кабутько, Герасим, а пленные-то где? – вдруг спохватясь, спросил Уваров, когда солдат, видно, заскучав от своей близости к начальству и приотстав, опять зашагал рядом.

– А он не берёт. Это вам не Рава-Русская, говорит, – весело и страшно ответил Герасим Кабутько и похлопал ладонью по деревянному окороку маузера.

Только тут я понял: и откуда у него такой трофейный пистолет, и что произошло с экипажем броневика в далёкой степи на Иргизе, – и с омерзением отодвинулся от этого весёлого и страшного человека. Ну, и компанейка же подобралась у Пети Уварова! А Герасим продолжал посмеиваться. Он-то хорошо знал, что человечья кровь пахнет кисло – и только.

– Ладно, потом, – искоса взглянув на Серафиму, которая, видимо, так ничего и не поняла в их беглом разговоре, брезгливо и строго сказал Уваров.

Лицо его стало таким сосредоточенным и скорбным, что я в душе ему посочувствовал – так вот он какой на деле, этот ваш белый рыцарь без страха и упрёка. Нет, пожалуй, добрые стихи Пушкина к нему совсем не подходили.

Но дальше случилась неожиданная заминка, из-за которой мы чуть не опоздали к началу сеанса. Положим, идти смотреть Веру Холодную мне тогда уже совсем расхотелось. Так, за одну минуту перегорело что-то в душе от глумливых и страшных слов и зубоскальства Герасима Кабутко. Какая уж тут Вера, если русские не берут в плен русских, а стреляют друг друга на месте?!

Быки вдруг встали. То ли заленились передние, то ли просто животные уже отдали всё, что могли отдать этой железной повозке под стопудовой броневой рубашкой. Но сколько ни бился погонщик и как ни хлестал их под тяжело вздымающиеся брюха, все три упряжки только переступали с ноги на ногу, помахивали головами и продолжали стоять на месте.

– Ну-ка, прапорщик, сядьте за руль! – негромко приказал курчавый с «Географиями» на френче и вылез на подножку.

Теперь он возвышался над толпой, опять сбившейся вокруг машины, и так же упрямо, хмуро и пристально, как и быков минуту назад, оглядывал её своими антрацитовыми глазами кочевника.

– Внимание! Военнообязанные, построиться! Быстро! Вольных граждан прошу очистить мостовую, – сказал он громко.

И бывшие в толпе солдаты, словно под гипнозом этих нестерпимо прожигающих глаз, тут же начали строиться в два ряда возле броневика – так чётко работал давний солдатский рефлекс на привычные командные слова человека в золотых офицерских погонах. Но кое-кто из солдат, оказавшихся в толпе не у самой бронемашин, вместо того чтобы примкнуть к шеренгам, усиленно работая локтями, начал выбираться из людской гущи.

Рука черноволосого офицера, вытянувшегося на подножке, машинальным, заученным рывком дёрнулась к револьверной кобуре и на секунду замерла на её жёлтой коже. По-видимому, это тоже был полуавтоматический, натренированный годами войны рефлекс – не раздумывая ни секунды, браться за оружие и стрелять, если тот самый безымянный нижний чин, созданный для исполнения любых команд старшего, вышел из повиновения. Но уже в следующую секунду офицер опомнился: дело всё-таки происходило на забитой народом улице, а не в окопах. Лицо его снова замкнулось, и правая рука, потеряв напряжение, свободно соскользнула с кобуры – двух десятков и преданно глядящих на него снизу людей, пожалуй, должно было хватить в помощь быкам и без тех лодырей и мелких полудезертиров.

– Прапорщик, там под сиденьем гайки были. Дайте одну, – сказал он негромко и, выбрав из готовно протянутой руки прапора гайку покрупнее, прыгнул с подножки.

– Тебе, фефёла, гусей пасти, а не быков, – сказал он чётко и презрительно и вырвал из рук погонщика кнут.

Обстоятельно привязав гайку на кончик длинного ремня, он сказал так же чётко уже в сторону солдатского строя:

– Слушай мою команду! Смир-рна! Нале-во! К машине! Бегом! Арш! Наваливаться по удару кнутом. При-готовьсь!

Он подождал, пока солдаты облепят крутые, прошитые заклёпками бока броневомобиля, и всё так же неспешно и обстоятельно надел ремennую петлю короткого кнутовища на кисть правой руки, с силой взмахнул кнутом. По шкуре переднего быка прошла судорожная дрожь, совсем как по стоячей воде, возле которой ударил в землю тяжёлый копёр. Солдаты, сразу загалдев, заулюлюкав, упёрлись плечами в зелёную броню. Курчавый офицер,

вдруг став похожим на цыгана-барышника, стиснув зубы и с каждым ударом, совсем по-палачески падая всем туловищем вперёд, продолжал стегать переднюю пару быков. После четвёртого удара животные, коротко взревев, кинулись вперёд, и броневик неровно рвануло, а потом плавно понесло за ними.

Офицер, бросив кнут погонщику, вскочил на подножку и бесстыдно и громко сказал розовощёкому «фендрику», вытесняя его из-за руля:

– Вот смысл глубочайшей истории, вот смысл философии всей! Учитесь, прапорщик. Пригодится – время кнутобойное. – И его смуглое, чуть с монгольщиной лицо при этом на минуту прояснело, стало насмешливым и жёлчно-умным.

Так, за ходко катящимся броневиком, подпираемым сзади солдатами, мы и дошли до кинотеатра «Прогресс» – длинного каменного сарая с покатым полом и без единого окна.

Броневик вдруг тоже остановился точно против широко открытых дверей кинематографа, и курчавый лениво сказал прапорщику, беря у него из рук нарядную красно-синюю фуражку:

– Знаете, Игорь, схожу проветрюсь. Вообще-то, дрянь иллюзионистско, но за неимением гербовой сойдёт. А вы позвоните Муравьёву, пусть пришлёт механика. И магнето чтобы утром было. Иначе... Впрочем, грозить не надо. Он и так сделает.

Муравьёв был владельцем одного из двух наших заводиков. У него было десятка полтора всяких стареньких станков, поэтому завод гордо звали механическим.

Вылезая из-за руля, курчавый вдруг увидел Уварова и поманил его пальцем к себе.

– Вольноопределяющийся, на носках! – прикрикнул он с какой-то жутковатой, пугающей ласковостью.

Поговорили они не больше двух минут, и офицер отпустил Уварова милостивым кивком и даже поднял к козырьку два пальца. Уваров вернулся к нам вспотевший и красный, как из бани.

– Кто это, Петя? – спросил я, когда прямой и сухощавый, словно стек, этот необычный среди здешних людей офицер скрылся в чёрной двери киносарая.

Уваров глянул на меня отсутствующими, то ли счастливыми, то ли испуганными глазами и сказал шёпотом:

– Это и есть штабс-капитан Меньков. Неужели не знаешь? Лихой офицер. Конник, спортсмен и всё прочее.

– А почему у него фуражка казачья?

Уваров надменно улыбнулся, всё-таки эти вещи гипнотизировали и его не меньше «Марсельезы».

– Лейб-уланская, а не казачья. Форму полков Российской императорской армии, юнец, не знаешь.

– И вы с ним знакомы? – не то испуганно, не то восторженно перебила нас Серафима.

Все мы до сих пор ещё не считали всех подряд белых офицеров только палачами и вешателями. Уваров небрежно и гордо кивнул:

– Ещё бы! Он после фронта у нас во втором реальном строй преподавал. К себе зовёт. Ординарцем... Ну, вроде адъютанта. Скучно, говорит, без культурных людей.

Внутри белого каменного сарая тонко залился электрический звонок, и мы следом за Меньковым побежали к чёрному пролёту уже закрываемых служителем дверей.

Однако ни Веру Холодную, ни Мозжухина нам в тот раз так и не показали. Шёл уже многократно порванный патриотический, вероятно, псевдо-документальный фильм «Дыхание антихриста, или Каинов дым» об удушливых газах.

Мы уже знали, что впервые газы эти были применены немцами на русском фронте 15 апреля 1915 года под местечком Ней-Шидловец, обошлись России во многие тысячи жизней и через лёгкие дядя Кости коснулись и нашей семьи.

Догорающая на западе большая война под стрекозиное стрекотанье киноаппарата ещё шла по притихшему залу. Даже в кино была она совсем не похожа на ту бестолковую и шумную «оперетту» с короткими перебежками, стрельбой с колена и броневиками в бычьих упряжках, от которой уже мутило многих способных на раздумье людей.

Эта большая, но будничная война по плечи зарылась в землю. Жила она в тяжёлых, залитых бетоном и накрытых накатами брёвен блиндажах, откуда её не могли выместить никакие шрапнели; только на молодецкий штык не надеялась, развёрнутых знамён с собой не таскала, а разрывы её тяжёлых бризантных «чемоданов» напоминали извержение Везувия. Обо всём этом мы уже достаточно наслушались от дяди Кости. Но триумф душегубной немецкой химии киношники показали даже ярче, чем в его рассказах. Люди в глазастых резиновых масках, делавших их похожими на каких-то зловещих двуногих муравьёв с плоскими баллонами за плечами, методично окуривали белым дымом кусты и траву. Дым медлительно и неуклонно наступал на русские окопы – и пули, и штык, и осколки гранат были бессильны его остановить. Он мутным молозивом затекал в ходы сообщений, лез в смотровые щели блиндажей, валом перекачивался через брустверы окопов. Наши солдатики с проклятием рвали на горле ворота гимнастёрки и как в омут падали в белый дым.

Положим, дядя рассказывал, что если вовремя помочиться и зажать нос мокрым носовым платком или бинтами, то хлор вовсе не так и смертелен. Однако сейчас я верил только киноленте, и по спине у меня бежали холодные и колкие мурашки.

Уваров и Серафима тоже притихли, хотя и продолжали, пользуясь темнотой, держаться за руки. Но под конец третьей части ветер на экране переменился, и газовая завеса, ломая сюжет «Каинова дыма», но восстанавливая справедливость, ещё более густой и зловещей пошла вспять на аккуратно разграфлённые колючей проволокой немецкие окопы. Теперь уже не наши, самарские и саратовские парни, а баварцы и пруссаки рвали ворота мундиров и кучно ложились на отравленную землю. По залу пошёл удовлетворённый ропот. В темноте облегчённо завздыхали.

– Это что же, господа, получается? Выходит, зачинщику если не первая, то во всяком случае вторая-то палка по заднице наверняка?! – восхищённо спросил кто-то за нашими плечами, и Уваров, по-рыцарски оберегая девичий слух Серафимы, громко и возмущённо зашикал на досужего комментатора.

Но другой, басовитый, самоуверенный голос, не обращая внимания на его призыв к порядку, ответил первому презрительно и спокойно:

– Ну, хлор – это детство, а вот люизит или, скажем, горчичный газ, он же иприт, – это бы да! Как вы, поручик, считаете? Такой бы горчичничек да на шею красным?

Когда в антракте зажётся свет, я оглянулся на заднюю ложу, полную офицеров. Антрацитово-чёрные глаза штабс-капитана Менькова над головами зрителей смотрели на пустой белый экран, и в них, прищуренных и совсем не славянских, ещё тлео выражение какой-то жутковатой мечтательности. Не знаю почему, но слова о люизите и горчичном газе я совершенно твёрдо приписал ему.

...Ночное небо после духоты кинозала показалось мне совершенно живым и дышащим всеми звёздными порами. Где-то за мохнатой грядой Правобережья ещё зытяжно дотлевала вечерняя заря, и от неё, как от незалитого кострища, наносило жаром, а из близкой степи тревожно и сухо пахло кизячным дымком и полынью.

– Ну, и будет нам всего-навсего выговор от Ксаночки, – беспечно сказала Серафима уже возле калитки дедова дома, – лучше пошли на дачу, Дымок. Петя, проводите?

Уваров отозвался с напускной важностью:

– Неужели одних пущу?

И мы, так и не постучавшись, зашагали обратно, прочь от душных комнат, пропахших шалфеем и масляной краской.

Степь, начавшаяся сразу за домами окраины, приняла нас как своих, дремотно и ласково. Даже шагов не было слышно, так бархатиста от пыли и мягка была дорога.

– Люизит... – вдруг шёпотом сказала Серафима, и я сразу понял, что именно это нерусское слово, как отравленная колючка, занозило не только мою память. – Люизит... И вы, Петя, всё-таки пойдёте к нему в адъютанты?

– Пожалуй, всё-таки... пойду, – угрюмо ответил Уваров и глубоко вздохнул. – У нас здесь совсем нет людей с размахом. А он фронтовик, георгиевский кавалер и вообще... лейб-улан.

– Прежде всего он палач, ваш Меньков! – неожиданно сердито вскрикнула Серафима. – Вы видели, как он быков истязал? Заплечных дел мастер!

– Ну, ле гёур ком а ле гёур, Симочка! – виновато засмеялся Уваров, видимо, уже принимая на свою добровольческую совесть и все недочёты и странности старших командиров.

Но Серафима вдруг сорвала свой локоток с его предупредительно согнутой руки и ушла вперёд. И почти целую версту они прошагали молча. Только уже возле самого сада, надвинувшегося на нас из темноты шелестящим душистым валом яблонь, тётка отчуждённо сказала:

– Будьте логичны, Уваров. «Белый рыцарь», «перестрадать с народом», алый венчик из роз и всё прочее – и вдруг этот... русский штабс-капитан, мечтающий о люизите для русских...

Она зябко передёрнула плечиками и, не прощаясь, стала искать на ощупь щеколду садовой калитки.

А Уваров сказал обиженно и горько:

– Венчик, положим, из белых, а не из алых роз. Вы уж, Серафима Петровна, даже цвета путать начинаете.

Но Серафима пренебрежительно и гордо промолчала.

Всё-таки сумрачный дядя Костя, предпочитавший старенький дачный гамак всем соблазнам головокругительной карьеры в армии Самарской учредилки, не зря был её зятем.

...И опять покатались одинаковые, круглые, как созревающая анисовка, дни дачного июня под степным небом.

Тётя Ксана в сверкающем как солнце медном тазу варила вишнёвое варенье, мы с дядей Костей перенесли свои чиненые-перечиненые вентеры из вко-

нец обмелевшего Сазанлея в Линёвку, перетаскав у тёток все суровые нитки на починку этих прадедовских рыболовных снастей. Всё шло по давно заведённому распорядку жизни небогатых и беспечных дачников.

Но по ночам в Балашине постреливали, и ходить в город нам с Серафимой было категорически запрещено. Глухо ползли слухи о продолжающемся наступлении белых на юг, к Саратову, а в Уральске, объявившем себя автономным, зашевелились казаки. Но только раз наше тихое омутное житьё на дачке, заброшенной в полынную степь, было нарушено отголоском будто бы не коснувшейся нас гражданской войны в Заволжье.

С полотенцами на мокрых шеях мы с младшей тёткой возвращались с Линёвки: я – вырвавшись вперёд, Серафима – приотстав и вытряхивая песок и гальку из туфель. Навстречу нам парами молчаливо и чинно шли приютские ребятишки. Голенастые, худенькие, в одинаковых жёлтых кофточках и белых передниках, издали приютские напоминали гусят.

Как они в этой, пока ещё тихой заволжской междоусобице зажились на соседних дачах наробраза и кто их кормил – мне и до сих пор неясно. Может, услуга детдома после «отмены» уездного наробраза белой властью сама стихийно взяла на себя заботы о приютском населении, а заодно и сама кормилась возле своих питомцев, пока кулацкий мятеж бушевал вокруг нас.

Но приютских ребятишек кто-то кормил, обстирывал и одевал, и вот они, бледненькие, с длинными худыми шейками и одинаковые, как гуси, идут нам навстречу со своей воспитательницей, такой же худенькой и большеглазой. Приютские тоже купались по утрам в Линёвке. Мы уже почти разминулись, когда одна маленькая, лет восьми девочка с крысиными хвостиками косичек и васильковыми глазками, поравнявшись с Серафимой, громко сказала:

– Ты... белая шлюха!

И столько совсем недетского значения было в этих сердитых словах, что Сорока, никогда не бывшая особенно кисейной, словно оступаясь в ямку, жалобно ахнула и подняла ладони к вспыхнувшим щекам.

Я, услышав эти очень недетские, жестокие слова, сразу вернулся к Серафиме. Но что я мог сделать с этой крошкой, так несправедливо тяжело обиженной мою тётку? Не драться же было мне, лобану-гимназисту, с восьмилетней пичугой? А Серафима стояла оглушённая, всё ещё держа ладони у щёк, теперь мертвенно побледневших. Я её такой растерянной ещё никогда не видел.

– Что она сказала? – встревоженно спросила воспитательница, почти одних лет с Серафимой девушка, в опрятном ситцевом платье и белой лазаретной косынке сестры милосердия.

– Да ничего. Так... – убито шепнула тётка и отшагнула в сторону, давая дорогу отставшим приютским ребятишкам, сразу столпившимся возле своей воспитательницы.

– Нет, я сказала: «Ты – белая шлюха», – упрямо повторила девочка, и глазёнки её блеснули, как у готового кинуться на любого обидчика затравленного зверька. – А потому и сказала, что к ней беляки ездят.

– Да как ты смеешь, Архипова? Вот дрянь! – страдательно вскрикнула воспитательница, конечно, прекрасно поняв, что может получиться, если кто из белых офицеров в городке узнает о таких дерзких словах её воспитанницы.

Она уже, впрочем, не особенно уверенно занесла ладонь над розовой мордашкой грубиянкн, но у Серафимы ещё хватило духа задержать её руку – и пощёчина так и не раздалась.

– Оставьте, товарищ Пескарёва. Это ж всё-таки ребёнок. Какой с неё спрос?! – строго сказала тётка, знавшая фамилии всех соседей по дачам.

И всё-таки недобро усмехнулась: – По-моему, бить следует совсем не эту девочку. Она говорит то, что слышит от взрослых.

– Неужели вы думаете, что я учу детей таким словам? – растерянно и возмущённо вскинулась было воспитательница, но Серафима только брезгливо и устало вздохнула.

– Ах, ничего я не думаю!.. При чём вы? Пошли, Димка.

Приютские ребята уже молчаливой цепочкой спускались с пригорка в линёвскую пойму, где в талах и золотистых песчаных отмелях плескалась наша весёлая речка, когда тётка сказала мне и просительно, и строго:

– Смотри, дома ни слова! – И опять неуверенно подняла руку к лицу, словно оно ещё горело от самой оскорбительной пощёчины. – Боже мой! Что же вокруг нас клоочет? Сколько ненависти! И за что? Какое время!.. – Но внезапно её лицо опять исказилось откровенным испугом, и она страдальчески шёпотом спросила: – Ну зачем он опять явился?

Я глянул по направлению её смятенного взгляда, туда, где был этот непонятный «он», и ахнул: у садовой калитки стоял всё такой же неимоверно худой и мослатый Росинант Петра Уварова, не приезжавшего к нам с того самого дня, как мы втроем смотрели «Дыхание антихриста» в балашинском иллюзионе «Прогресс».

Уваров понурясь сидел на перилах веранды, уныло поматывая надетой на руку нагайкой, весь какой-то вылинявший и отрешённый от мира. Дядя Костя ковырялся ножичком в тёткиных ручных часах и насмешливо посапывал. Видимо, пока мы купались, они уже успели наговориться.

– А, это вы? Здравствуйтесь, Уваров, – сдержанно сказала Серафима и, не останавливаясь, прошла в комнату. Лицо её было презрительно и бледно.

– И каждый нормальный человек вам то же скажет, – не отрываясь от часиков и, видимо, уже заканчивая какой-то неприятный разговор, вздохнул дядя Костя. – Только погреб. В крайнем случае, шалаш на бахче... И чего таскать с собой этого одра?

– Это не одер, а строевой конь, – обиженно поправил Уваров и спрыгнул со скрипучих перилейцев. – Но... в принципе, вы правы. Серафима Петровна, я приехал к вам... сообщить... то есть сказать...

– Что вы стали оруженосцем господина Менькова? Поздравляю вас, но лучше бы вы избрали для своих сообщений другое место, – возмущённо затараторила тётка, опять появляясь в дверях, покрасневшая и неожиданно разгневанная.

– Ну, зачем же так сразу и в кровь? – примирительно заворчал дядя, лишь искоса глянув на негодующее лицо свояченицы, и весело крикнул в сад:

– Ксаночка, нас будут сегодня кормить или как?

– Потерпи ещё пять минут. Вареники же не картошка, – от саманной печурки из глубины сада откликнулась старшая тётка, и Константин Михайлович кивнул Уварову в сторону двери, за которой опять, сердито фыркнув, скрылась Серафима.

– Идите и расскажите всё. Вас поймут.

Странное дело, он определённо сочувствовал Петьке Уварову, и для меня это было совсем неожиданным.

Уваров на цыпочках подошёл к двери, постучал в неё согнутым пальцем и, так и не дождавшись разрешения, тихонько приоткрыл дверь. Я тут же проскользнул за ним следом – всё-таки Серафима была мне родной тёткой.

Серафима в поисках неизвестно чего рылась в ящике стола, перебрасывая там мотки цветного шёлка и какие-то бумажки. Уваров стоял перед ней потупившийся и красный. И даже его обведённые трёхцветным «вольнопёрским» кантом погоны обвисли, как мокрые крылышки. И только тут я понял одну из причин тёткиного возмущения и гнева. Оказывается, служба в ординарцах у штабс-капитана Менькова имела свои сомнительные преимущества. Поперёк погон Уварова был нашит широкий фельдфебельский галун. Но, полученный всего за три-четыре дня службы, он почему-то не показался таким вожделенным, как неделю назад на усыпанной шелухой семечек балашинской Дамбе. Я просто уже не верил в серьёзность производства вчерашнего восьмиклассника Петьки Уварова, когда далеко не каждый солдат мог выслужить такую «лычку» и после года учебной команды. Эдак и мы на Гимназической в Саратове, играя в войну, награждали друг друга любыми бумажными орденами и погонами, вплоть до полковничьих.

Уж в производствах и боевых наградах в нашем квартале знали толк примерно со второго года германской кампании. А сейчас только жалкость и подавленность всего внешнего облика Уварова и показались мне настоящими.

– Серафима Петровна, вы намерены меня выслушать? – скорбно спросил он, уже разжалованный в моих глазах герой, но Серафима наконец нашла то, что искала в столе, перерыв весь ящик.

Это был длинный, розовый, очень изящный на вид конверт. Удивительное дело, как долго они ещё удерживались в нашем уже обнищавшем быту, все эти мелкие осколки прежнего уюта. Серафима положила конверт на стол перед Уваровым и строго сказала:

– Вот здесь вы прочтёте всё. Поддерживать с вами дальнейшие отношения я не могу. Мы по-разному понимаем мир. И... постарайтесь на меня, Петя, не обижаться.

Но лицо Серафимы предательски дрогнуло, и последние слова она сказала горьким шёпотом. Всё-таки они дружили с шестого класса. И опять трудное время, заставшее всех нас на грани детства и юности, тихо вошло в дачную комнатку с тюлевыми гардинами на окнах, и неизвестно как, но я его почувствовал обострённой интуицией ребёнка из семьи, где дружно ненавидели пристава Широкова и всё-таки верили в братство, равенство и свободу всех людей, а не в кнutoбойные традиции штабс-капитана Менькова.

Пётр дрогнувшими пальцами взял розовый конвертик и продолжал понурясь стоять у столика. Но Серафима его не гнала, и сама была подавлена не меньше, и всё было уже похоже на грустный и берущий за сердце театральный акт, на одну из последних сцен «Бесприданницы», которую я видел на зимних каникулах в Саратовском театре с участием самого Ивана Артемьевича Слонова.

Вот так они стояли молча, над ещё не вскрытым конвертом, восемнадцатилетние люди своего времени, уже раздавленные его резкой и всё ломающей гранью.

Нарушая их печальное оцепенение, дядя Костя на веранде щёлкнул крышкой не подающихся ремонту часов и запел вполголоса:

*И не знать, что от счастья и славы
Безнадёжно дряхлеют сердца...*

Потом сказал меланхолически деловито:

– Ясно: маятник сломан. И медицина бессильна.

– Симочка, дорогой мой друг!.. – всё ещё не вскрывая конверта, встрепетавшись, отчаянно выдохнул Уваров. – Ведь это же горькое недоразумение.

А вы даже не хотите меня выслушать. Дело в том, что я дезертировал. Мне не по пути с ними. Я оставил Менькову записку и... угнал коня.

На лице Серафимы что-то ожило, засветилось, словно уголёк под золой вспыхнул, но она сказала всё так же строго:

– Тогда... дайте сюда конверт, дрянной мальчишка, рыцарь печального образа! – И уж совсем неожиданно, как маленькая девочка, тихо заплакала, всхлипывая и шмыгая носом.

Слёзы, маленькие и быстрые, так и посыпались из её зажмуренных глаз.

– Ах, Петя, Петя, что же вы со мной делаете? Мало у меня забот без вас? – сказала она жалобно. – Если бы вы только знали, сколько гадостей мне пришлось выслушать из-за нашего знакомства!

Но тут не выдержало и моё сердце.

– Не ври, пожалуйста! – возмущённо сказал я. – Всего-то одна маленькая дура с косичками.

– А, ты здесь? Брысь отсюда! – с напускной строгостью топнула на меня ногой тётка, но я и не подумал подчиниться, да и в её глазах не было настоящего гнева. Сейчас тётку занимало совсем другое.

– Так куда вы теперь, Петя? – спросила она уже примирённо.

– В степь. Только! – повеселевшим голосом ответил Уваров и опять стал похож на себя прежнего, когда читал со сцены стихи о бунте голодных людей против Бога. – На Кобзарёвские хутора. Там у меня знакомый управляющий. Спрячет. Кстати, у вас есть ножницы?

Он сунул мне в руку вынутые Серафимой из стола ножницы, наклонил своё золотогалантное плечо ко мне и сказал решительно:

– Режь, Димка. Хватит. Поносил.

Я сразу понял главное: человек совсем, как те гордые и нищие бродяги из «Сакья-Муни», окончательно восстал против своего вчерашнего кумира. Осторожно срезав суконную лямку под погоном, сорвал его с плеча и протянул Уварову.

– Выбрось, – сказал он кратко. – Режь второй.

Странно, почему эти самые суконные прямоугольнички, так недавно казавшиеся мне почётными и романтическими, как рыцарские наплечники, вдруг потеряли в моих глазах всякую цену? Неужели от того бешеного рывка руки Менькова к пистолетной кобуре, когда солдаты не захотели толкать его броневик? Или от его же палаческих ударов по бычьим спинам? А может быть, просто оттого, что дядя Костя так легко отдал свои золотые с двумя звездочками погоны рыжему Паисию?

Только много позже я понял, что именно в те смутные и жаркие дни короткого волжского лихолетья усиленно и скрытно отработывало во мне всё саратовское прошлое – и разбитая усатым городовым ледянка на Гимназической, и красные банты на студенческих тужурках, и пристав Широков с его академическим пенсне, и пьянящие, ликующие выкрики «Марсельезы».

В мощном проявителе всех этих отрывочных, но сильных впечатлений добровольческий, самозванный погон Петьки Уварова стал всего суконным лоскутком, и моя мальчишечья душа перестала ему поклоняться.

– Итак, уходим в подполье? На Кобзарёвские хутора? – весело спросил дядя Костя, неожиданно встав в дверях. С веранды он, конечно, слышал весь разговор Уварова с Серафимой и вот пришёл сказать своё насмешливое и веское слово.

– Вот вам предметный урок на тему: как можно ошибиться при столь поспешном выборе политических идеалов. Сейчас это сложная вещь, – покачиваясь с носков на пятки своих стоптанных шлёпанцев, уже без улыбки

продолжал дядя Костя. – Но Рубикон перейдён. Поезжайте на хутора и отсиживайтесь от всего этого... кордебалета с мадам Курносой за чужие грехи. И думайте на досуге, что с вами произошло.

Но Пётр ответил дяде Косте яростно и мрачно:

– А что думать, Константин Михайлович? Я в прошлую ночь всё обдумал. Если бы вы видели его лицо! Там, на пристани. Ну, просто опричник. И пулю за пулей в затылок связанным. И эти всплески тел в чёрной воде. Ужас! Средневековье! Хуже инквизиции!

– Н-да, всё это, конечно, достаточно суровый вытрезвитель, – задумчиво и непонятно определил дядя Костя, видно, успевший поговорить с Уваровым о многом, пока мы купались в Линёвке. Пожалуй, общий язык они всё-таки нашли.

– Кстати, даже Наполеон Бонапарт расстреливал пленных, – звучал суховатый и чуть-чуть иронический дядин голос. – В египетской экспедиции. Но там это было вызвано суровой необходимостью – полный обоз своих раненых, холера, тиф, отсутствие продовольствия. Куда их было девать, пленных? Но садизмом там и не пахло. Война. А этот сукин сын... прости, свояченица... биологически ненавидит тех, кто...

– Нет, вы о чём? – испуганно спросила Серафима.

И дядя только угрюмо махнул рукой и насутился, а Пётр Уваров вдруг сказал сурово и прямо:

– О так называемых белых рыцарях, Симочка. Сегодня ночью Меньков на Самолётской пристани собственноручно застрелил шесть пленных красногвардейцев. Их ставили к открытому пролёту, и он из нагана в затылок – р-раз – и человек летит в воду. Потом сказал, выбивая из барабана пустые гильзы: «В Саратов с рапортом к товарищу Захаркину поплыли...»

– Садист. Кровью за свой лейб-гвардейский околыш получить хочет. Нет, уж если выбирать... – дядя не договорил и деловито посоветовал Уварову: – Однако вы, сэр, не засиживайтесь. На хутора так на хутора. А то и вас с рапортом в Саратов пошлют. У них это просто.

Но из сада с дымящейся миской вишнёвых вареников уже спешила тётя Ксана. Узнав о том, что Пётр дезертировал от своего кровавого покровителя, тётка ахнула, засуетилась и, забыв о варениках, убежала в комнаты. Через минуту она вернулась с полотняной торбочкой, из которой торчали пара хвостов вяленой воблы и острые пёрышки зелёного лука.

Дядя Костя невозмутимо накладывал шумовкой в глубокую тарелку розовые вареники с вишней и деловито советовал Уварову, уже без фуражки сидящему за столом:

– Ешьте. Это минутное дело, а солдат должен быть сытым... даже когда он дезертир...

Угрюмые дядины глаза не улыбались, но я-то знал точно, что он жалеет беглого реалиста. Ведь что-то общее в их судьбах теперь, несомненно, было. Только Уваров ещё не научился себя охранять всякими хитрыми бумажками, вроде той, от комиссии врачей Юго-Западного фронта. Над ними стояла Серафима и не отрываясь смотрела, как от энергичных движений челюстей Петра вздрагивает совсем мальчишеский хохолок. Она улыбалась мечтательно и жалобно.

А Уваров, уже кончая вторую горку вареников, сказал смущённо:

– Представьте, я совсем забыл, что не ел со вчерашнего обеда. Ой, ну и времена!

...И вот мы идём вчетвером к спуску на Сазанлей по нашему затихшему в полуденном зное саду. Уваров с Серафимой впереди, а я, отстав шагов на

пять, тащу на поводу упирающегося Росинанта, четвёртого нашего спутника, которому предстоит вынести на себе из чужой и недоброй компании саратовского реалиста Петьку Уварова.

Мы простились у самой воды, и Уваров поцеловал Серафиме руку, помедлил и, не отрывая от неё глаз, поцеловал другую, которую она тоже не отняла. Потом он с маху взбросил тело в седло, и Росинант покорно и не спеша пошёл в мелкую, затянутую зелёной ряской воду. А мы с тёткой ещё долго стояли на поросшем осокой берегу Сазанлея и смотрели ему вслед.

Над степью от жары и безветрия дрожало марево, поднимался мираж, и теперь Пётр скакал вовсе не к деревне Быковке, а к какому-то далёкому несуществующему лесу над повисшим в воздухе и тоже призрачным озером. И только час спустя, вернувшись на дачу, я вспомнил, что так ни разу и не покатался на его «строевом одре». Но сожаления почему-то не было. Вероятно, в этот тревожный и жаркий день кончилось моё детство и в сердце постучалась юность со всеми её горячими и властными запросами...

Когда мы, возвращаясь, подходили к даче, где-то совсем рядом призывно и насмешливо раздалось конское ржание, и Сорока испуганно ахнула и закусила губу.

У белого штакетника в ряд стояли три засёдланных коня, и их крупы светились от пота, как выкупанные. «Вольнопер» Уваров успел-таки убраться вовремя.

За столом на веранде сидел странно поважневший и изменившийся Паисий Сергеевич, уже в фуражке с офицерской кокардой и с дядиными новенькими погонами на плечах.

Дядя Костя, чётко ставя ноги, ходил по веранде, сердито попыхивая трубкой, а по напряжённому лицу тёти Ксаны было ясно, что рыжий Паисий приехал совсем не в гости.

– Я передам капитану, что ты заверил меня честным словом офицера... – строго говорил Паисий, однако избегая встречаться взглядом со своим бывшим одноклассником.

И это несоответствие строгого тона и виновато отводимых в сторону глаз можно было прочесть только так: кончилась ваша старая дружба, господа подпоручики из недоучившихся студентов. Время вышло. Гражданская война, штабс-капитан Меньков и сбежавший от него в степь Петька Уваров развели их, как разводит полая вода на крутом изгибе русла две долго пльвших рядом ветки одного дерева.

Но рыжий приехал не один. По лестнице, ведущей в мою мезонинную скворечню, раздались тяжёлые шаги подкованных солдатских сапог и ровное позванивание шпор. Только этого и недоставало на нашей вконец потерявшей покой даче.

Высокий и бравый фельдфебель, с окладистой старообрядческой бородой и сверкающей из-под неё георгиевской медалью, спустился на веранду, держа в руках полевую бинокль Карла Цейсса из Йены.

Белая солдатчина вторгалась в наше тихое убежище, не щадя ни памятных сувениров, ни игрушек. Я сразу вспотел и сказал возмущённо: «Зачем вы его взяли?» – но фельдфебель даже не посмотрел в мою сторону. Ремешок бинокля безнадёжно крепко был обмотан вокруг его волосатой ручищи.

За ним, придерживая драгунскую шашку, шёл солдат помоложе, и его лицо новобранца казалось окованым от важности и строевого усердия.

– Никого не обнаружено, господин подпоручик, – гулко сказал бородач, кладя «цейс» на стол перед рыжим Паисием, рядом с тарелкой недоеденных

Уваровым вишнёвых вареников. – Однако нужная вещица попалась. Штатским людям она вроде и ни к чему в такое время.

– Вот никак не ожидал, Паисий Сергеич, что ты будешь производить у меня на квартире обыск. Быстро ты, брат... пошёл в гору, – горько сказал Константин Михайлович, видно, в запальчивости даже не жалея и бинокля.

Лицо Паисия покрылось неровным румянцем.

– Что поделаешь, Кир, служба. Творю волю пославшего, – примирительно, но только одной стороной рта усмехнулся Паисий и служебно построжал опять: – Дело в том, что этот военнослужащий имел допуск к штабным документам. Если он передаст их противнику...

– Сопляк он, а не военнослужащий! – вдруг с холодным бешенством в голосе бросил дядя и, отодвинув с пути встревоженно подавшуюся к нему тётку Ксану, рывком взял со стола бинокль. – И запрети своим людям мародёрствовать. В русской армии это никогда не поощрялось. Я привёз его с фронта вовсе не для этого дуботола.

– Да забирай ты его, ради Бога! – сокрушённо взмолился рыжий Паисий. – Просто фельд по наивности перестарался. Ну, а засим прошу прощения за беспокойство. Особенно у вас, Ксения Петровна. Отправляйтесь... граждане.

Топоча сапожищами и задевая за стулья ножами шашек, солдаты пошли к коням. Паисий, помедлив, тоже поднялся, и под столом опять тоненько звякнули шпоры. Всегда любивший яркие декорации, он уже успел нацепить и их.

– А теперь не по службе, коллеги, – шёпотом сказал Паисий, дождавшись, когда солдаты сойдут с крыльца. – Мой тебе совет, Кир. Срочно смазывайся. Как только Меньков узнает, что ты отказался служить у нас...

– ...То тебя пришлют за мной? – тоже вполголоса подсказал дядя Костя и презрительно усмехнулся. – Ну что же, если у вас в обычаях расстреливать пленных, то почему бы не шлёпнуть заодно бывшего однокашника? Будь хоть последователен, Паисий Сергеич...

– Кир, Бог с тобой, опомнись! – испуганным шёпотом вскрикнул Паисий и прижал обе руки к нагрудным карманам. – Ты же знаешь, что я ему ничего не передам. Зачем же такой тон? Ну, я пошёл. Ещё раз прошу извинить, медам. Но, Кирушка, учти – узелок затягивается втугую. Не лезь на рожон.

Он потряс дядин локоть, может быть, и не решаясь протянуть ему руку, не уверенный, что дядя Костя её примет, и, звеня шпорами, сбежал с крыльца.

– Нет, ты всё же напрасно с ним так... – задумчиво сказала тётя Ксана, когда всадники выехали за калитку. – Что-то от прежнего Паисия в нём всё же осталось.

Но дядя прервал её презрительно и едко:

– Ну, и тем хуже для него. Дурак и размазня. Он всегда был бесхарактерным. Вот и залез... в грязь по самые уши.

Дядя долго стоял у перил веранды, глядя в степь и забыв в зубах потухшую трубку, а потом, обычно аккуратный, выбил из неё золу прямо об перила и спросил, не оборачиваясь:

– Сорока, твой... чичисбей сказал тебе, как называется тот хутор? Большой Осокорь? Это на Иргизе, кажется?

Потом опять долго молчал, слушая, как в саду, мелко стуча, падают на сухую землю подъеденные червем молодые яблоки, и глубоко вздохнул.

– Эх, дождя бы надо! А ты, Ксана, собери мне рюкзак. Ну их к чёрту, выроdkов! Надо уходить.

В тот вечер они долго не спали, и со своего верхотурья я хорошо слышал, что тётка плакала и в чём-то укоряла дядю Костю. А голос дяди гудел и бунжал, как большой шмель в жестяной банке. По-моему, он опять посмеивался над всеми её ночными страхами.

Но спастись на степных хуторах дяде Косте так и не пришлось. Мы пили чай с только начавшим входить в печальную моду сахарином, когда в настезь распахнутых оконных рамах мелко задребезжали все стёкла.

Орудийный выстрел ударил коротко и гулко, словно над Волгой саданули обухом по большому чану, да так увесисто, что треснули все обручи, и из чана, всё расширяясь, потёк сверлящий и прессующий воздух свист.

Лицо у дяди Кости сразу стало внимательно-заинтересованным, как у человека, наконец-тождавшегося настоящего дела, и он отставил в сторону недопитый стакан.

– Привет, Пётр Филиппыч, – сказал он насмешливо и бесстрашно. – Узнаю твой голос. И... поставь-ка ты их на место.

А воздух над нами расsverливало всё шире. Буравящий атмосферу тяжёлый металлический свист прошёл над дачей, словно высоко в небе пронесло оторвавшийся от состава гружёный вагон-пульман.

– Началось, пошли в погреб! – побледнев, решительно сказала тётя Ксана и зачем-то стала собирать со стола посуду. – После вчерашнего визита рыжего Паисия только артиллерийского обстрела нам и недоставало.

– Отставить панику. Это по городу садыт. Что посеяли, то и жнут, – меланхолически определил дядя Костя, продолжая прислушиваться.

Второй удар был полегче и напомнил треск лопнувшей над городом холстины. Над мутно золотыми куполами единоверческой церкви вспыхнуло круглое белое облачко разорвавшейся шрапнели, и тут же над Волгой грохнуло ещё раз.

– Не долёт. Им по коммерческому училищу надо бить. Там казармы, – всё так же деловито, но уже не так бесстрастно сказал дядя и поднялся из-за стола. – Димка, тащи бинокль! Полезем на крышу. Оттуда виднее.

– Сумасшедшие! – отчаянно сказал тётя Ксана и молитвенно сложила на груди руки. – Котя, если ты...

О чём пошла речь дальше, я не услышал, через три ступеньки помчавшись в мезонин за «цейсом», наконец-то приготившимся всерьёз.

По всему было похоже, что начинается настоящая война, пришедшая сменить злую и, пожалуй, бездарную «оперетку» штабс-капитана Менькова. Уж очень басовит и властен был голос впервые услышанной мною пушки.

Когда я вернулся с биноклем, дядя Костя затягивал на гимнастёрке широкий ремень со множеством всяких амуниционных пряжек и крючков. По-видимому, и на него расчёт самой обычной полевой трёхдюймовки или гаубицы тоже подействовал как призыв к чему-то до этого запрещённому.

– Теперь конец и Паисию Липнягову, доигрался в свои бульдоги, – убито говорила тётя Ксана, хотя в «бульдоги» играл совсем не рыжий Паисий, а Петька Уваров.

Но уже по всему было заметно, что тётка взяла себя в руки. И то сказать: чего шрапнельным снарядам было делать на нашей вынесенной далеко в сторону от всех войн и революций дачке?

А с Волги донёсся уже третий орудийный раскат, и ещё один гружёный пульман с воем пронёсся по невидимым рельсам над нашими головами.

– Нашла кого жалеть! Не надо в полевой жандармерии сотрудничать, – поморщился дядя Костя и кивнул мне с Сорокой: – Пошли, ребятки! Закат Менькова посмотрим. А там, пожалуй, и в город съездим...

Над крышей, ломко прогибающейся под ногой и гулкой, свободно тёк степной ветер, и Волга была видна вся до самой излучины за островом Пустынным.

Волга была густо-синяя, отлитая заодно с безоблачным небом из какого-то совсем не ржавеющего и не сдающего от времени сплава. Это по ней же когда-то ходили разинские струги, и по её же ночной ропчущей волне плыли в Саратов расстрелянные Меньковым пленные красногвардейцы. Вот она, русская Волга, голосом пушки и ответила штабс-капитану на его страшный рапорт.

Странное судно с двумя ажурными арками стояло среди пустой синей воды.

– Железнодорожный паром. Правильно. У этого корму отдачей не оторвёт, – непонятно сказал дядя Костя, не жалея гимнастёрки, укладывавшийся на ржавую крышу. – Ну-ка бинокль, Дима.

Но «цейс», на ремешке болтавшийся у меня на шее, тут же сорвала Сорока и теперь уже, стоя во весь рост на гулком железе, в белом платье, туго обтянутом ветром у её колен, с растрёпанной косой, жадно ощупывала выпуклыми стёклами Волгу.

Но то, что произошло дальше, было хорошо видно и невооружённым глазом: на пароме сверкнуло – и уже не один, а сразу три железных удара рванули воздух.

– Н-да, это вам, господа, не полицейский бульдог, – мрачновато усмехался, сказал дядя Костя. – Это она и есть... так называемая диктатура пролетариата.

Тройной хлёткий удар повторился ещё и ещё, звуки двинулись слитно, нагоняя друг друга, и небо над нами засвистело и заныло, просверленное тугими ходами снарядов. Белые и розовые облачка разрывов кучно повисли над городом.

– Пристрелялись. Теперь беглым садыт. Артподготовка к высадке десанта, – азартно сказал дядя и, поднявшись на локте, вырвал из рук Серафимы бинокль.

А железнодорожный паром, приземистый, прямоугольный, как всплывший со дна реки форт, бил и бил в три огненных свистящих бича по мятежному городку в степи. Обстрел вёлся методично, с машинной точностью, в темпе парового молота, работающего непрерывно.

Когда очередь на бинокль вслед за дядей Костей дошла до меня, «цейс» показал мне в своём чётком кружке низкий чёрный борт парома, над ним три игрушечные пушки и суetyающиеся возле неё зелёные фигурки артиллеристов. Пушки выплёвывали жёлтое пламя с точной очерёдностью – одна, другая, третья – и опять сначала. Было в этом деловитом артиллерийском огне что-то совсем не похожее на разрозненные пулемётные очереди и россыпь винтовочных выстрелов в первую ночь восстания.

– Да-с, господа, боюсь, что такого накала вам долго не выдержать. Школа не та, – задумчиво сказал дядя, опять забирая у меня бинокль. – Ах, чёткая работа! Новобранцам так не суметь. Кадровые пушкари.

В голосе его сквозило весёлое уважение. А пушки на пароме били и били, и над городком уже в двух местах встало чёрное помело густого дыма. Потом от низкого борта отошло несколько лодок, и люди в них были в чёрном, словно и не солдаты. Лодки одна за одной пошли к берегу, и над ними, как серебряное жнивье, встали ножевые штыки.

«Цейс» показывал всё уменьшенно, беспристрастно и точно.

– Пригнись, сударыня! Торчишь как факел, – строго сказал дядя, дёрнув Сороку за подол ярко-белой юбочки. – Дорога-то рядом!..

Только через четверть часа мы поняли, что он имел в виду. Его офицерские глаза, помнившие и Стоход, и Ней-Шидловец, видели всё связанное с войной, именно на эти решающие пятнадцать минут раньше самого совершенного бинокля.

А мне полевой «цейс» уже показывал свои уменьшенные панорамы высадки десанта, и я нарочно отполз по гребню крыши подальше от взрослых, чтобы они по очереди не забирали у меня бинокль.

Вспышки голубого и жёлтого огня над паромом всё учащались, теперь они напоминали издали искрение какой-то очень равномерно работающей динамо-машины. Той самой машины – хорошо продуманной в далёком полевом штабе войны против мятежников, перед которой были бессильны и сам Меньков, и рыжий Паисий, и Герасим Кабутько.

Всё новые лодки подходили к берегу, из них выскакивали одинаковые чёрные фигурки и густыми цепями широко и неуклонно шли к хлебным амбарам, к городку. В них даже не стреляли, и шли они без перебежек, не пригибаясь, в полный рост. И в этом размеренном движении чёрных фигурок тоже было что-то машинно-точное.

– Не завидую господам Меньковым. Это матросы. Штыки-то ножевые, «арисака», – уверенно сказал дядя Костя.

А Серафима, тоже уже начинавшая разбираться в обстановке десантного броска, всё-таки вырвала у меня бинокль и навела его в сторону городской окраины, выходившей в степь. Но теперь и без бинокля уже было видно, что густая толпа бегущих людей залила устье крайней улицы. Улицу словно тошнило чёрной толпой. Какие-то припавшие к сёдлам конники одичало скакали уже голой степью, далеко вперёд вырвавшись из толпы пеших. За ними мчались полные людей подводы, фурманки, тарантасы, и на передних уже можно было различить вплотную сидящих солдат.

– Всё. Финита ля комедия. Был Меньков... – отряхивая от ржавчины колени, удовлетворённо сказал дядя Костя и вдруг деловито спросил Серафиму: – Сорока, заднее колесо у нас опять спущено?

Но тётка не ответила. Опустив бинокль, она смотрела себе под ноги, и лицо её на глазах мертвело. Сухой треск винтовочного затвора скрежетнул совсем близко, и хриплый, полный ненависти и торжества мужской голос внизу отчётливо произнёс:

– А ну, беляки, слазь! А то сейчас в распыл. Ну, кому говорят?

Рябое лицо пожилого солдата, стоявшего под яблоней с наведённой на нас винтовкой в руках, было искривлено ненавистью. А за его плечами, также взяв трёхлинейку на руку, стоял ещё один солдат, помоложе, очень похожий лицом на первого, такой же широкоскулый и узкоглазый. Только вместо рябин он был весь в веснушках.

Это сама гражданская война во всей её жестокости и спешке в выводах всё-таки докатилась и до нашего дачного заповедника.

– Без паники, – негромко и твёрдо приказал нам дядя Костя. – Слезайте. Ни в коем случае не бежать. Говорить буду я.

Он, балансируя руками, пошёл по громыхающей крыше к лестнице – и два винтовочных ствола поднялись и замерли, не спуская его худой, подтянутой, такой неоспоримо военной фигуры с прицельных мушек.

– Батя, смотри, гранату бы не закатил, – испуганно и хрипло сказал солдат помоложе.

И стоявший впереди него прищурился и ещё крепче стиснул уже поднятую к плечу винтовку.

Теперь я разглядел его всего.

Он был в зелёной, обвисшей блинком фуражке, в обмотках на тощих ногах и больших порыжелых ботинках. А его выбившаяся из-под ремня гимнастёрка побелела на плечах от пыли и пота и была в каких-то бурых пятнах. И всё это было страшно именно своей обношенной походной солдатской нищетой и замурзанностью. Наши люди так не одевались.

Но страшнее всего было выражение лица солдата: очевидно, человек про себя уже решил всё, и никакими доводами здравого смысла, никакими словами его было не переубедить.

Под аккуратно побелённым стволом яблоньки стояла сама окопная ненависть ко всему офицерскому и ко всем, кто жил лучше и устроеннее.

– Руки вверх, золотопогонная сволочь! – рявкнул солдат и, не опуская оружия, пошёл к дяде Косте, спускающемуся по лесенке.

– Вот слезу и подниму руки вверх... как только освободятся, – спокойно и даже чуть ли не насмешливо сказал дядя и, спрыгнув на землю, действительно поднял руки и так, с высоко вскинутыми безоружными руками, но прямой и, казалось, вовсе не испуганный, встал перед солдатами.

– Митька, обыщи! И его, и эту... фрю. Ишь, наблюдательный пункт на крыше устроили, – всё так же зло сказал старший солдат и, пока Митька обхлопывал ладонями дядины карманы, продолжал держать винтовку навёрнутой прямо в голову дяде Косте.

К Серафиме, тоже соскользнувшей на землю и сразу сжавшейся за дядиной спиной, Митька вплотную подходить не стал и буркнул несколько возмущённо:

– А ну, повернись, что ль..

Так очевидно было любому, что девушка безоружна. На меня он даже и не посмотрел, словно меня и не было.

– Да ничего нет, – угрюмо сказал Митька и покосился в сторону дачи. – Надо в доме посмотреть.

– Неча смотреть. Офицер, ясно! – бешено, глухо сказал старший и, отшагнув назад, опять поднял винтовку к плечу. – Девка, отойди в сторону.

Серафима взвизгнула и закрыла лицо руками, а я, забыв обо всём, словно сдёрнутый ветром, кинулся к дяде Косте и, в голос заревев, обнял его поджарый живот, ещё больше подобранный от вытянутых кверху рук. Положим, я не обо всём забыл, и в этом истошном рёве была инстинктивная детская хитрость. Что-то мне подсказало, что как ни страшен этот прицелившийся в дядю красный, но стрелять в безоружного человека с поднятыми кверху руками, да когда возле него плачущий ребёнок, он нипочём не станет.

– Реви! Громче! – шепнул я и коротко лягнул ногой и так навзрыд плачущую Серафиму.

Тётка сразу заплакала ещё громче, и содом вокруг дяди Кости получился вполне театральный.

Но совсем посторонний всему столпотворению звук вдруг остановил наши вопли. Дядя Костя, бледный, со всё ещё поднятыми руками, смеялся. И так необычен был этот презрительный смешок, что солдаты опешили.

– Ну вы, артисты, прекратите этот спектакль! – сквозь смех сказал нам дядя Костя и, не спрашивая разрешения солдат, опустил руки на мои плечи.

Я сразу замолчал, чувствуя, что самое страшное позади и теперь стрелять моего дядьку уж наверняка не станут.

На веснушчатом лице солдата помоложе это было написано совершенно ясно. Старший, вдруг тоже опустив винтовку, всё ещё сердито прикрикнул на меня:

– Брысь, пацанёнок! – И подошёл к дяде Косте вплотную, приглядываясь к нему со злобным недоумением.

– Ты над чем, гад, смеёшься? Ты что, блажным прикинуться хочешь? Я из тебя дурь... – И замахнулся на дядю прикладом, но, так и не ударив, опустил приклад на землю.

– Ну, убьёте вы меня – дурачье дело не хитрое, а потом окажется, что в белых-то я не был. Вы разберитесь сначала, раз вы... солдаты революции, а не разбойники с большой дороги... – неожиданно и совсем не испуганно сказал дядя Костя, и такая спокойная рассудительность прозвучала в его голосе, что солдат опять искоса, но внимательно глянул ему в лицо.

Но как раз тут из-за веранды выбежала бледная до синевы тётка Ксана и тоже с плачем кинулась к мужу и, обняв его, замерла, заслоняя собственным телом. Сейчас в ней было что-то бесстрашно-жалкое и очень непривычное при её обычной мягкости.

– Вы... вы... убийцы! Вы не смеете его так!.. Он больной, он газами отравлен... и товарищ Захаркин об этом знает! – истерически кричала тётка, и её глаза с ненавистью и ужасом смотрели на солдат.

Только увидев брошенную на крыльце веранды корзинку с мокрым бельём, я понял, почему так опоздала к началу всё же не состоявшейся трагедии наша вечная труженица. Успокоенная дядей, которому она всегда верила, решив, что война нас и впрямь не касается, старшая тётка пошла полоскать в Сазанлее наши же трусики и рубашки.

– Ксаночка, успокойся. Мы в принципе уже договорились, – мягко сказал дядя Костя и осторожно оторвал руки жены от себя.

– Батя, да ну их к чёрту! Какие же это буржуи, если сами бельё стирают? – вдруг угрюмо засопев, вступился Митька. – Он-то ведь – вон и приютские сказывали – вроде не служил в беляках. Чего же на нём зло вывёрстывать?

Солдат постарше перевёл бешеные глаза на этого добродушного и рассудительного парня и вдруг, перехватив винтовку из правой руки в левую, замахнулся на него костлявым кулаком и срывающимся от злости и обиды голосом закричал:

– Молчи, белый жалельщик, паскудник, сучий блуд! Их баб пожалел, стерва конопатая! А они наших баб жалеют? Не видишь по роже – золотопогонник!

Но даже нам с Серафимой было ясно, что самое действенное напряжение его ярости прошло и человек ругается, лишь давая выход всегда обуравшим его недобрым чувствам ко всему, о чём напоминала подтянутая фигура дяди Кости.

– Ведь ты же офицер, гад! – брызгая слюной и трясясь, как на холодном ветру, кричал старший солдат. – Скажи, нет? Ты у себя на дачке белых привечал, пока мы в болоте скрывались?! И девка ваша с ними по садам таскалась, бесстыдница!

Он на минуту умолк и, переводя дыхание, сказал уже совсем трезво.

– Собирайся, в штаб поведём.

Но уже вытирала слёзы всхлипывающая Серафима, опять смущённо и устало улыбался веснушчатый Митька, а дядя Костя что-то вразумительно и неспешно говорил солдатам о Юго-Западном фронте и спасительных Кобза-

рёвских хуторах. Неужели это его только что чуть было не пустил в расход этот накалённый до бешенства красный?

Я, забыв и о плачущих тётках, и о спрятанном под курточку «цейсе», и о только что замолкших трёх захаркинских пушках на чёрном пароме, как бы медленно вывинчивался из того оцепенения души, в котором она, оказывается, и прозревает. Мне казалось, что даже яблоны вокруг нас стали темнее листом и ниже.

Ведь солдат запросто мог бы и застрелить моего бесстрашного дядьку, о котором он не знал ничего толком, кроме того, что у дядьки сохранилась военная выправка да на плечах зелёные петельки от снятых офицерских погонов. Откуда же она берёт истоки – эта нечеловеческая ненависть одних русских людей к другим, будто бы таким же русским людям?

Но люизит, помянутый Меньковым в кинематографе «Прогресс», череп и скрещённые кости, намалёванные на трофейном броневики, и беглый рассказ Уварова о ночном расстреле пленных на самолётской «конторке» (дебаркадере. – **Прим. автора**) точно отвечали на всё.

В жутковатом свете всех этих воспоминаний получалось, что нынешняя война, так по-штатски названная гражданской, совсем не имеет посторонних и случайно на ней ни в белые, ни в красные не уходят.

– Ладно, счастлив твой бог, офицер! – теперь уже не так тяжело сказал пожилой красногвардеец, ставя затвор винтовки на предохранитель и каменея своим рябым чёрствым лицом. – Однако собирайся. И девка ваша пусть собирается. Раз в деле беляки замешаны.

Опять в голос плакали тётки, но я уже, сбегав в комнаты и сунув под подушку «цейс», так впопыхах и не отобранный у меня красногвардейцами, держался наготове возле дяди Кости.

– Что ж, в штаб – это, пожалуй, правильно, – с невозмутимым спокойствием человека, знающего все законы войны, согласился дядя и опять послал меня в комнаты за фуражкой.

– Они же убьют тебя по дороге! – снова дрожал в воздухе истерический крик тёти Ксаны. – Ой, Костенька, не ходи!

Дядя Костя неуверенно улыбался и гладил бьющуюся у него на груди жену по вздрагивающим плечам, а лицо у него как-то странно и страшно, только половиной рта подёргивалось: верно, в нём опять всеми ранениями и нервогрёпкой откликался на нынешнее утро фронт. Но всё вокруг него уже стало другим.

– Да ты что орёшь-то, гражданка! – вразумительно и флегматично спрашивал тётку веснушчатый красногвардеец и страдальчески морщился от её истошного крика. – Ну, на кой пёс нам его бить, раз он сам идёт?

Теперь было видно, что этот добродушный увалень совсем молодой, чуть ли не ровесник Петьки Уварова. Пожилой солдат презрительно и каменно молчал, не желая снисходить до уговоров взбалмошной и неблагодарной барыньки. Это пренебрежительное нежелание тоже было написано на его тёмном из рябого камня лице.

– Дмитрий, смотри, не отпускай от себя тётю, – сурово, как взрослому и равному, сказал мне Константин Михайлович, надевая фуражку.

Но тёткина истерика наэлектризовала и меня – я уже опять не хотел знать ни белых, ни красных. Я просто очень любил своего дядю и не мог оставить его наедине с этим злым и вооружённым человеком в замызганной гимнастёрке.

– Тётя Ксана не маленькая, чего её караулить? – сказал я хмуро, становясь рядом с Сорокой и дядей Костей. – Пошли уж все вместе.

– Может быть, девчонку оставим? – совсем миролюбиво, как уже знакомого, спросил дядя, но старший солдат, вскидывая на ремень винтовку, остался немолчим.

– Никаких «оставим». В штаб! Там разберутся. С неё всё и началось.

– Да что тебе, делов других нет? – всё так же добродушно спросил пожилого солдата разительно похожий и непохожий на него Митька. – Ещё девок под ружьём таскать, срамиться. Веди сам, а я не поведу.

Он не торопясь провёл по краям самокрутки и затарахтел спичками. Потом сказал словоохотливо и беззлобно:

– У нас тут, видишь, мать у приютских в уборщицах работает, так народ на них, – он мотнул чубом в сторону уже окончательно успокоившейся Сороки, – обижается за белого гимназёра. Только я...

– Ладно. Разболтался, – хмуро оборвал его пожилой солдат, и Митька беззлобно и весело подмигнул дяде Косте.

– Пошли вперёд, гражданин. Пусть он сам её ведёт.

И столько весёлого спокойствия было в его голосе, что даже тётя Ксана отпустила дядину руку, а совсем пришедшая в себя Сорока вдруг быстрым шёпотом спросила юношу:

– А он вам кто? Не отец? – и показала глазами на пожилого солдата.

– Ага. Мы всей семьёй. Отец и нас двое. Только он одичал вовсе, в болоте лежучи... – просто и весело сказал парень.

Видно, несдерживаемое больше желание говорить с людьми и видеть в них не только врагов так и распирало его после трёх недель болотных скитаний.

– Ладно. Не спорь с ним, паренёк. Сходим до Петра Филиппыча, и так опоздали, – сказал успокоенно дядя Костя и потрепал меня по затылку. – А ты, Дымок, оставайся тут за старшего...

В ту минуту я, видя растрепавшиеся волосы и заплаканные глаза тётки, просто не мог послушаться, и мы вдвоём остались на даче, а дядя Костя, Сорока и Митька в ряд и пожилой солдат, чуть приотстав, ушли из сада. И сразу моё привязанное к дядьке сердце забило тревогу, и рябой солдат, прицелившийся в дядину непокрытую голову, опять встал перед глазами. Ну, этот опомнился, подкупленный рассудительным спокойствием дяди Кости, так не похожего на белого офицера. Ну а другие, разгорячённые стрельбой и преследованием кинувшегося в степь врага? Ведь петельки от погон ещё остались на дядиных плечах, и фуражка, и ремень были офицерскими. Нет, на худой конец даже мои тринадцать лет опять могли в нужную минуту пригодиться дяде. Кто же станет стрелять в мальчишку, если он прикроет собой дорогого ему взрослого человека, никогда не бывшего белогвардейцем? А я вот остался... Чувствуя себя почти предателем, я сурово сказал тётке:

– Нет, как хотите, а я пойду за ними. С дороги он меня не прогонит. И... чего мне бояться? Мне же тринадцати ещё нет. Правда?

Может быть, просто растерявшись от моего укоризненного натиска, а может быть, и правильно поняв мою детскую веру во взрослых людей, ни при каких обстоятельствах пока ещё не способных стрелять в ребёнка, но тётка заколебалась. Я это сразу почувствовал и вовремя сказал:

– Вот ты не видела, как он приложился из винтовки в Костю, а мы с Сорокой подняли крик – и Митька вступился...

– Хорошо. Иди, Димочка. Оберегай его. Дай я тебя переkreщу, маленький мой мужчик... – взволнованно сказала тётка, но я, не дожидаясь её благословения, кинулся следом за всей группой. Ведь ещё весной мы чуть не всем классом решили, что Бога нет, и стали задавать законоучителю отцу Василию всякие каверзные вопросы о сроках сотворения мира.

Я бежал, как бегает, перегрызши верёвку, верная собака за любимым хозяином, не захотевшим взять её с собой в лес, позабыв, что там водятся и волки, и змеи, и чёрт знает что ещё.

Дядя Костя, дядя Костя! Чувствовал ли ты моё запалённое дыхание в километре (тогда он звался верстой) за спинами твоих конвоиров? Меня несло на предельной скорости здорового тринадцатилетнего мальчишки, несло как бы горячим ветром, дующим в спину с силой не меньше девяти баллов. Белое платье Сороки, словно тоненькая прямая свечка, мелькало уже возле самых багрово-красных кирпичных коробок недостроенного маслобойного завода.

Блёкло-зелёные фигурки солдат по обе стороны младшей тётки были почти не видны – так их стирало опять поднимающееся над степью марево. Зато прямая чёрточка потемнее – сам дядя Костя – была видна отчётливо, и я пошёл потише, держась ближе к плетням бесконечных бахчей и огородов, опоясавших окраинную слободу, чтобы дядя, оглянувшись, меня не заметил.

Мост через Сазанлей, открывшийся за моими плечами, как большая деревянная буква «эм», возвышался над степью своими двумя решётчатыми перекрытиями. Теперь он был далеко справа, и прямо над ним курилась маревом совершенно пустая степь; но на голом холмике за мостом ещё копошились люди, издали похожие на зелёных муравьёв, и на фоне синего неба был отчётливо виден куполок бронированного автомобиля, может быть, и того самого, что неделю назад был провезён по Дамбе.

«За мост-таки Меньков зацепился», – сразу подумалось мне, и вдруг почему-то стало обидно, что с ледакольного парама этого не видят: мешали сады и поросшая дубками пойма. А плетни, огородившие тучную зелень бахчей, с кулачками голубовато-палевых жёлтых тыков, с тугой завязью уже начавших наливаться дынь и арбузов, подходили к концу. За ними в запахах кизячного дымка и свежего сена, в мягкой плюшевой пыли, в звенящем слепнями зное лежал купеческий городок. Защёлкнутый на все свои ставни и засовы, он лежал, зажмурясь, совсем как нашкодивший кот.

Но необычность происходящего бросилась мне в глаза на первом же перекрёстке слободских улиц.

Никогда до этого я не видел конных моряков, и этот матрос показался мне величественным и очень красивым. Он сидел в седле с щегольской небрежностью человека, занятого давно и основательно знакомым делом, а его новенький винчестер был упёрт затыльником в луку седла, и бутылочные гранаты тускло поблёскивали на широком поясном ремне.

Ветерок, тянувшийся с Волги, любовно, по волоску перебирал чёлку его неподвижного и большого, как памятник, коня и пошевеливал золотыми якорями ленточек, свисавших на синий воротник. И надпись на бескозырке над бронзовыми кудрями военмора была вполне под стать всему духу необычности нынешнего утра.

«Всадник», – нимало не удивляясь, прочёл я. Выходило, что Мишка Усачёв, сын волжского капитана и мой одноклассник, не врал, и морская кавалерия всё-таки действительно где-то существовала.

– Эй, пацан! Куда? – негромко и не особенно строго спросил конный матрос.

– А... к товарищу Захаркину, – вспомнив грозную фамилию, которая навсегда переплелась во мне с этим тревожным утром, с пушками на железнодорожном пароме и с бегством белых, сразу нашёлся я.

Матрос не удивился. Не только бронзового оттенка конь, но и сам он своим эпически былинным спокойствием напоминал памятник.

– На что он тебе, товарищ Захаркин? – спросил этот необычный матрос густым, обветренным голосом, и то, что он, чужой, далёкий скиталец морей, будто бы знает нашего уездного военкома, опять-таки меня не удивило, так символична сейчас была эта простецкая русская фамилия.

– Да... к нему в штаб человека повели. За дружбу с белыми. Только это ошибка.

Матрос посмотрел на меня пристально, и усмешка его на минуту стала недоброй.

– За дружбу с белыми в другой штаб водить надо, в духонинский. Ну, а тебе что за печаль? Какого человека?

– Дядю моего. Но он не виноват. Его оговорили, – проглотив горячую слюну, упрямо и жалобно сказал я.

– Ну, а не виноват, так отпустят. Нам тоже неинтересно невиноватых налево пускать, – рассудительно и опять-таки без особой строгости определил матрос и погладил потную шею своего огромного бронзового коня. – Так что тебе у Захаркина делать нечего.

– Нет, есть что! – неожиданно даже для себя выпалил я, чувствуя, что с этим эпическим и величавым, как статуя, моряком можно говорить откровенно. – Виноват-то я, а не дядя. Это ж я соблазнил Сороку идти в кино с Уваровым, а люди видели...

Матрос пристально глянул на меня с высоты своего драгунского седла, и в глазах его мелькнула весёлая искра.

– Ну вот, теперь сороку какую-то выдумал. Какая там ещё сорока? А если ты виноват, так тебя ведь и шлёпнуть могут. Ты как думал? Знаешь, какое время?

Великодушный, как всякий победитель, уверенный в правоте своего дела, он уже смеялся надо мной. Но я только протяжно шмыгнул носом – страшные слова конного матроса до меня как-то не доходили. Я слышал лишь насмешливые оттенки голоса, видел его белозубую улыбку да игру света в прищуренных, совсем не строгих глазах.

– Не шлёпнут. Мне ещё четырнадцати нет, – беспечно сказал я и тоже засмеялся: – Так я пошёл?

– Иди. Шут с тобой, раз четырнадцати нет, – вдруг, широко зевнув, решил матрос, и я, не удержавшись, всё-таки спросил:

– А вы и на море в кавалерии служили?

Матрос опять засмеялся и ответил совсем непонятно:

– В кавалерии. На миноносцах.

Я отошёл уже шагов на двадцать, когда необычный матросский кавалерист окликнул меня ещё раз:

– Эй, пацан! Обоз-то их весь в степь ушёл или как? Ты не видел?

– Обоз-то ушёл, а броневик у моста остался, – не задумываясь, крикнул я и вдруг почувствовал, что именно с этих сгоряча сказанных слов для меня началось что-то необычно новое и вовсе не похожее на то, что было за минуту до этого, и возврата к вчерашнему мне уже нет.

Ещё минуту назад я был в глубине души почти одинаково нейтрален и к белым, и к красным. А начиная со слов, сказанных о меньковском броневике, я становился союзником конного матроса Петра Филипповича Захаркина, вообще всех красных.словно я шагнул через самую обычную трещинку на прокалённой засухой земле, а трещинка вдруг разошлась в целую пропасть, разделившую мир.

Но дядя Костя, Серафима и их конвоиры, пока я разговаривал с матросом, ушли далеко вперёд и уже завернули за угол. Выход теперь был только один – искать их в мальцевском особняке, где до восстания помещались все советские учреждения городка.

Знакомая, поросшая пыльной муравой Николаевская улица была и та же, и уже не та, что вчера и третьего дня. Казалось, и синее небо, только что вспыхивавшее белыми облачками шрапнели, и самый воздух над улицей стали другими после того, как по нему хлестнули калёные горошины этой всё решающей шрапнели. Даже голубая, знакомая с детства вывеска «Статский и военный портной И. Я. Лаптев» показалась мне неуместно яркой и ненастоящей, как забытая театральная декорация давно окончившегося спектакля.

Всё вокруг изменилось и посуровело за это необычное утро, продутое горячим дыханием трёх захаркинских пушек.

В угловом шатровом доме булочника Чельшкина не уцелело ни одного стекла, а возле крытой железом скобяной лавки Колчина зияла широкая воронка, был рассыпан ящик подковных гвоздей и валялся мёртвый петух, издали казавшийся догорающим маленьким костром – так огненно-ярко под ветром было его оперенье.

Попавшийся мне навстречу матросский патруль – три весёлых великана с распахнутой, полосатой от тельняшек грудью и татуировкой на руках – не обратил на меня никакого внимания, и я без особых приключений добрался до базарной площади.

Подстриженные, как мальчишки, молоденькие липки шёпотом переговаривались с тёплым ветерком, ровно тянувшим из-за Волги – ни деревьям, ни ветру не было никакого дела до гражданской войны. Они были сами по себе. Но я уже не был сам по себе. Вероятно, это началось с того вечера, когда в кинематографе «Прогресс» показывали «Каинов дым» и штабс-капитан Меньков проговорился о люизите.

Липки, посаженные вокруг каменного забора, оцепившего мальцевский дом, зелёной шумливой стенкой ограждали его от пыли и мусора, летевших с базарной площади.

Вокруг этих липок и вымощенных кирпичом тротуаров мальцевского подворья до самой Сретенской церкви бурлил разноголосым говором и шумом ещё не виданный мною военный бивуак.

Дымила походная кухня, зелёные обшарпанные пулемёты, словно таксы на задних лапах, сидели на двух окованных железом фурманках, и гололобые матросы-пулемётчики играли в шашки возле своих смертоносных машинок. Вдалеке, по длинной и плоской улице, ведущей к Волге, густо стояла пыль, а из пыли, постепенно яснее и приближаясь, наплывал ровный строевой топот многих ног. Плотно сбив ряды, покачивая сизый гребень штыков над плечами, с пристани шла зелёная пехотная рота. От роты пахло махоркой, потом, волглой шинелью и чем-то ещё мужественным и, пожалуй, даже весёлым.

Загорелые потные лица, красные звёздочки над козырьками и сизая гребёнка штыков над всем слитно протекли мимо меня.

Я стоял между двух пулёмётных фурманок, на минуту забыв, зачем сюда пришёл, – так этот молчаливый и слаженный человеческий поток был не похож ни на мордатых гармонистов из кулацких сынков на Дамбе, ни на горластую конную орду восставших хуторян, после первой же шрапнели кинувшихся в степь впереди своего обоза. Это шла армия, уже имевшая своё лицо, знамя и дисциплину.

– Р-ро-та... стой! К но-о... ге!.. – с каким-то особым строевым щегольством старослужащего унтер-офицера гаркнул невысокий человек с запорожскими чёрными усами и в нерусской шапочке пирожком.

Колонна пыльно-зелёных людей отчётливо шагнула ещё раз и замерла. Глухо, как молотки, брякнули в утопанную базарную землю приклады.

– Вольно! С мест не сходить, – потише распорядился усатый и уже совсем обычным голосом спросил сидевшего на фурманке и жующего ломоть ситника матроса-пулемётчика: – Захаркин где, не видал?

Матрос, продолжая жевать, махнул рукой в сторону крытого фигурной жестью подъезда мальцевского особняка.

Оказывается, эту фамилию знали одинаково и белые, и красные. Сразу вспомнив, зачем я пришёл сюда, я зашагал следом за усатым командиром. Где же дяде и быть, как не у Захаркина?

В лад шагам по бедру усатого постукивала большая деревянная коробка маузера, похожая на окорок, совсем такая, как у Герасима Кабутько. Из коробки торчала та же чёрная рубчатая рукоять, но я как привязанный шёл за усатым комроты, не сводя глаз с этой массивной коричневой ручки настоящего боевого оружия.

Ни страха, ни отвращения в моей душе не было – в той стороне, куда я шёл за усатым пехотинцем, пленных и перебежчиков, по-видимому, не убивали.

– Я с товарищем командиром, – бесстрашно соврал я часовому в дверях, сам дивясь, как складно это у меня получилось.

Но часовой не обратил на меня внимания. А может быть, это был вовсе и не часовой, а просто так стоял, опираясь на винтовку, один из десантников.

В коридоре не подметали целую неделю, и на полу среди порванных бумажек сидел на ящике широкогрудый человек в матросской тельняшке с непонятными золотыми буквами на бескозырке: «Лиин. кор. Павел Первый» – и перебинтовывал раненую ногу. И хотя яркие пятна на свежих бинтах не успели побуреть, он был возбуждённо весел, рассказывал что-то совершенно непонятное окружавшим его таким же грудастым и плечистым матросам.

– Ах ты, думаю, фор-брам-реем тебя по черепу! Ну, хорошо ещё не под ватерлинию. Так-то я, можно сказать, на плаву и из ветра ещё не вышел, пойду на фордевинд, – успел я разобрать и удивился: говорил человек вроде наполовину и по-русски, а вот разбери, о чём.

Но дальше всё пошло ещё более необычно. Усатый поправил на голове свой зелёный пирожок, широко открыл белую двустворчатую дверь, и я проскользнул вслед за ним в большую залу, полную народа.

– Товарищ комиссар! Первая рота прибыла! – щеголевато бросил ещё от самых дверей усатый, одновременно поправил ремень, деревянный окорок на бедре, с треском приставил каблук к каблуку и дорубил: – Жду приказаний!

Но в зале ему никто не ответил. Тут только я увидел того, к кому он обращался, и в первую минуту даже растерялся от неожиданности разочарования – настолько легендарный комиссар Захаркин был мало похож на военного.

Во-первых, у него не было ни усов, ни оружия, ни сколько-нибудь величественной осанки, во-вторых, его тонкий, с горбинкой нос оседлало совсем штатское пенсне с тоненькой цепочкой, и волосы на непокрытой голове лежали чёрным вороньим гнездом, огромной вьющейся шапкой.

Комиссар стоял у большого старинного телефона и, счастливо смеясь, кричал в трубку размером с доброе топориче:

– Только не увлекайся, Петрович! За степью следы. Дальше паровой мельницы не лезь. Сейчас мы тебе морячков подбросим..

На военном комиссаре была кремовая рубашка с отложным воротником апаш и зелёные бриджи. Поношенная кожаная тужурка с костяными пуговицами вместе с полевой сумкой лежала на столе.

Худое энергичное лицо комиссара, вероятно, от непокрытой кудрявой головы казалось мальчишеским, и даже строгое пенсне не делало его старше, напоминая тех модничающих гимназистов, которые с седьмого класса играют «под студента».

В зале было сверх всяких мер накурено, пахло казармой и было совсем не по-штабному весело и людно.

– Так и знал! Они зацепились именно за него. Вашей роте придётся занять мост через Сазанлей. Дорогу вы не знаете? Сейчас что-нибудь придумаем, – бросив трубку, спросил военком у командира пехотной роты и накрепко, словно свинчивая их, потёр ладонь о ладонь. – Эх, бегут господа Гольцы-Черновы. Не удастся и словом перемолвиться со старыми знакомыми.

Я, словно вынырнув из-под быстро несущего плота, оглядывался по сторонам, разыскивал дядю Костю и Сороку, но их в толпе, плотно, как в очереди, забившей залу, не было видно.

Новый, необычно яркий, шумный и почему-то совсем не страшный мир омывал меня, словно тёплые воды никогда невиданного южного моря, – столько было вокруг синих матросских воротников, загорелых, обветренных лиц, золота корабельных названий и якорей на ленточках. Неужели эти нарядные и весёлые парни и звались в листовках Самарского комуча озверелой ордой большевистских наёмников?

Перекрещенные пулемётными лентами, грузные, как першероны, они разбирали из ящика, стоявшего посреди зала, блестящие жестяные бутылки ручных гранат, обрывками газет стирали с них арсенальную густую, словно повидло, смазку, прилаживали к поясным ремням, смеялись и говорили о своём, корабельном.

Но на улице под самым окном вдруг лихо вскрикнула та же самая, что и была на Дамбе, саратовская гармонь-двухрядка, зашлась колокольцами переборов, рассыпалась серебряными звоночками, и высокий голос задорно запел:

*Офицерик молодой, шпоры ясные,
Д'утекай на Кавказ, идут красные...*

Частушка, переплыв Дон и Волгу, пришла к нам из-под самого Екатеринодара, где такие же матросы и красногвардейцы уже наголову разбили корниловских первоходников. Дух воинской удачи парил над матросским десантом.

Вдруг увидев в самой гуще голубых воротничков бледное лицо Серафимы и зелёную фуражку дяди Кости, я на цыпочках между матросами стал пробираться к своим полурестованным родственникам. Человек у стола, несмотря на совершенно штатское пенсне, был, несомненно, главным всей этой весёлой матросской вольницы, и добиваться справедливости следовало только у него.

Я дёрнул Сороку сзади за пояс и сказал шёпотом, чтобы не услышал дядя Костя:

– Да ты не раскисай! Ничего не будет. Подумаешь, фигура – Уваров!..

Серафима, вздрогнув, оглянувшись, ахнула и возмущённым шёпотом спросила дядю Костю:

– Нет, вы видели такого ослика? Припёрся.

Но как раз в эту минуту рябой солдат гулко сказал, проталкиваясь к столу под телефоном:

– Товарищ комиссар, прими от меня задержанных. Вот это бывший офицер, а девчонка...

Но, не дав ему досказать, чётко шагнул вперёд дядя Костя. Голос его прозвучал достаточно твёрдо:

– Я могу видеть товарища Захаркина? Мне необходимо поговорить с ним.

Я понял только одно, что этот весёлый молодой человек в пенсне хоть и комиссар, но вовсе не товарищ Захаркин, и опять испугался за дядю. Раз никто здесь его не знает, то как же он теперь докажет, что всё восстание пролежал в гамаке, а не служил у белых?

Все разговоры вокруг нас сразу оборвались, а комиссар, безмятежно разглядывая упёршегося ладонями в стол худого человека в защитном, верно, ещё не выключаясь из весёлого круга только что пережитых событий, продолжал улыбаться.

– Эй, духи боговы, разберись по бачкам, становись за кашей! Харчиться будем, – кричал во дворе озорной звонкий голос, а под самым окном другой голос, басовитее и старше, поучающее гудел:

– А на табличках тех было написано: «Запрещается». И дальше следовало: «Водить собак, мять газоны, рвать цветы, заходить нижним чинам...» А то придумал: «Собакам и солдатам вход запрещён». Нет, ты говори, как было...

Но матрос в пулемётных лентах, перевалился полосатой грудью через подоконник, высунулся из окна и сказал тяжёлым, обветренным басом, сразу заглушившим все шумы двора:

– Эй, фокусники, потише там! Не время.

Слово «офицер» шелестящим недобрый шёпотом пошло от матроса к матросу, словно ядовитое и злое насекомое, расплзаясь по всему залу, и я уже чувствовал его затылком и спиной, так ясно стало, что офицеров здесь не любят.

Матросы, послезав с подоконников, поднявшись от стен, вдоль которых они до этого сидели, зажав винтовки в коленях, сгрудились вокруг дяди Кости, разглядывая его с молчаливым и угрюмым любопытством, а мне становилось всё больше не по себе. Ну, и чего дядя так прилип к своей зелёной гимнастёрке и диагональным галифе? Ходил бы уж лучше, как Паисий когда-то, в старенькой студенческой тужурке.

– Молодой дракон, форсистый, – презрительно сказал за моими плечами чей-то насмешливый и недобрый голос, и люди вокруг нас знающе хмыкнули.

Не только я, но, вероятно, и дядя Костя, всего лишь пехотный «фендрик», полных три года просидевший в окопах, не знал, что подобным словом на флоте называют офицеров. Но и нам было уже ясно, что на языке всех этих бесшабашно смелых парней, лишь временно списанных с миноносцев и крейсеров на великую российскую сушу – Революцию, слово это ругательное и его зловещий смысл ничего хорошего предвещать не может.

А тот, кого называли комиссаром, из-за льдинок пенсне смотрел на дядю Костю, словно ещё не видя его, опьянёнными победой молодыми светлыми глазами и улыбался.

В зале стало так тихо, что я отчётливо услышал, как под окном жуют овёс лошади, привязанные к изгрызённым коновязям.

– Тьфу ты, чёрт! Задумался. Где вы, товарищ, задержали этих... граждан? – удивлённо спросил комиссар и тоже нахмурился.

Словно тонкий ледок его пенсне сразу передался построжавшим глазам. Из них, молодых и ясных, наспех уходило шалое выражение радости.

– В садах на Сазанлее, товарищ комиссар. Они там в даче живут. Совместно с учителькой. Про учительку, верно, плохого не слышно. А это ейный муж, офицер, значит, бывший, и у него белые бывали. Также и сестру учителькину забрать пришлось, тоже всё с белым одним прогуливалась... – пространно заговорил рябой солдат.

И я уже готов был простить ему всё за одно это правдивое многословие. Ведь чего бы он мог наговорить здесь под диктовку своей недавней запальчивости! А вот, откипев, сказал только правду.

– Один всего вопрос, товарищ начальник: как бы мне повидать уездного военкома Захаркина, если он здесь? – повторно спросил дядя Костя, и молодой человек в пенсне и рубашке-апаш, так до смешного не похожий на грозного матросского комиссара, прервал его вежливо, но строго:

– Давайте условимся: спрашивать буду я. На что вам Захаркин? Вы служили у белых?

Но, несмотря на вежливый тон вопроса, было совершенно очевидно, что уже думает он сейчас обо всём, в том числе и о всех бывших офицерах, и даже об этой неуместно красивой, будто бы посторонней здесь девчонке с толстой косой, суровыми категориями гражданской войны и революции и что в людях его интересует прежде всего их отношение к двум этим предметам.

– Не служил, – точно ответил дядя Костя и принялся расстёгивать нагрудный карман гимнастёрки, где были все его документы.

– А кто может подтвердить? Кого вы знаете из местных советских работников?

Дядя Костя только пожал плечами. Приехавший недавно, он не знал никого, кроме уездного военкома, а его имени дядя на этот раз не назвал, вероятно, решив, что и Захаркин, с боем вырвавшийся из Балашина в ночь на четвёртое июня, ничего уже подтвердить не может.

– Боже мой, да покажите вы им эту бумагу! – вдруг сердитым шёпотом посоветовала Серафима. – Ведь должны же понять люди...

Дядя Костя не сразу достал из нагрудного кармана скользкий бумажник, и, пока он его открывал и вытягивал из его тощего нутра врачебную справку, матросы внимательно и хмуро смотрели на его худые тонкие пальцы и на потёртую кожу бумажника.

Комиссар так же внимательно и невозмутимо прочитал дядину охранную грамоту вплоть до хвостатых подписей и кружка лилового текста на большой, как ватрушка, печати, даже чуть-чуть повернув бумажку к свету, разбирая мелкие буквы на печати.

Прочитав, он без слова отдал справку дяде Косте, и в лице его что-то опять изменилось.

Всё-таки два ранения и обожжённые газами верхушки лёгких были достаточным поводом для сочувствия человеку, чья причастность к службе у белых была ещё не доказана.

Но рябой солдат, среди рослых и щеголеватых матросов казавшийся особенно замурзанным и невзрачным, вдруг сказал, не сводя с комиссарского пенсне своих требовательных и угрюмых глаз, словно отстаивая какое-то своё неоспоримое право решать судьбу задержанного им бывшего царского офицера.

– Разрешите, товарищ комиссар, его благородью вопрос задать? Ну, ладно, не служил. Я ж и не говорю, что служил. Это я тебя только сгоряча чуть не

шлёпнул, уж очень на вашего брата душа горит, а так я понимаю: не служил, значит, казни не подлежишь. А вот белых пошто привечал? Уж это-то точно известно.

Была в его грубоватой речи, в самой фигуре, в строгих глазах какая-то настойчивая, сердитая убежденность. Человек искал и защищал только одно – свою трудную и, казалось, ускользающую от него правду. Вот привёл в штаб золотопогонника, скрытого врага, а тут с ним разговоры разговаривают. А он, известно, учёный, выкрутится.

Дядя Костя согласно кивнул, словно понимая, что происходит в душе этого обтрёпанного фронтовика, но ответил всё-таки не ему, а комиссару:

– Совершенно верно. Белые у меня бывали. Дважды бывший реалист Уваров, потом дезертировавший из их... банды, то есть армии, и дважды же подпоручик Липнягов, мой товарищ по гимназии: раз – с приглашением идти к ним на службу, и второй – с обыском, чтобы установить, не прячу ли я Уварова у себя.

Солдат только насмешливо и презрительно вздохнул.

– Ладно. Оправдался. Выходит, зря я, товарищ комиссар, на его золотопогонное благородие и время тратил? Лучше бы просто его под деревом стрелить. Оправдался, значит? А я считаю, раз не с нами...

Но его всё так же вежливо и строго прервал комиссар:

– И правильно считаете. Но тут проблема несколько иная. С белыми один разговор, с мирным населением – другой. Ну, и последний вопрос, гражданин Трубников. Почему вы, бывший кадровый военный – этого вы не собираетесь отрицать? – отказались служить в белой армии?

– А с какой, собственно, радости мне у них служить? Ни поместий, ни фабрик вы у меня не отбирали. Погоны я сам снял, раз народ на них так обозлён. Выходит, не по пути мне с этими... меньковыми... – криво усмехнулся дядя Костя, но по его усмешке я понял, что в душе он всё больше успокаивается, поверив в рассудительность комиссара.

– Теперь-то вам всем не по пути, когда шрапнелью прочесали, – вдруг без особой злобы сказал высоченный матрос с таким пушистым и развесистым чубом, что из-за него нельзя было прочесть корабельного названия на ленточке.

Вокруг стола довольно засмеялись, а дядя сказал равнодушно и также без всякой злобы:

– А меня и немцы, и австрийцы три года подряд прочёсывали. Уж и волос не осталось.

– Ишь ты, его благородие форса не теряет, обкуренный, – насмешливо гукнул чей-то внушительный бас, и комиссар вдруг спросил совсем добродушно:

– Ну, и большой чин у вас был?

– Не очень. Перед самой революцией подпоручика получил.

– Не из студентов.

– Со второго курса Петроградского политехнического.

– А их видать. У нас в дивизионе был один прапорщик по адмиралтейству, так они даже разговором схожи, – уже совсем миролюбиво вспомнил кто-то из самых молодых матросов.

Мы с Серафимой не переставали удивляться, как же они на глазах изменились, все эти хмурые сигнальщики, всего два часа назад с ножевыми штыками наперевес, не сгибаясь, ходившие на белых мятежников.

Что значит поверить человеку, что он не держит за пазухой камня!

Словно подтверждая наши мысли, молодой человек в пенсне негромко и задумчиво спросил не то себя, не то окруживших его стол матросов, но обращаясь к дяде Косте:

– Так что же нам с вами делать, бывший подпоручик? Ранения-то у вас тяжёлые были?

– Чепуха. Царапины, – неожиданно и совсем беспечно ответил дядя Костя.

И матросы теперь уже уважительно затихли, словно заново приглядываясь к фронтовику, который и в таком сложном переплёте не хочет воспользоваться всеми привилегиями фронтовых ранений.

– Товарищ комиссар, да пусть идёт домой человек! – вдруг гулко на весь зал сказал с подоконника военмор с забинтованной ногой, и сразу несколько голосов поддержали его из зала.

– Пусть идёт! Чего с него взять, раз не единожды раненный на германской? У него и так одни глаза да скулы! Зря ты его, солдат, таскал, нечего тебе делать...

Но Константин Михайлович только успокаивающе кивнул своим неожиданным защитникам и, взяв Серафиму за плечи, поставил её между собой и комиссаром.

– Что касается меня, то разрешите подождать здесь товарища Захаркина, раз уж к нему дорога привела, а вот эту юную особу уж я попрошу вас допросить лично и, по возможности, поскорее выгнать, а то дома старшая сестра с ума сходит...

Взгляды всех обратились к Серафиме, она сразу покраснела и натуго стиснула свой лакированный пояс.

Комиссар осмотрел мою тётку от каблуков до причёски, в глазах его опять мелькнуло весёлое недоумение, но оно тут же спряталось за льдинками пенсне, и он серьёзно спросил рябого красногвардейца:

– А эта юная гражданка за что задержана?

Среди матросов кто-то громко вздохнул и сказал недовольно:

– Ты бы ещё вон огольца забрал. Заставь дурака Богу молиться...

Но рябой красногвардеец только угрюмо покосился в сторону Сороки, словно приглядываясь к ней заново, и мрачно доложил:

– По слухам, с белым гимназёром гуляла. Да пусть она вам сама расскажет. А мне дозвоьте идти, товарищ комиссар. Второй день я на одной стороне да сыроежках. Чёрт её разберёт, эту... мелкую буржуазию.

Он ушёл после кивка комиссара, протискиваясь между улыбающимися матросами, пожилой русский пехотинец, кровно ненавидевший белых золотопогонников и прочих эксплуататоров, но в здравом рассудке не согласный возводить напраслину даже на своих врагов.

Дядя Костя проводил его глазами, и в них засветилось печальное недоумение: неужели этот усталый, голодный и, оказывается, вовсе не жестокий человек всего час назад чуть было не снёс ему череп? Что же с вами происходит, русские люди? И кому его сейчас адресовать, тяжёлый счёт за ненависть, копившуюся веками?

Если бы дядя спросил меня об этом вслух, то я, пожалуй, напомнил бы ему имена штабс-капитана Менькова, пристава Широкова и, конечно, нашу самолётскую «конторку» с открытым пролётом, о которой так жутко рассказывал не нашедший своего белого рыцаря дезертир Петька Уваров. Уже кое-какие уроки простейшей политграмоты в то жаркое лето восемнадцатого года я научился усваивать.

Но дядя ни о чём меня не спросил. Он, улыбаясь, смотрел на матросского комиссара и радовался тому, что в руках этого насмешливого и умного человека никому не нужная трагедия обращается в фарс.

А комиссар, тоже улыбаясь, смотрел на Серафиму и молчал, видно, давая ей собраться с мыслями.

На фоне тяжёлых матросских торсов моя младшая тётка казалась особенно тоненькой, хрупкой и совсем не по времени нарядной, словно пёстрая бабочка, залетевшая в чёрный муравейник.

– Значит, была знакома с белым гимназистом? – укоризненно спросил комиссар и вдруг покрутил головой и засмеялся (чёрт знает, с чем только ему не приходится возиться!): – Но он, кажется, дезертировал, ваш гимназист? Куда, неизвестно?

– Дезертировал, конечно, – сурово ответила Серафима, уже до трещинок перекручивая свой лакированный поясок. – На хутора уехал и лошадь у них угнал.

– Чудак-солдат, – негромко и задумчиво сказал вдруг раненный в ногу матрос, приковылявший к столу, опираясь на свой винчестер. – Ну, бывший офицер – это понятно, их не проверять, так опять на шею сядут. А девчонку-то чего сюда тащить было? С ним, что ли, ей гулять прикажете?

Это наивное великодушие раненого моряка ободрило Серафиму, она благодарно улыбнулась ему и вдруг осмелела:

– Да уверяю вас, товарищ начальник, что этот Уваров не настоящий, ну, как бы... незаконченный белый. Он... вроде воробья, залетевшего в башенные часы.

– Как, как? – заинтересованно спросил комиссар, и его лицо опять стало весёлым.

– Ну, обычный воробей случайно залетел в башенные часы, а там всякие шестерни, пружины, и он... растерялся. А потом опомнился и вылетел обратно. Вот и всё.

Матросы вокруг стола засмеялись, они слушали Сороку с таким явным интересом, что мне стало завидно.

– Это мы, что ль, часы-то? – спросил, небрежно улыбаясь, высокий, очень красивый моряк, весь обвешанный бутылочными гранатами.

И Серафима обрадованно кивнула – люди её прекрасно понимали.

– И вы, и белые... Вообще, силы классовой борьбы.

Развеселившиеся матросы грохнули хохотом, и комиссар засмеялся тоже, а Сорока сказала умоляюще:

– Нет, кроме шуток, товарищ комиссар, вы же видите...

– И кроме того, ведь я у вас остаюсь, а это моя свояченица, – рассудительно начал было дядя Костя, но комиссар прервал его с чуть-чуть иронической усмешкой:

– И, следовательно, вы ручаетесь за неё головой? А за вас кто поручится? Нет, логика в таком постулате хромает. Голов у каждого человека всего лишь одна. Особенно сейчас. А тут всё-таки не гулянье в саратовских «Липках», а подавление контрреволюционного мятежа.

Он комически глубоко вздохнул, но сказал уже без тени усмешки:

– Ладно. Возьму на свою совесть. С женщинами мы, как правило, не воюем, если даже они отдают предпочтение нашим политическим противникам. Вы свободны, гражданка. Идите домой. К маме.

– Пошли, Димка! – весёлым шёпотом сказала Сорока, проходя ко мне между зубоскалящими матросами, которые теперь все подряд казались мне

великодушными, красивыми и добрыми. – Посидим во дворе у стенки, пока Костю отпустят.

– А его никто и не держит. Он просто товарища Захаркина ждёт, – сказал я уверенно и гордо, хотя в душе только начинал догадываться, зачем дяде Косте понадобился уездный военком.

Густо пахло конским потом, продегтяренной ремённой сбруей, пылью, пороховым нагаром, кавчастью. Конники, весело и громко переговариваясь, шли мимо нас к подъезду, и мне вдруг почудилось, что пахнет от них не всем этим казарменным и кавалерийским, а просто степью, кизячным дымком, вянущим сеном и полынью.

Пожалуй, всё-таки не кулацкие гармонисты из Селитьбы и Криволучья, под семечки топтавшие Дамбу, а эти, вечные батраки и возчики, теперь так вызывающе ярко обмундированные революцией по шарабановским самодельным эскизам, уже были полными хозяевами нашей заволжской равнины.

Белозубые, чубатые, бряцающая шпорами и ножнами казачьих шашек, шли они мимо нас с Серафимой, и сердце моё опять заныло от лютой зависти и грусти. Ведь надо же так неподражаемо одеться!

Даже то, что под чёрными зимними папахами конникам было нестерпимо жарко и они всё время стирали с лица пот, не казалось мне обременительным. Сама обдутая суховеями ковыльная степь, с её бесконечными зыбкими миражами, с тёмно-сизыми, почти чёрными, как шарабановские папахи, купами осокорей над прудами, с блестящими лезвиями речек, хлынула на мальцевский двор, чтобы заодно с чёрно-синей, краплёной золотом морской пехотой и зелёными ротами армейцев очистить уезд от белых.

Но самыми удивительными и парадными были лампасы шарабановских кавалеристов – из золотой парчи.

Много потом повидал я в жизни всяких военных форм, но даже клетчатые юбочки шотландской пехоты и треуголки с плюмажем французских морских офицеров не потрясли меня так, как эта наивно кричащая яркость красно-золотых штанов принаряженной революцией вчерашней заволжской гольтыбы из красного эскадрона бондаря Шарабанова...

Один синеглазый и загорелый конник, с молодыми пшеничными усиками и звучащими, как литавры, шпорами, проходя мимо нас, подмигнул Сорочке, поправил папаху с огромной красной звездой и пошёл дальше. А в яркой кучке его спутников, сразу бросаясь в глаза скромной полевой гимнастёркой и фуражкой с обычной звёздочкой, шёл высокий молодой блондин в портупейных ремнях, и точно такой же, как у дяди Кости, полевой трофейный «цейс» на ремешке висел у него на груди.

– Ладно, не хвали хоть в глаза, страшно много шума от тебя, Поликарпов, – ответил он нарядному кавалеристу негромко и насмешливо. – Поэтому и все собаки на тебя лают.

Конники грохотно засмеялись, а человек в защитном остался серьёзен.

А я во все глаза смотрел на этого скромно-весёлого кавалериста, несомненно, старшего по чину во всей шумной ватаге шарабановских разведчиков: откуда он только взялся, лишь светлыми глазами да ростом и отличавшийся от кого-то, мне очень знакомого?

В звоне больших шпор, тяжёлом топоте пыльных сапог и в бряцании изогнутых шашек конники прошли рядом, и я увидел на руке их командира точно такие же зарешеченные офицерские часы со светящимся циферблатом, какие носил дядя Костя. Да и в походке у них было что-то несомненно общее. Человек и в размашисто шагавшей толпе шёл как в строю, подтянуто и прямо.

«Да ведь он же из бывших кадровых! Выправку-то не спрячешь», – мелькнуло у меня в голове, и я схватил за руку Серафиму и потянул её в подъезд вслед за конниками.

А человек с «цейсом» на шее, на секунду задержавшись возле крайнего окна, из которого торчал ствол пулемёта, весело спросил:

– Комиссар ещё не уехал?

– Никак нет, товарищ Захаркин! – браво отозвался матрос, только что читавший потрёпанную книжицу, и в голосе его опять звякнуло что-то очень радушное и совсем не строевое.

Сразу забыв об упирающейся Сороке, я кинулся вслед за уездным военкомом. Так вот он какой, этот легендарный П. Захаркин, чьё имя с первого дня восстания отождествлялось в моём уме с самой Советской властью.

А Захаркин, шагая через ноги спящих на полу в коридоре матросов, вошёл в залу и ещё в дверях сказал поражённо и весело:

– Вот это неожиданный вольт! Ну, здравствуй, тугодум. А ведь именно ты мне и нужен.

Я не сразу отгадал, к кому относится это насмешливое приветствие. Но уже минутой позже я всё понял: первый, кого военком Захаркин увидел у двери, был мой дядюшка, сидящий на корточках у стены в вечной позе всех задержанных и терпеливо ждущих решения своей участи. Значит, «тугодум» относился только к нему.

Пользуясь всеми преимуществами малолетства и спотыкаясь о матросские ноги, я забежал сбоку, и мне стало хорошо видно его лицо – чисто выбритое, насмешливое и чуть-чуть укоризненное.

– Всё-таки не догулял отпуска? Решился? – улыбаясь, спрашивал Захаркин, подходя к поднимающемуся с корточек дяде Косте. – А я ведь не раз тебя вспоминал – «кольта»-то совсем народ не знает. «Максим» – пожалуйста, а «кольт» – нет. А в Саратове на Константиновской, как назло, одни «кольты» да «гочкисы» остались.

Они пожали друг другу руки, и дядя, глубоко, подавленно вздохнув, сказал хмуро:

– Да что там... говорить...

Матросы вокруг них стояли плотной стенкой и сочувственно улыбались – так очевидно было всем, что балашинский военком, по внеслужебным позывным просто Орёл, встретил старого знакомого и сослуживца.

А Захаркин, придерживая дядю Костю за пояс, словно боясь, что тот уйдёт, говорил, протяжно улыбаясь:

– Ну, артиллерийскую охотку я сегодня сбил, считай, за весь год. Разведка донесла, что с первой шрапнели их накрыл. Всё-таки фронт – не военкоматское делопроизводство. Поработали весело. Ты не видел?

– Известно, хоть и по площадям садите, а артиллерия – дело научное, – солидно поддержал кто-то из моряков. Вперемежку с кавалеристами в золотых лампасах они всё плотнее сбивались вокруг своего командира.

Но Захаркин, не отпуская дядино ремня, вдруг сказал озабоченно:

– Вы извините, орлы. Поговорить надо. Однополчанина встретил. Ещё по Юго-Западному.

– Так мы разве что... Пошли, ребята, – тут же охотно отозвались грубые голоса из матросской толпы.

– Однополчанин – святое дело, – серьёзно подержал кто-то из конвоиров.

И разговоры вокруг затихли.

Я смотрел на добродушно улыбочивые лица матросов, снова усаживающихся вдоль стены, уткнув винтовки в колени, и опять радовался за дядю Костю.

А Захаркин, кивком отозвав дядю Костю в сторону, уже сидел с ногами на подоконнике, видно, тоже ещё пьяный победой и тем, что он сбил свою давнюю охотку кадрового артиллериста, накрывшего противника первой шрапнелью.

Но речь они повели совсем не о час назад окончившемся артналёте.

– Вот так-то, Костя, закури саратовскую, и... продолжим наш разговор о деле, раз уж ты всё понял... – уже только для своего старого сослуживца по Юго-Западному вполголоса заговорил уездный военком, обрывая акцизную наклейку с длинной пачки папирос, украшенной портретом артиста Варламова и называвшейся тоже «Дядя Костя».

Рука Константина Михайловича, когда он брал папиросу, заметно дрожала, но я-то знал, отчего она дрожит – вот теперь-то его судьба всерьёз и решалась.

– Отпустил я тогда тебя, Константин, из комиссариата и, признаться, задумался, – уже совсем тихо и доверительно говорил Захаркин, – не лучше ли было тебя задержать... для сохранности. Ведь картина-то была ясна – со дня на день восстанут эти... эсеровские последыши. Что ж человека в соблазн вводить?

– А разговор ночью в Шепетовке помнишь? – строго спросил дядя Костя. – Ведь я же ясно тогда сказал: с кем, ещё не знаю, но с корниловыми, с крымскими не пойду.

И так же сурово и невесело ответил ему Захаркин:

– Эх, хватил, Шепетовка – это декабрь семнадцатого, а тут Волга, восемнадцатый год, июнь месяц. Погоны, они, брат, тянут.

– А погоны я одному дураку отдал. Из тех, кого ты первой шрапнелью накрыл.

Военком вдруг суховато, коротко, одним горлом рассмеялся.

– Положим, вру. В душе я и тогда не верил, что ты к ним пойдёшь: с чего бы тебя, сына ветеринара, выученного на медные деньги, туда понесло?

Он потрепал дядю Костю по худой коленке и дружинно спрыгнул с подоконника.

– Ну, как ни хворала, а померла. Пришёл-таки Костя Трубников туда, куда ему на роду написано идти, то есть в Красную Армию.

Дядя Костя тоже засмеялся, так же коротко, только чуть-чуть растерянно.

– Кой чёрт пришёл – под винтовкой, Петро Филиппович, привели. Сторяча чуть налево не пустили.

Он щелчком стряхнул пепел с зелёной острой коленки и недоумённо повёл головой – а ведь и на самом деле чуть не пустили. И спрашивать было бы не с кого.

Я теперь уже вполне легально держался возле дяди, который минуту назад, коротко ткнув в меня пальцем, сказал Захаркину:

– Племянник. За меня беспокоится. Рыбу не с кем ловить будет.

Захаркин ответил ему в тон (они, конечно, уже хорошо понимали друг друга):

– Ясно. Защитник. Правильно делает.

Но самым странным было то, что этот весёлый и компанейский человек, грозно звавшийся военным комиссаром, казался мне вовсе не ровесником и бывшим «полчком» моего утрюмого дядьки, а человеком намного его старше и мудрее.

– Неужели чуть налево не пустили? Ну, что же, это в духе времени, а тебе урок, Константин. Однако, комиссар, знакомься. – Захаркин, вдруг оборвав себя, повернулся к курчавому человеку в пенсне, писавшему что-то на полевой сумке, примостив её на коленке.

– Есть, комиссар, знакомься! – ещё продолжая писать и, верно, в шутку подражая своим матросам, бросил сумку на стол и подошёл к нам.

Был он сейчас очень собранный и корректный, как бы говорящий посторонним всем своим видом: «Ну, ну, потолкуйте, вчерашние прапорщики. Ваше право. Я же понимаю. Время сложное».

– Трубников Константин Михайлович. Мировой товарищ. Прозвище в полку – Пулемётный Бог. Свою фамилию пулями на щите выписал, понимаешь, комиссар?

При этих словах Захаркина, произнесённых отчётливо и громко, среди матросов кто-то почтительно, восхищённо и сложно выругался.

– Кстати, мой однополчанин и сосед по блиндажу в течение полутора лет. Для нас находка, – всё ещё не гася улыбки, говорил Захаркин и всё подталкивал дядю Костю под локоть к курчавому: – Знакомься и ты, Константин. Комиссар экспедиционного сводного отряда Модест Григорьевич Иванов.

– Да мы уже знакомы. Де-факто, как говорится, – улыбнулся комиссар, и его глаза за стёклышками пенсне стали опять весёлыми... – Товарища Трубникова по ошибке да по логике событий...

– Знаю. Чуть налево не отправили, – невозмутимо подсказал Захаркин. – Так вот, Модест, я за него ручаюсь. Хотя он и тугодум. Возьмём его в начальника пулемётной команды? Ты, как комиссар отряда, возражать не будешь?

– А почему мне возражать, раз ты, командир, ручаешься? Если Трубников уйдёт к белым, мы расстреляем тебя перед фронтом как заложника. И всё! – засмеялся комиссар отряда, и, странное дело, его страшноватая шутка вовсе не показалась нам грубой: просто это был стиль времени – прямой и острый, как трёхгранный штык русской винтовки.

– С народом ты сам поговоришь? Должность-то командная, – уже деловито напомнил Захаркин.

Они смотрели друг на друга, понимающе улыбаясь. И было ясно, что в случае чего,меньковы поставят их рядом у одной стенки или вздёрнут на одних воротах, – и они это заранее знают.

– Могу и сам, – тут же согласился Модест Григорьевич, но всё-таки уступил свои особые права строевику. – Только, пожалуй, у тебя лучше получится, раз товарищ – твой однополчанин. Давай ты.

– Ну я так я, – так же просто согласился Захаркин.

– А ну, в ружьё, построиться во дворе! – спрыгнув с подоконника, не так и громко крикнул Захаркин, но весь зал сразу пришёл в движение.

Какой-то своеобразный, но строгий порядок в сводном отряде, несомненно, был, и команду старшего здесь принимали чётко. Матросы, на ходу расталкивая спящих, бежали к дверям, поправляя подсумки и держа винчестеры и арисаки штыками кверху, чтобы не запороть кого-то в тесноте. Пробряцала шпорами и красно-золотая полусотня конной разведки. Через две минуты в зале стало пусто, только толклась пыль в полосах падающих с улицы солнечных лучей.

Мы пошли к дверям опустевшего зала – дядя и Захаркин вереди, комиссар Модест Григорьевич за ними, и я – замыкающим, негодуя на чёрт-те куда запропастившуюся Сороку. Ведь самого-то интересного и не увидит!

Сороку я нашёл у коновязей. Она кормила неизвестно откуда добытой краюшкой ржаного хлеба большеглазую гнедую кобылку и строго смотрела

на бежавших мимо неё и солоно зубоскалящих кавалеристов: по-видимому, после дезертирства Уварова и её собственного «оправдания» комиссаром Модестом Григорьевичем всё связанное с войной и армией тётку опять не интересовало.

– В «каре» становись! Р-равняйся! Ир-рна! – уже из глубины двора наплывал построжавший голос Захаркина.

Сразу сообразив, что за широкими спинами матросов мне ничего не будет видно, я устремился к пожарной лестнице и через минуту уже сидел на её двадцатой ступеньке на уровне раскрытых окон второго этажа.

Весь экспедиционный сводный отряд Захаркина, построенный ровным квадратом, был отсюда хорошо виден. В конце концов «принимать» в пулемётные боги должны были не кого-нибудь, а моего дядю, и не мог же я оказаться в стороне от такого немаловажного события нашей семейной хроники.

Люди стояли правильным четырёхугольником, лицами вовнутрь – литая стенка моряков с одинаковыми белыми ножами арисаковских лезвий у правого плеча, словно разделённые язычками холодного пламени; стенкой покороче – красноштаннные чубатые шарабановцы с левой рукой на шашке и карабинами за плечами. Ровная линия вздёрнутых подбородков над стиснутым в руках оружием, каменея, уходила в глубину затихшего двора, огромного и пустого, как площадь.

Захаркин, комиссар отряда и дядя Костя, о чём-то быстро переговариваясь, уже входили внутрь замершего квадрата «каре», и я услышал только, как Модест Григорьевич азартно сказал Захаркину:

– Если это так, то, честное слово, не пожалеешь. Это же крепче всяких слов. Наглядно, главное. И не кот в мешке.

Его непокрытая голова с вороньим гнездом курчавой шевелюры и узенькое пенсне на фоне подтянувшихся перед строем Захаркина и дяди Кости были такими безнадежно штатскими, что я даже удивился: «Ну, чего он лезет со своими советами?» Но Захаркин довольно сказал:

– А ведь прав человек. Лучше не придумашь.

Дядя Костя согласно кивнул:

– Смотрите, вам виднее. Однако.

Но, прерывая его, Захаркин поднял руку.

– Вольно! С мест не сходить, – опять не так громко и без особого строевого шика сказал он, и строй чуть-чуть закачался, разминаясь, словно в нём отошла и расправилась какая-то тугая пружина.

Захаркин шагнул на середину квадрата и заговорил негромко и рассудительно.

– Один деловой вопрос, орлы. Речь идёт о доверии. Многие из вас служили в армии, ну, и во флоте тоже, и вы, пожалуй, меня поддержите. Вот это Константин Трубников, подпоручик царской службы, мой однополчанин и давний приятель. – Он взял дядю Костю под худой локоть и чуть склонил голову, представляя своего сослуживца отряду.

Тысячи глаз в упор разглядывали худое лицо дяди, а размеренный голос Захаркина продолжал звучать спокойно и негромко:

– В нашем полку его звали Пулемётным Богом. А почему – пусть он вам сам расскажет. Сейчас товарищ Трубников находится в отпуске по ранению, но изъявил желание идти добровольцем к нам, то есть в рабоче-крестьянскую Красную Армию. Мы с комиссаром намерены поставить Трубникова начальником пулемётной команды. Давайте обсудим, согласен ли отряд с нашей рекомендацией? Высказывайтесь, орлы.

По рядам ветерком прошёл шепоток, и всё стихло.

– Что ж, однополчанин – дело серьёзное. Раз вы, товарищ командир, знаете их... то есть товарища... – рассудительно заговорил стоявший на первом фланге пехотной роты усатый человек в шапочке пирожком.

Но его прервал весёлый голос из матросских отрядов:

– Это ясно! А вот как понимать слова «пулемётный бог»?

Захаркин невозмутимо кивнул, но лицо его сразу посветлело, хотя сказал он нарочито небрежно:

– А это так понимать, что пулемёт в его руках безотказен и бьёт в любое яблочко. Между прочим, он свою фамилию пулями на щите раз на спор выписал.

По рядам сразу прошло весёлое оживление, люди в строю зашевелились, вытягивая шеи через плечи передних, стараясь получше разглядеть такого «классного» стрелка.

– У меня вопрос, – солидно сказал, выдвигаясь из зелёного ряда пехоты, ничем не отличный от других, немолодой красногвардеец, и Захаркин ему весело, как старому знакомому, кивнул:

– Задавай, Егор.

– Ты знаешь, Пётр Филиппыч, как народ тебе верит, – с какими-то совсем не строевыми, скорее, крестьянскими интонациями заговорил немолодой красногвардеец. – И это самое – царский не царский он поручик – нам дела не решает, раз твой однополчанин и ты за него перед строем гарантируешь. Но чтобы пулями хвамилию написать, это знаешь... – Красногвардеец покрутил худой загорелой шеей и вдруг спросил заинтересованно: – А как бы посмотреть на такое чудо?

– Ну, это уж вы с ним сами толкуйте, – будто бы безразлично, только с едва заметной хитринкой усмехнулся Захаркин, а комиссар отряда сказал негромко, чтобы слышали все:

– Товарищ Трубников, ответьте людям по существу вопроса, – и легонько, ободряюще подтолкнул дядю Костю к строю.

– А что, собственно, отвечать, раз люди сомневаются? – хмуро пожал плечами дядя Костя. – Давайте пулемёт, покажу.

– Как, товарищ комиссар, попробуем? – будто бы только сейчас решаясь, спросил Захаркин.

– Я не возражаю. Распустите людей, и давайте постреляем, – ответил комиссар и вдруг опять крепко потёр ладонь о ладонь.

Строй после команды Захаркина рассыпался сразу, будто из него с маху выдернули какой-то скрепляющий людей стержень, и моряки, пехотинцы, конники, перемешавшись, сгрудились возле дяди Кости, возбуждённо споря, и каждый старался говорить громче.

Сидеть на высоте второго этажа уже не имело смысла, и, соскочив на землю, я стал пробираться в самую гущу из весёлой шумной толпы.

Пока два матроса бегом волокли через двор тарахтящий колёсами по камням «максим», дядя, всё так же хмуро посмеиваясь, отмалчивался, а потом строго спросил одного из матросов, того самого, который читал развёрнутую на пулемётном коробе книжонку «Наставления»:

– У него средняя точка по скольким пробоинам определена?

– По четырём и по восьми, товарищ командир, – чётко и строго ответил моряк и скупно усмехнулся. – Машинка правильная.

Служебные отношения уже вступали между этими двумя людьми в полную силу, и вокруг них сразу стало тихо.

– Ну-с, куда прикажете стрелять? – так же суховато спросил дядя Костя одновременно у комиссара и Захаркина.

– По-моему, вон брандмауэр подойдёт, – быстро подсказал Модест Григорьевич, как видно, уже заранее присмотревший всё, и народ вокруг дяди Кости опять сдержанно зашумел, одобряя хороший глаз своего комиссара.

– Точно. Мур подойдёт. На штукатурке хорошо видать.

Дядя Костя, присев на корточки перед «максимом», попробовал, легко ли ходит вертлюг, и опять деловито спросил матроса-пулемётчика:

– Возвратная пружина не ослабла? Пластинчатая как?

И опять чётко ответил ему доброволец-пулемётчик из корабельных комендоров, что было видно по двум скрещенным пушкам, вышитым у него на рукаве фланельки:

– Пружины исправны, товарищ командир. Вот патрон – нет-нет перекашивает. Лента не машинной набивки.

Дядя Костя, посвистывая, подвигал стволом вверх и вниз и, видно, остался доволен – пулемёт был хорошо досмотрен, и дядя даже чуть-чуть подобрел лицом, продёргивая в приёмник эту не машинной набивки ленту. Он уже погружался в родную стихию, и так споры и собранны стали теперь все его движения, что я не узнавал своего дядьку, все последние дни ходившего, запинаясь нога за ногу, словно недоспав.

Он ли это отлежал две полные недели в поскрипывающем дачном гамаке?

Оглянувшись на дышащих ему в затылок матросов и конников, дядя Костя сказал суховато и строго:

– Итак, попрошу не лезть под руку. Тут не фокусы показывают, а работу. Отойдите хоть шага на три. – И, уже ложась за пулемёт, вполголоса пожаловался присевшему с ним рядом на корточки Захаркину: – Боюсь, руки несколько отвыкли. Ну-ка, матрос, цинк чуть поближе, чтобы лента не провисала. Посмотрим, что у вас за машина.

Коротким точным рывком он дважды продёрнул рукоятку на себя, изгавливая пулемёт к автоматической стрельбе, и, стиснув обеими руками затыльники, навёл ствол «максима» в дальний угол двора, на обвитый диким виноградом брандмауэр.

«Максим» ударил грохотно и протяжно, как горная лавина, и уши сразу заложило звоном, а тёмную виноградную листву на стене срезало ровнёхонько, словно ножом. Стена сразу оголилась, и пыль сбитой штукатурки повисла над ней прозрачным дымком.

Люди заворожённо молчали. Вечные труженики, сами только ради горькой нужды взявшие в руки оружие, они умели по заслугам оценить любой квалифицированный труд, в том числе и ратный.

Комиссар, близоруко щурясь, протирал платком пенсне и улыбался. Наглядная агитация за нового сослуживца действительно была доходчивее всяких слов.

– Итак, экран подготовлен, – уже весело сказал дядя Костя и кивнул своему «второму номеру». – Смотри за лентой, матрос. Поехали.

Пулемёт задёргался и зарокотал оглушающе и длительно, на одной грозной ноте. Лента, подпрыгивая, бежала через руку матроса в заглатывающий её приёмник и казалась живой и озлобленной.

Дядя Костя, прикусив нижнюю губу, вёл и вёл подрагивающим стволом, рисуя им вдоль стены свою длинную фамилию, и, несмотря на яркое солнце, было видно рвущееся из надульника жёлтое яростное пламя, а над брандмауэром всё гуще курился белый дымок раскрошенной пулями штукатурки. Потом грохот сразу оборвался, и только протяжным звоном ещё долго заволакивало уши.

– Всё. Читайте, орлы, – пересохшим горлом сказал дядя Костя и всё-таки не выдержал, лихо подмигнул Захаркину и комиссару и счастливо усмехнулся: – Зря за руки беспокоился, ещё не отвыкли.

Матросы, конники, пехотинцы, весело гадя, бежали к брандмауэру разглядывать дядину роспись вблизи, а Захаркин, подняв к глазам точно такой же полевой «цейс», как и тот, в который мы утром наблюдали за чёткой работой его пушек, громко прочёл: «К. Трубников», – ровно, как по трафарету выбитое пулями по штукатурке кирпичной стены.

– Товарищ командир, а вы можете такому точному делу, скажем, обучить? – вдруг мечтательно спросил молоденький красногвардеец, становясь перед новым пулемётным начальником навтыяжку. Стоял он по всей солдатской форме, сомкнув сбитые каблуки и вытянув руки по швам своих выгоревших хлопчатобумажных шаровар.

Дядя Костя усмехнулся широко и добродушно. Всё-таки он очень любил во всём связанном со службой прежде всего дисциплину.

– Дорогой мой, – неожиданно ласково, но и чуть-чуть иронически сказал он юноше-добровольцу, смотревшему на него преданно и с готовностью, – медведей на велосипедах ездить обучают, слонов до десяти считать, а вы всё-таки разумный человек, при желании всему научитесь. Надо только твёрдо знать, за что воюешь. Ну, и... тренировать руки.

Разглядывая удивительную надпись на брандмауэре, уважительно гомонили бойцы сводного отряда.

– Всё. Принимай должность, Константин. Народ согласен, – громко за всех сказал Захаркин и, всё-таки не выдержав начальственного тона, ласково потрепал дядю Костю по плечу с ещё не споротой петелькой от офицерского погона.

Дядя искал в толпе меня и, когда я, поймав его взгляд, протиснулся к нему вплотную, сказал совершенно серьёзно:

– Вот видишь, Димка, австрийский обер был прав: острое зрение теперь важнее всего. А «цейс» оставь себе на память о том, как твой дядька всё-таки понял, где его место.

Деревня Лукино,
под Красноярском.
1965 г.

Печатается по книге Николая Мамина «Избранное», Красноярское кн. изд-во, 1973 г. Серия «Писатели на берегах Енисея», с. 147–245.

Публикация Ю. Ю. Каргина



**Вячеслав
АРХАНГЕЛЬСКИЙ**

О РАЗНОМ

Заметки

Эти заметки – продолжение давно начатого, они возникали непреднамеренно, без всякого предварительного замысла, и вот так, как сложилось, я их и записал.

*Никогда не стоит никому ничего объяснять.
Тот, кто не хочет слушать,
не услышит и не поверит,
а тот, кто верит и понимает,
не нуждается в объяснениях.*

Омар Хайям

ОБ ОЗЕРЕ

В окрестностях нашего города много озёр больших и маленьких, но есть одно из древнейших, на берегах которого многие века жили люди – археологи насчитали здесь полтора десятка стоянок. Тут есть места, где можно ещё увидеть следы обитания наших далёких предков. Это и «сад камней» (как я его называю), где почти еле заметные выглядывают из земли, заросшей высокой травой, огромные валуны с округлыми, отшлифованными временем формами, напоминающими то тюленей, то медведей.. А в одном месте, на западном берегу озера, я даже нашёл камень, на котором, по всей видимости, совершались жертвоприношения животных. Почему я так решил, да потому, что камень с плоской вершиной и выемом на одном из краёв, переходящим в жёлоб, или сток, пробитый в его гранитном теле, до сих пор сохранивший чёткость и заострённость своего русла, по которому кровь принесённого в жертву существа стекала вниз в представляемый сосуд.. Очевидно, раньше этот камень значительно

-
- Вячеслав Николаевич Архангельский родился в 1951 году в г. Мелекесе Ульяновской области, после окончания средней школы служил в армии, окончил отделение истории искусств Уральского госуниверситета, занимался предпринимательством, курировал развитие малого и среднего бизнеса в администрации Екатеринбурга, кандидат экономических наук, в настоящее время доцент кафедры социальной философии Уральского федерального университета. Печатался в журналах «Урал», «Волга-XXI век». Живёт в Екатеринбурге.

возвышался над землёй, а сейчас видна осталась только его верхняя часть – ровная, как столешница.

Много ещё интересного можно обнаружить в окрестностях этого природного чуда – это и колодец с родниковой целебной водой, её пьют некоторые особо заботящиеся о своём здоровье пожилые люди из близлежащих домов; это и заброшенные карьеры, где добывали гранит и мрамор. Но главная ценность – это само озеро, оно не такое уж и большое, почти круглое, с одним всего небольшим выемом-заливом, образованным выступом полуострова на одном из берегов.

Мы уже всей семьёй тридцать с лишним лет купаемся в его водах. Большинство горожан – летом, когда оно хорошо прогревается, а кое-кто, как я, и круглый год, в любую погоду. Зимой – в проруби, осенью и весной, когда нет льда, в открытой воде.

Для меня это озеро не просто голубое пятнышко на географической карте, а фактически живой единый организм, стихия воды, с которой у меня сложились особые, доверительно-дружеские отношения. К примеру, я всегда здороваюсь с ним: «Привет, Озеро!» – и оно мне отвечает тихим всплеском воды у моих ног, признавая за своего доброго знакомого.

А иногда, если разыгрывается непогода и сильный ветер гонит волну за волной, но я всё же лезу в воду и пытаюсь плавать, то мне по щекам достаются его шлепки, как бы предупреждающие: «Ну ты не очень-то геройствуй! И далеко не заплывай! Мы хоть и друзья, но надо беречься, знать меру...»

В выходные спокойные дни озёрная вода словно ласкает моё утомлённое за рабочую неделю тело, снимая, как хороший психотерапевт, усталость и напряжение, как опытный массажист – разгоняет кровь, энергично массируя кожу и поглаживая мягким тёплым (или холодным) прикосновением моё разгорячённое лицо. В такие моменты я чувствую всем своим существом, что моё озеро – живое, мыслящее и всё понимающее.

Я, чем могу, тоже пытаюсь ему помочь – вынимаю и выбрасываю из воды всякий мусор: бутылки, камни, пакеты – всё, что гадкие людишки кидают не задумываясь в озеро изо дня в день; очищаю берег от кострищ и разного хлама, оставляемого любителями шашлыков. А на дне чего только не бывает... В последние годы даже появились добытки в гидрокостюмах с металлоискателями, ищущие драгоценности – кольца, серёжки, кулоны, монеты, утерянные в воде.

Выкупавшись зимой или летом, я всегда благодарю моё озеро: «Спасибо тебе!» – и оно меня слышит и наверняка понимает. Порой мне кажется, что оно по-своему грустит, если вдруг мы надолго расстаёмся, как этой весной – на целых три месяца из-за карантина и злосчастной пандемии. И как же радостно озеро меня встретило, когда сняли запреты – яркое солнце, ровная гладь тёмной, мягкой на ощупь воды...

Но вижу, как всё больше и больше озеро зарастает густой, непролазной тиной, сплошняком заполняющей прибрежные акватории, совсем недавно ещё совершенно открытые и чистые. Иногда, особенно жарким летом, из-за микроорганизмов и каких-то водорослей вода окрашивается в ярко-зелёный цвет, как будто в неё вылили колер изумрудной зелёной краски. Потом обнаружилась и ещё одна напасть – в воде появились какие-то злобные бактерии, или блошки-мошки, кусающие практически безболезненно всех купальщиков подряд. Но потом на месте укусов вскакивают большие красные волдыри, которые невыносимо чешутся, болят и долго не сходят, несмотря на различные мази, лекарства и прочие ухищрения.

Совсем ещё недавно этих неприятностей не было и в помине. Дно озера в некоторых местах уже покрылось илом толщиной в два-три метра. Его надо срочно спасать – чистить, избавляя от всяческой заразы. И тогда оно отблагодарит людей так, как только может – будет давать им отдохновение, бодрость и здоровье ещё многие-многие годы.

О ЛЕСОПАРКЕ

Прямо напротив береговой линии озера разбросаны по парку одноэтажные из бруса и брёвен домики, где размещаются разного рода заведения – от кафе и чебуречной до пунктов проката велосипедов и роликовых коньков летом и лыж и санок – зимой. Тут же неподалёку, на лужайке, стоят четыре лошадки – парочка пони и две взрослые особи, белой в яблоках и гнедой масти. В гривах у них заплетены косички с бантиками, а на седлах лежат цветастые с бахромой попоны. Девушки-наездницы стоят рядом, ожидая желающих прокатиться. Бизнес этот они освоили уже давно – катают на миниатюрных пони детишек за небольшие деньги, а на больших лошадках – взрослых, но там и плата повыше.

Что и говорить, за последний десяток лет народу в лесопарке значительно прибавилось. То и дело попарно, а то и группами снуют, ожесточённо работая палками, любители «скандинавской ходьбы». И среди них доминируют пенсионеры, а точнее, пенсионерки в возрасте «плюс семьдесят». Совершают пробежки грузные дяди и тётки, сбрасывающие по выходным лишний вес. Легко и непринуждённо их обгоняют молодые спортсмены в ярких тренировочных костюмах. Наперегонки снуют коляски разного вида с малыши детьми, которые настойчиво и сильно толкают молоденькие мамашки, готовые всё смести на своём пути – моя жена их метко окрестила «танкистами». В общем, всё бурлит и движется с шумом, смехом и криками.

В деревянных дачных домиках, сдающихся в аренду и поставленных предприимчивым бизнесменом вокруг старого заброшенного карьера, празднуют дни рождения и корпоративы целыми семьями и большими компаниями. Дымят мангалы, распространяя в окружающем чистейшем сосновом бору удушливый смрад подгорелого мяса, играет какая-то современная музыка, бегают дети, подбадриваемые доморощенными аниматорами, предлагающими незатейливые конкурсы и соревнования типа кто быстрее съест пиццу или дальше забросит какую-нибудь безделушку – чаще всего эта участь выпадает почему-то плюшевому медвежонку.

Встречаются тут и странные сообщества разновозрастных людей, собирающихся в кружок и по команде «сенсея», стоящего в центре, истово поднимающих руки вверх и что-то нечленораздельное бубнящих себе под нос. Повторяют какие-то мантры и черпают (а точнее, вампирят) из окружающей благодати энергию солнца и бодрость от свежего воздуха.

На тропках, ведущих к озеру, иногда попадаются навстречу простоволосые, даже зимой, шустрые старушки и деды, заросшие седыми бородами. Они всегда вежливо и, как им, наверное, кажется, приветливо говорят каждому встречному: «Здравствуйте!» Это «детки» – последователи, а вернее, продолжатели дела знаменитого Порфирия Иванова. У них считается, что, получив в ответ на своё приветствие встречное «здравствуйте», они таким образом получают вашу силу и здоровье... Так что ничего просто так не делают, в конечном разе всё направлено исключительно на пользу «себе любимому».

Искренне радуется только одно, что сторонников ЗОЖа (здорового образа жизни) с каждым летом становится всё больше, и даже когда-то запойные алкаши с водки уже перешли на пиво (хотя оно не менее – если не более – вредно). Но общее устремление людей поменялось. Не радуется разве потребительское отношение большинства к природе – надо взять всё и по максимуму. Собрать полезные травы, нарвать охапку цветов, обобрать осенью все до последней ягодки с рябины и облепихи, не оставив ничего птицам. Этим отличаются опять-таки энергичные и хваткие пожилые люди. Из близлежащего колодца зимой на саночках, а летом в сумках на колёсиках каждодневно вывозят бидоны и полиэтиленовые канистры, наполненные, как считается, особо чистой и полезной ключевой водой.

Да и ещё много чего народец наш предприимчивый выкачивает из природы, не задумываясь о других, и вообще о будущем этого удивительного живого уголка – лесопарка и древнего озера. Лично мне достаточно того отдохновения от всегдашней суеты, что я получаю по выходным дням, прогуливаясь, фотографируя и купаясь.

Если раньше, лет тридцать тому назад, когда наши дети ещё учились в школе и мы только-только переехали в новый микрорайон, стоило лишь зайти в парк – везде были ягоды: полянки земляники на пригорках, плантации черники в зарослях и россыпи костяники повсюду. Сейчас же все те полянки, на которых наши дочурки собирали в горсточку и с удовольствием отправляли себе в рот душистые ягоды земляники, уже вытоптаны, на них образовались проплешины – даже трава не растёт. Мало осталось и цветов – совсем исчезли медунки и купавки, грибы ещё изредка попадают, но того изобилия, что раньше, уже нет и в помине, когда можно было за час-другой набрать молочных тугих маслят на хорошую жарёху.

Что ждёт этот зарастающий тиной и водорослями водоём и его прибрежный поредевший лес в будущем?

Говорят, что есть планы и проекты всё окультурить: проложить заасфальтированные дорожки для велосипедистов, поставить беседки, сделать гранитную набережную и чуть ли не ввести плату за вход в лесопарк, от веку дарованный нам Господом Богом – пользуйтесь, мол, но берегите. Это большой и неотмолимый грех – продавать за деньги всю эту благодать, посланную нам свыше. А сейчас даже сама земля стала предметом купли-продажи, когда её нарезают кусками, как торт или пирог, и пускают с молотка на аукционах.

Но этого не должно быть никогда! Ни при каких обстоятельствах не может принадлежать кому-то персонально то, что является общим достоянием всех живущих тут людей. Мы все – пассажиры и попутчики одного большого космического корабля, имя которому – Земля!

«КАКИМ ТЫ БЫЛ, ТАКИМ ТЫ И ОСТАЛСЯ»

Солнечное, но ветреное мартовское утро. Немного подмораживает. Возле квадратного окна проруби, ограждённой от посторонних глаз невысоким округлым снежным навалом, стояли двое. Она – в красных плавках и белом бюстгальтере, и он – в клетчатых семейных трусах, сползших под самый низ выпирающего живота, и в напоминающей блин старой шапчонке, из-под которой по бокам свисают бесцветные жидкие пряди волос. Они загорают под весенним солнцем после купания в проруби. В некотором смысле это «моржи», как их называют в народе. Стоят они босыми ногами на ковриках, постеленных прямо на лёд, и разговаривают.

На невысоком берёзовом чурбаке рядом с мужичком – транзисторный приёмник (редкость в наше продвинутое время), настроен на волну популярной радиостанции в стиле «ретро», да и музыка оттуда доносится совсем забытая и редко исполняемая. Парочка ведёт неспешный разговор о погоде. Как, мол, сегодня хорошо – солнце, можно загорать, правда, ветерок холодный, а так ничего – весна! Вот вчера ветер был сильный, да и пасмурно – не позагораешь...

Из приёмника полилась мелодия знакомой мне с детства песни, которую в те послевоенные годы пели почти на каждом застолье и любила моя мама: «Каким ты был, таким остался – орёл степной, казак лихой...» После слов первого куплета мужичонка приосанился, немного даже расправил свои хилые плечи и даже заулыбался беззубым ртом – низенький, плешивый, шепелявящий при разговоре – он был полным антиподом своей спутнице, выше его на голову, сохранившей, несмотря на возраст и некоторую полноту, все основные достоинства женской фигуры. Она стояла как памятник – добродушная или скорее даже безразличная к пустой болтовне своего визави.

«Свою судьбу с твоей судьбою пускай свяжут я не смогла, но я жила, жила одним тобою – я всю войну тебя ждала...» Песня всё продолжалась, и мне вдруг показалось, что эти двое уже давно ведут какой-то свой длинный и понятный только им диалог. Мужичок всячески хочет понравиться, хорохорится, пытается выглядеть значительнее, даже выше ростом. Но со стороны эти попытки выглядели жалкими. Она – наверняка бывшая спортсменка, подтянутая, следящая за собой, ещё не старая пенсионерка, скорее всего вдова. И он – одинокий, бодрящийся старичок, пытающийся вспомнить молодость, тряхнуть стариной. Все его попытки оживить разговор были неуклюжими, а местами и откровенно глупыми. Она при этом снисходительно молчала, изредка поддакивала и поворачивалась к солнцу другим своим крутым бедром.

«Но ты взглянуть не догадался, умчался вдаль, казак лихой. Каким ты был, таким ты и остался, но ты и дорог мне такой». Музыка в финале зазвучала громче, и мне показалось, что она посмотрела на собеседника как-то по-особому, с присущей только русским женщинам жалостью... И вспомнились слова ещё одной, сейчас забытой песни: «В сёлах Рязанщины, сёлах Смоленщины слово «люблю» непривычно для женщины. Там, беззаветно и нежно любя, женщина скажет: «Жалею тебя».

История эта получила весьма неожиданное развитие. Буквально на следующий день, когда я пришёл к проруби, старичок этот шустро увивался уже около другой молодящейся пенсионерки, правда, на редкость сухостойной, и здесь контраст был ещё более ярким. Пузатенький, на тонких кривых ножках, покрытых то ли седыми волосками, то ли каким-то пухом, мужичок заигрывал со своей собеседницей, уже явно намекая на какие-то более приватные отношения. Худая старушка называла его Лёней, а он её – Леной, помогал переодеваться после купания в проруби, закрывая полотенцем от посторонних глаз тощие её чресла и висящий складками зад. Та довольно подхихикивала шуточкам насчёт того, что она ещё вполне ничего и на всё согласна. На что Лёня полушутя-полусерьёзно ответствовал: «Главное не умереть во время этих счастливых минут... хотя, – добавил он бодренько, – это была бы лучшая кончина, которую только можно представить».

Пенсионерка Лена, стриженная под мальчика, с выбеленными волосами, в лёгкой спортивной курточке, трениках и кроссовках, довольно быстро после этого собралась уходить. Правда, немного раньше, увидев у меня фотоаппарат, когда я снимал замёрзшее озеро и заснеженные его берега, тут же

пристала к мужичку: «Сфотографируй меня, Лёня, на телефон, а я потом выложу снимки в Инстаграм». Ещё не полностью одетая, она позировала своему кавалеру в комплекте нижнего белья, состоящего из чёрных трусиков и лифчика. Хотя, может быть, точнее поджарое тело и являлось предметом её гордости. Когда другие тётки в таком же возрасте – кадушки кадушками и еле передвигаются, дыша как паровоз, на своих толстых варикозных ногах-тумбах, она легко бегаёт, не замечая возраста. Рисуетя, конечно, работает на публику, а сама наверняка после этих пробежек часами отлёживается и пьёт корвалол.

Очевидно, что история на этом просто так не закончится. Лёня, судя по всему, весьма популярная личность в сообществе пожилых любительниц зимнего купания, крутящихся вокруг небольшой проруби на нашем озере. Весьма вероятно, что на него кто-то из них и клюнет – да и то сказать: «орёл степной, казак лихой...».

ГОЛОС В АВТОБУСЕ

Утренний маршрутный автобус с трудом, рывками, то и дело лавируя в сплошной, в три ряда, веренице автомобилей, медленно подбирается к очередной остановке. И тут совершенно рядом, будто над самым ухом, раздаётся чей-то знакомый голос – хорошо поставленный, с характерной вкрадчивой интонацией, хотя и тихий, но с чёткой дикцией: «Остановка «Комсомольская». Следующая – «Профессорская». Я вспоминаю этого человека – низкорослого, слегка располневшего, лет пятидесяти, с непокрытой, с залысинами, крупной головой. На нём демисезонная серая куртка, в одной руке полиэтиленовый пакет с ручками, а в другой – прозрачный файл с какими-то бумажками с синими печатями.

Входя в вагон (а раньше он почему-то чаще всего по утрам встречался мне в трамвае), негромко приветствовал всех: «Доброе утро, уважаемые пассажиры! Я – больной человек, после инсульта. На работу не берут. Помогите, пожалуйста, на хлеб, на молоко... Кто десять копеек, кто пятьдесят копеек...» Нараспев, вкрадчиво и заученно обращался он к трамвайной публике. И многие подавали ему какую-то мелочь, он ссыпал её в свой пакет, болтающийся на согнутой в локте руке, неспешно пробираясь из одного конца вагона в другой. Попутно благодарил всех и желал «доброе здоровья и хорошего дня».

На следующей остановке он выходил и перебирался в другой вагон. Большинство народа знало этого попрошайку и уже не реагировало на его появление, каждый занимался чем-то своим: копался в смартфонах, что-то читал, с кем-то разговаривал или просто, отвернувшись, глазел в окно.

И вот теперь этот нищий, вернее, его голос, проявился в салоне коммерческого автобуса, и я вдруг догадался, в чём тут причина. Человек с таким хорошо поставленным голосом и дикцией почти наверняка был актёром – так убедительно, без надрыва, играл он свою роль, выбрав верную интонацию. Не пережимал, не давил на жалость, и даже сам текст его просьбы был выверен до последней запятой – ничего лишнего...

Скорее всего, рано утром, заgrimировавшись, надев свою потёртую куртку и на голову парик, он выходил из дома «на заработки». И за те несколько часов, когда люди едут на работу, собирал выручку, значительно превышавшую жалованье в театре, на сцену которого в эпизодических ролях он изредка выходил по вечерам. И мало кто мог бы догадаться, что под маской

молодцеватого щёголя или разбитного слуги в спектаклях по пьесам Островского и Чехова таится тот самый жалкий и убогий нищий, что с утра собирает мелкие монетки и униженно благодарит и кланяется каждому подавшему милостыню.

Можно также предположить, что предприимчивому владельцу этого коммерческого маршрута пришла на ум счастливая мысль использовать его явный талант, и он предложил записать на магнитофон все объявления остановок и другую информацию. Чтобы всё было озвучено не казённо-бодрым голосом, а спокойным, будничным, с доверительной интонацией, так знакомой многим пассажирам пользующегося популярностью удобного маршрута. И все оказались в выгоде: предприниматель избавился от докучавшего пассажирам попрошайки, использовав его актёрские способности, а сам герой, судя по всему, получил приличное вознаграждение. Но по условиям договора он брал на себя обязательство больше никогда не ходить по салонам автобусов, прося то пять, то десять копеек «на хлеб, на молоко».

В этой истории удивляет, прежде всего, то, что и актёр, и бизнесмен оказались находчивыми, предприимчивыми людьми, мастерами своего дела. А мы, пассажиры, становились в момент «входа» или «выхода на сцену» попрошайки то ли статистами, то ли зрителями этого импровизированного представления, где каждому была уготована вполне определённая роль, или стиль поведения. И сам человек выбирал – подать или не подать монетку или сделать вид, что никого не замечаешь. Хотя появлялись и персонажи, не желающие, чтобы ими манипулировали – те просто громко возмущались наглостью и бессовестностью этого нищего, каждодневно приходящего с протянутой рукой, вместо того, чтобы где-то работать.

ДВОЕ В НОЧИ

Какой-то сторонний наблюдатель (а может быть даже, и не один) начал примечать, как примерно в одно время, с половины одиннадцатого до половины двенадцатого, по тротуару вдоль засыпающих многоквартирных домов проходят двое пожилых людей – он и она. Идут они не спеша – он слегка припадает на левую ногу, она – иногда останавливается, чтобы перевести дух. При этом постоянно о чём-то негромко разговаривают, и этот диалог, по всему видно, длится уже многие годы.

О чём они могут говорить? И любопытный сторонний наблюдатель начинает гадать...

Ну, во-первых, конечно, о своих недугах и болячках, у кого сегодня и что за день «прихватило» – может, сердце покалывало или давление подскочило. Ведь погода-то в наших краях переменчивая, как настроение капризной дамы, на дню меняется по нескольку раз.

Во-вторых, обсуждают весточки от своих давно уже взрослых детей – их, скорее всего, двое, а то и трое, да плюс к тому ещё и внуки. Говорят наверняка о том, как и чем помочь тому или другому своему чаду, что посоветовать.

В-третьих, обмениваются новостями и впечатлениями, которые накопились за прошедший день. Он, скорее всего, до сих пор работает, хотя по внешнему виду, усталой походке и немногословной манере говорить – давно уже на пенсии. Но разве проживёшь сейчас на те крохи, что выплачивает старикам государство? А расходы всё растут и растут. И на питание – абы что уже есть не будешь, нужна диетическая свежая пища. Но глав-

ное, конечно, лекарства – непомерно дорогие, но жизненно необходимые, и на них они, судя по всему, не экономят.

О чём ещё говорят эти двое? Да обо всём! Она ему рассказывает о последних новостях в политике, что увидела и услышала по радио и телевизору. А он ей – про свою работу и про то, как ему с каждым разом всё труднее и труднее подниматься утром с постели и идти куда-то на целый день, общаться с чужими, не всегда добрыми людьми, тратить свои последние силы и нервы на решение каких-то проблем и поручений неумолимого начальства, не делающего никаких скидок на возраст. Если уж взялся – то вези, тащи свой воз дальше, а то ведь никто особо не держит. Есть масса более молодых и сильных, готовых в любой момент занять твоё место...

А ещё наверняка они говорят об искусстве и литературе – увиденном и прочитанном, вспоминают любимые стихи, цитируют по памяти отдельные особо полюбившиеся строки... Она держит его за правую руку, слегка опираясь на неё, он помогает ей обходить лужи или какие-то другие препятствия на пути – подавая предупредительно руку, поддерживая её под локоть. А она поправляет ему завернувшийся воротник куртки...

Что самое примечательное: в эту глухую ночную пору, кроме них, на улице никого не встретишь. Только изредка торопясь пробегает какой-то запоздавший прохожий или, что бывает совсем нечасто, можно увидеть парочку влюблённых, не замечающих ничего вокруг, да и времени для них как бы не существует. Остальная же часть населения большого города, в том числе и наш наблюдатель, – по домам: кто смотрит очередной сериал, кто-то хоккей или футбол, некоторые жаждущие попивают пиво, покуривают, наслаждаясь тишиной и уютом, а многие уже спят – завтра на работу...

И только эти двое, независимо от погоды, и зимой и летом, неторопливо прогуливаются по притихшим пустынным улицам. И стороннему наблюдателю становится понятно (и он даже немного завидует): как же хорошо им вдвоём – у них свой собственный мир, независимый ни от кого и ни от чего, где только он и она.

Думают ли ночные странники о смерти? Скорее да, чем нет. Размышляют спокойно, не боясь и не паникуя, в мыслях своих уже готовые к последнему путешествию. Наверное, они для себя решили, что не только на погосте будут рядом, но и там, в горних высях, куда отлетят их души, останутся навеки вместе. И больше всего хотели бы они не забыть и узнать друг друга там, а ничего большего и пожелать не надо. Там, даже в холодном безмолвии бесконечной Вселенной, они будут так же прогуливаться, рука об руку, как и здесь, на этой грешной Земле.

А им вдвоём, как видно, ничего не страшно – отчаянные старички!

О ПРОСВЕТЛЕНИИ

В жизни каждого наверняка наступает момент, когда словно яркая вспышка молнии сверху освещает до мелкой мелочи и детальки всё плато, весь ландшафт и развёрнутую панораму – от края до края – бытия человека, картину его пребывания на этой земле. Начиная с того мига, когда себя впервые осознал, и кончая сегодняшним днём. И ты сам смотришь на всё это сверху и чётко видишь: вот здесь ты был молодцом и умницей, а вот там – струсил или солгал; вот тут случилась судьбоносная встреча, а в другом месте, наоборот, произошло то, что лучше бы не видеть, не слышать и о чём вообще не вспоминать.

Бывали ситуации и моменты, за которые просто стыдно, когда ты смалодушничал или нагрубил беспричинно близкому человеку, когда незаслуженно оскорбил, был невыдержанным и злым. За всё за это прости меня грешного, Господи, спаси, сохрани и помилуй!

Покаяться никогда не поздно, но если постоянно оглядываться назад, на свои прошлые прегрешения, то как же сможешь идти вперёд?! И потому, искренне раскаявшись, попросив прощения у всех, кого обидел и к кому был несправедлив, помолившись, надо двигаться дальше, стараясь идти прямо, избегая соблазнов, не отвлекаясь на неважные мелочи. Главное – видеть перед собой цель, как маяк в ночи, указывающий путь к берегу, пристав к которому, ты наконец обретёшь покой и отдохновение – слава Богу, ты дома, доплыл по бурному житейскому морю.

И очень важно, чтобы этот момент, когда ты всё увидел и осознал, просветился, наступил вовремя, пока ещё можно успеть что-то поправить, изменить, сделать лучше. Да и выбор тут невелик: или ты двигаешься к добру и свету, либо откатываешься во тьму зла – и падаешь, падаешь...

Казалось бы, всё так просто и ясно, но многие люди так и не осознают этого, и лишь в конце жизни на них нисходит это – так необходимое в своё время просветление.

Но, увы и ах! Уже поздно, и остаётся только молить Господа, чтобы простил душу грешную, покаяться и надеяться на Его милость к заблудшему, потерявшемуся в этой жизни человеку. И, может быть, дадена будет ему последняя возможность исправить ошибки перед тем, как уйти в мир иной, где наконец обретёт он своё вечное пристанище.



«КЛАССИЧЕСКАЯ СКАЗКА ИЗ ТЮЗА НИКУДА НЕ УШЛА...»



Анастасия Колесникова

**Интервью с Анастасией Колесниковой,
заведующей литературной частью
Саратовского ТЮЗа им. Ю. П. Киселёва**

А. М. Анастасия, расскажите, пожалуйста, немного о себе. Как вы попали в ТЮЗ?

А. К. Очень просто – я родилась в театральной семье. Моя мама, Ольга Владимировна Колесникова, была тогда завпостом – заведующей постановочной частью (после окончания АГИТМИКа её распределили в Саратов) и – так уж получилось! – начальницей над моим папой. Папа работал художником по свету и оставил свой след в истории Саратовского ТЮЗа – в 90-е годы он внедрял компьютерные технологии в театральном освещении... Позже папа ушёл из театра, занялся други-

ми делами, а мама стала там главным художником.

А. М. И вы стали «театральным ребёнком»...

А. К. Ну, а куда было деваться? Конечно, после школы я всегда приходила в театр, проводила время за кулисами... Был такой момент, когда я могла бы стать актрисой – в один спектакль требовался ребёнок, и все сотрудники привели своих детей на кастинг. Меня для того спектакля не выбрали, и я решила, что буду директором театра! Я просто не думала тогда о том, что в театре требуются и другие специальности...

После школы я поступила на филфак и уже на пятом курсе пришла работать с театральным архивом. Постепенно попала в литературную часть (её возглавляла тогда Елена Костюкович) – и закрутилось...

А. М. Диплом тоже был на театральную тему?

А. К. Да, он был посвящён постановкам чеховской «Чайки». Одну из них оформляла моя мама, это было в Петрозаводске.

Уже работая в ТЮЗе, я получила ещё два образования – драматурга и педагога. Драматургии я училась в Питере, в мастерской Наталии Скороход (бывший АГИТМИК тогда назывался академией). Педагогическое образование мне было необходимо, так как в моей работе оказалась востребована театральная педагогика.

А.М. *Настя, вы пишете пьесы?*

А.К. В последнее время я написала только одну пьесу – «Дело в шляпе». Она вышла в коллективном сборнике «Пьесы для детей и подростков», изданном при поддержке СТД в 2021 году. Всё остальное, что мною написано, в основном инсценировки.

А.М. *Читаете много?*

А.К. В последнее время читаю много детской и подростковой литературы. Это произведения Марии Парр, Дэвида Алмонда, Сары Пеннипакер, лидеров современной зарубежной литературы. Это книги издательств «Самокат», «Белая ворона», «Розовый жираф». У ведущих «детских» издательств сейчас есть блоги, страницы в соцсетях, где публикуются подборки – «ТОП-19 лучших книг для детей», бывают интересные подкасты, например, на «Арзамасе». Я мониторию эти сайты и ищу информацию о новых талантливых авторах, новые темы.

А.М. *Наивный вопрос: репертуар театра формирует завлит?*

А.К. Ну, это советский штамп! Да и в советское время не всегда было так. Дело завлита – предлагать что-то на ту или иную тему.

А.М. *С кем из режиссёров вам удалось поработать?*

А.К. Когда я пришла в Саратовский ТЮЗ, художественным руководителем был Юрий Петрович Ошеров. Он более или менее знал, что ему хочется поставить; меня он просил подобрать дополнительную литературу к той или иной постановке. Юрий Петрович был человеком начитанным, с Интернетом тоже был знаком. Он следил за театральными новостями, читал специальную прессу. Юрий Ошеров старался подбирать репертуар, исходя из вызовов времени...

В 2015 году именно с одобрения Юрия Петровича Ошерева в наш ТЮЗ пришёл на должность главного режиссёра Алексей Логачёв. С ним мы стали больше работать с современными детскими текстами. Пока дело касалось классики, он и сам справлялся. Я подключилась к работе над «Оруженосцем Кашкой» по В. Крапивину, чем могла, помогала... Сейчас пробуем найти общий язык с новым главным режиссёром – Георгием Цнобиладзе.

А.М. *Расскажите, пожалуйста, подробнее о драматургических лабораториях в ТЮЗе. С чего всё началось?*

А.К. Всё началось с Олега Соломоновича Лоевского, театрального критика, связанного с Екатеринбург. Саратовский ТЮЗ оказался в числе первых, кто начал делать такие лаборатории. Появилась «Четвёртая высота» под руководством Олега Лоевского, она существует с 2006 года. Сейчас ей на смену пришла «Среда обитания». Наверное, вся эта история продолжится в ином формате, и возникнут не только «эскизы по пьесам», но и что-то другое.

Лаборатории – это мощный механизм обновления репертуара театра. Наши молодые режиссёры тоже попали к нам впервые именно с лабораторий. Для них это – прекрасный способ познакомиться с театром, с труппой и... продолжить сотрудничество.

А.М. *Какие спектакли попали в ТЮЗ именно таким образом?*

А.К. Назову наиболее яркие, судьбоносные. Это «Зимы не будет» Екатерины Гороховской. Мы как-то провели анализ посещаемости и узнали, что это наиболее востребованный спектакль, он долгое время шёл на Малой сцене. Теперь мы смело можем назвать Екатерину Владимировну своим человеком, дорогим и близким нашему театру. Мне посчастливилось работать вместе с ней над спектаклем «Наша Золушка», который сейчас идёт в ТЮЗе. Мы вместе с артистами сочиняли свою версию этой сказки, было очень интересно...

Также отмечу ученицу Николая Коляды Светлану Баженову. Эскиз по её пьесе «Как Зоя гусей кормила» стал спектаклем, ездил на фестивали

«АРТ-миграция», «Коляда-PLAYS». В «Зое» мы аплодировали блестящим актёрским работам Нины Пантелеевой и Алексея Ротачкова.

Позже Светлана Баженова написала удачную инсценировку «Мы на острове Сальткрока» – новую версию знаменитой «Колбаски» Астрид Линдгрен.

А.М. Судя по новому сборнику пьес, в Саратове есть свои неплохие драматурги... Кто же они?

А.К. В сборник попали пьесы актрис ТЮЗа Елены Красновой и Виктории Самохиной, мои работы. С нами дружит артист и драматург из Саратовского театра драмы им. И.А. Слонова Игорь Игнатов. Он пишет интересно, публикуется в «Современной драматургии». В театре драмы идёт несколько постановок по его пьесам для взрослых и детей. Также в сборнике есть работы известного драматурга из нашего города Ксении Степанычевой.

А.М. Знаю, что над «Приключениями Солнышкина» по повести Коржикова несколько лет назад работал Алексей Слаповский...

А.К. Да, это был совместный проект с Сергеем Пускепалисом, некогда начинавшим на тюзовской сцене. Пьесы Слаповского шли у нас и раньше...

А.М. Значит ли это, что ТЮЗ заинтересован в сотрудничестве с драматургами-земляками?

А.К. У нас нет задачи сотрудничать именно с саратовцами или с уральскими драматургами. Мы ищем талантливый и актуальный материал, интересный современным зрителям.

А.М. А какая тематика востребована в последние годы, помимо классики?

А.К. Юрий Петрович Киселёв всегда говорил: «В детском театре не должно быть запретных тем. Важны только пропорции!» Конечно, мы ставим не только спектакли о любви и дружбе, но и реагируем на то, что наиболее актуально в обществе. Например, трудно обойти тему социальных сетей, виртуального общения. Чаще стала возникать экологическая тема. Вообще нет такого однозначного рецепта.

А.М. Анастасия, раньше при ТЮЗе действовал школьный актив. Сейчас нечто подобное существует?

А.К. Сейчас действует учительский актив. Педагогическая часть в ТЮЗе никогда не исчезала благодаря Людмиле Александровне Канаковой. Она перешла на роль педагога из травести, на её счету немало замечательных, любимых зрителями ролей, и костюм Маленькой Бабы Яги висит в её кабинете на видном месте... Так вот, мы много работаем с учителями, любящими театральное искусство. С такими людьми возможно организовать не только культпоход в ТЮЗ, но и театральное занятие, можно научить их внедрять какие-то театральные технологии в педагогическую практику. Выражение «школьный актив» действует и поныне, просто, общаясь в двадцатью учителями, мы предполагаем, что за этим – тысячи детей. Вокруг нашего театра есть курсы повышения квалификации, в рамках которых учителя встречаются с режиссёрами, художниками, композиторами...

Главная наша задача сегодня – помочь педагогам понять, что существует множество типов театра, чтобы не было разочарований, обманутых ожиданий. Классическая сказка из ТЮЗа никуда не ушла, но важно обращать внимание и на новые формы. Спектакли ставят во главу угла не только текст, но и музыку, освещение, какие-то ещё способы оформления, и можно говорить о новом театральном языке или даже языках. Такие спектакли вполне интересны современным детям, и педагогам стоит прислушаться к мнению детей.

Беседовала Анна Морковина



**Ирина
КИТОВА**

ВАСИЛЬКОВОЕ ЛЕТО

БЕССОННИЦА

Что делать, когда не спится?
Включить снегопад над крышей
и тени вязать на спицах,
пока ты в подушку дышишь.

Из хлопьев сварить варенье
погодней и послаще
и вызволить вдохновенье
из самой дремучей чащи –

к огню усадить согреться,
потом поболтать за чаем.
И выпитая всё у сердца –
пусть скажет, за что прощаем.

За полночь строкой, за полночь –
послушной, в тебя проросшей.
Мой ласковый, мой хороший,
запомнить тебя, запомнить...

МАЛЕНЬКИЙ САМОЛЁТИК

Плачет по лету ветка,
Оголена и ломка,
Ей удержаться б только
В мире живом и ветхом.

Плачет, в морозы дышит,
Помнит листочек каждый –
Было к зазимкам ближе
С ветки сорваться страшно,

-
- Ирина Сергеевна Китова живёт и работает в Базарном Карабулаке Саратовской области. Лауреат областного литературного конкурса «Турнир поэтов» (2016, 2020), Международного литературного «Гайдаровского конкурса» (2017), Всероссийского фестиваля «Хрустальный родник» (2018), литературного конкурса «Огни золотые» (Саратов, 2019), литературного конкурса «Солнечные часы» (Орёл, 2020). Автор трёх поэтических книг. Публиковалась в журналах «Волга-XXI век», «Сура», альманахах «Нетерпеливые строки», «Радуга-21 век», «Авторский союз», «Литературный Саратов», в коллективных сборниках стихов.

Страшно упасть под кручу,
С миром принять разлуку.
Комья земли сыпучей
Станут последним звуком,

Словом последним в песне,
Как её ни споёте...
Мчится навстречу бездне
Маленький самолётик..

Осиротела ветка.
Мир до секунды выжат.
У пассажиров ветра
Не было шанса выжить.

ЛУННОЕ

Пока твоя уютная рука
Меня от одиночества спасает
И между штор полосочка косая
Просвечена луной до потолка,

Я принимаю осени недуг
И не страшусь ни сумерек, ни сплетен,
Пока луна неторопливо светит,
Пока тепло не сторонится рук.

Я с малых лет притянута лучом,
В проём окна сползающим, и только
Живущий за стеной усталый тополь
В игру теней и света вовлечён.

Пока, сбиваясь в тучу, вороньё
Разносит по округе горечь истин –
Поймать луну и слушать шорох листьев
И ровное дыхание твоё.

ДОЛГИ

Возьму собаку, выпорхну в июль
Из тесной и насиженной квартиры,
На лето поверну ориентиры
И все долги чужие обнулю.

Так просто, не поверите, дышать,
Когда тебе никто, увы, не должен.
Залечит рану смятый подорожник,
И ласточки, ликуя, прошуршат.

Нелепый груз отпущенных обид
Уже не жжёт, не сдавливает веру
В размах крыла, в его послушность ветру.
Лететь туда, где розами обвит

Фамильный дом, где малого глотка
Его любви на жизнь большую хватит,
Птенцы растут и ни за что не платят,
Где детство отпускаю с поводка.

КРЫЛЬЦО

Там, где худым юнцом
В сливах лопочет ветер,
Старенькое крыльцо
Первым меня приветит:

Ступишь ногой – в ответ
Скрипнет его сердечко.
Столько хранит примет
Крашенная дощечка –

Тот же любимый цвет,
Та же на ней щербинка,
Тот же неясный след
Стопанного ботинка.

Только от непогод
Сгорблен навес покатый.
Только облезлый кот
Щурится слеповато.

В кружеве паутин
Ты не тужи, до мая
Красочку обновим,
Лесенку подлатаем.

Будет лучей пыльца
Спеть после тёплых ливней.
Высадим у крыльца
Облако белых лилий.

Выложим домино,
С грядки жуя горошек.
Ласточкино гнездо
Станем беречь от кошек.

Время придёт, с крыльца,
С крыши его покатой
Выпустит мать птенца,
Как и меня когда-то.

Мир выжил. Открыта рама. На кухне шипит лазанья.
На дне голубого лета чернеет углём воронка.
Когда бы узнала мама, как плачет июль с глазами
коньячно-густого цвета, пришла бы спасти ребёнка.

Крыло не по-детски тонко. Внутри, за привычной шторой,
так много золы и сора и веских причин взлететь.
Но тянет ко дну воронка. Ребёнку уже за сорок.
Ребёнку едва за сорок!.. Не повод, чтоб умереть.

А дома – дожди и вишни, и ветер в саду хлопочет,
и плачет душа в пелёнках, и сила растёт крыла..
Мой ангел-хранитель, слышишь, я в пепле сожжённой ночи
спасаю в себе ребёнка, чтоб мама моя жила.

БЫЛА ВОЙНА

Шепчет ветер еле слышно,
шелестит, вздыхает сад.
Хорошеет наша вишня,
вон как бусины горят!

Обрываешь, смотришь смело,
улыбаются глаза.
Солнца лучик, спелый-спелый,
растрепался в волосах.

Улеглись, ушли тревоги,
не болит почти душа..
Милый, мы – одни из многих! –
собираем урожай.

Не сломались мы, а значит,
по весне отстроим дом!..
Милый, дочь уже не плачет
от того, что в небе гром.

Заживём! Начнём трудиться,
по субботам печь блины..
Милый, лишь бы пели птицы,
лишь бы не было войны.

КАРАБУЛАК – ЧЁРНЫЙ РУЧЕЙ

Домики – как бусы
По холмам положим.
Нрав глубинки русской
Полюбился многим.

Думала – чужая...
Приросла корнями.
Дымка золотая
Шита куполами,

И ручей проворный
Тонкой нитью вьётся,
По-татарски «Чёрный»
Издавна зовётся –

Из веков, из мрака
Он весёлым бегом
Для Карабулака
Служит оберегом.

Он волнений полон
И наречий разных.
Каждый дворик кровно
Этой нитью связан.

Он поил монгола
В годы лихолетий,
А потом посёлок
Тот ручей заметил –

Стал, как Русь, крещёный,
Русской речью льётся,
По-татарски «Чёрный»
Издавна зовётся.

Хороши туманы
У речной долины,
Сосны-великаны
В выси журавлиной,

И грибные чащи,
И родник «Олений»,
И калач хрустящий
На твоих коленях...

И душе просторно
О любви поётся
У ручья, что «Чёрный»
Издавна зовётся.

ВАСИЛЬКИ

У излучины древней реки,
Вдоль обочин, поросших крапивой,
Век за веком цветут васильки,
Огоньки разметав торопливо.

Словно кто-то зажѐг маяки
На вершине короткого лета,
Васильки, васильки, васильки..
Среднерусского поля примета.

Горизонта багровая нить,
Паруса изумрудные взгорий.
Не осмыслить и не переплыть
Васильковое синее море –

Нам твои травяные венки
От прабабок достались в наследство.
Васильки, васильки, васильки..
Огоньки первобытные детства.

Нам от прадедов – доблестный путь,
Дар полей, оберег сухоцвета.
И спешит отшуметь, промелькнуть,
Словно в память мою заглянуть,
Навсегда васильковое лето.



Людмила
ЛИПАТОВА

«От случайного тёплого слова...»

Ирина Китова. «Стихи в блокноте». – Саратов,
издательство «Саратовский источник», 2021

Ирину Китову я знаю давно, познакомилась с её творчеством, прочитав два поэтических сборника. И к выходу третьего сборника «Стихи в блокноте» уже успела вчитаться, вжиться в неторопливый, вдумчивый, напевный мир её чувств, полюбить то, что она любит: родное крылечко, стройку по соседству, благодарных и вздорных чёрных и доверчивых рыжих котов, голубей, степь, снег, декабрь с глотком сиротства, её апрель и сентябри, узоры на стекле. Ирина Сергеевна описывает с большой неподдельной любовью и первую малую родину – «волгоградскую степь – владенья седого орла», которую она просит: «У западной сопки дымится / Сухая ослепшая ночь. / Прими, одинокая птица, / Свою повзрослевшую дочь»; и раскинувшийся среди грибных лесов Саратовской области районный посёлок Базарный Карабулак, ставший её второй малой родиной:

*Вон в пруду – не взять руками –
Рыбы машут плавниками
И проснулись камыши,
А в осиновой глуши
Бродят лоси-великаны...*

От этих простых слов моя душа начинает волноваться, вбирая красоту звуков и запахов родной земли, ведь это и моя земля тоже, и любит она её так же, как я, изящно вкладывая каждую новую мысль в подходящий только для этой темы ритм, подбирая для всего окружающего точные метафоры и эпитеты. Душа её живёт в гармонии с жизненным пространством, так как, по её мнению: «Всё принимать, / Волны и гладь – / Верить в любовь, значит». Вот посмотрите, как она описывает лесной родник:

*Он пророс, вскипая и дрожа,
И оврага выдумал изгиб.
У него ольховая душа
И лицо приветливое лип.*

Она будто проникла в самую суть неспокойного характера ручья, что: «Тонкою нитью

вьётся, / По-татарски «Чёрный» / Издавна зовётся – / Из веков, из мрака / Он весёлым бегом / Для Карабулака / Служит оберегом». Прочитав это стихотворение, я ощутила в себе желание собраться и ехать в Карабулак только для того, чтобы постоять у этого чистого источника, причаститься его живой водой, так как где-то здесь прониклась Ирина Китова «неброским укладом» России и прочувствовала её «милосердную душу», которая:

*...А то, переполняясь ширью,
Вздывает лютые шторма
И верит в Господа, отринув
И меру общую аршина,
И меру скудную ума!*

Строки этого поэта живые, живая любовь в них трепещет, и моя душа откликается на её стихи, ведь мы в одной стране живём, одними бедами и радостями, а потому: «Мы любовью одной больны. / Слышишь, осень костры разводит?»

Подлинную любовь поэтесса черпает не только в окружающих её с детства красотах природы и взаимоотношениях с близкими, но и в традициях и подвигах родного народа, искренняя гордость за наш народ чувствуется в стихотворении «Дедова шинель»:

*Нас пугали: «Будет буря –
За бугром чернеет рать!»
Отвечали, бровь не хмурия:
«Бурей нас не испугать!»
Смерть не раз громами злилась,
Град калёный бил свинцом –
Не роптали, а женились
И растили сорванцов...
<...>*

*Только дедова шинель
О своём в шкафу ворчала,
Как солдатская вдова,
Людям радость их прощала,
Горечь войн в груди качала...*

Ирина умеет высказать благодарность людям, завоевавшим такую трудную Победу, за всех нас, за все послевоенные поколения, что на фоне животрепещущих забот мы способны неформально хранить память о тяжёлых годах:

*Пока рождаются солдаты –
Запомним! Каждого! В лицо!
И тот победный сорок пятый
Вбираем с генами отцов.*

Она нашла слова выразить, как мы все гордимся этой Великой Победой:

*Так гордятся сыном, дочерью,
Олимпийскими медалями.
Так встают в живую очередь
В помощь ближнему и дальнему...*

Я признательна Ирине ещё за то, что в современной жизни она тоже умеет увидеть будничный героизм и раскрыть этот факт перед читателями, как в стихотворении «Донору»:

*В уютной палате больничной,
Где белым хрустят полотенца,
Так просто, с геройством привычным
Он делится капелькой сердца.
А после в автобусе тесном
Спешит сквозь дожди и капли.
И пусть никому не известно,
Кого он, спасая, жалеет –
Солдата, студента, младенца,
Беспомощного старика ли...
Он делится капелькой сердца,
Как родина – родниками.*

Ирина, как всякая настоящая женщина, не прячет любовь, не скупится, а делится ею, «как родина – родниками», ведь открытая душа рождает много любви, и её непременно надо отдавать, превратившись, например, в снегопад:

*Не терзайся разлукой, не надо.
Ни за что никого не вина,
В город твой прорасту снегопадом.
Только ты не узнаешь меня.
Лягу пышно, заботливо-снежно,
Брошусь в ноги позёмкой играть.
Будут люди в белёных одеждах
Шестигранные крылья ломать...*

Даже если нет рядом того единственного мужчины, она находит выход:

*Можно я тебя придумаю?
Ты придёшь, шурша страницами,
Хоть на них и ввали классики
О любви. Мы губы красили
И не с теми жили принцами...*

*Можно я тебя придумаю
Понимающим и ласковым?
Только ты не будешь праздником,
Станешь ты моими буднями.*

И я с ней полностью согласна: настоящая любовь нужнее в буднях, в умении понять вечернюю усталость и каждодневные трудности. А это не каждому по плечу. Если не срослось, она грустит, конечно, но не сломится и, как сильная личность, выплеснет печаль в строку:

ПРИВЫКАЮ

*А с утра сегодня осень
Всех опять очаровала.
А с утра сегодня осень.
А вчера тебя не стало.
Нет, ты есть, конечно, где-то –
Жив-здоров, и слава Богу.
Я не думаю об этом,
Привыкаю понемногу.
<...>
Осень золотом богата,
И полны её карманы.
Разлюблю огни-закаты,
Полюблю дожди-туманы.
И придут твои рассветы
Попрошайками к порогу.
Я не думаю об этом,
Привыкаю понемногу.*

*Я ношу теперь, признаться,
Юбку в пол и ворот лисий,
Привыкаю улыбаться
Без твоих коротких писем,
Не дурачусь, не витаю,
Не тоскую на диете.
Ну, была любовь большая...
Мало ль глупостей на свете?*

Ирина не жалуется, не сыплет упрёки и оскорбления, она просто и буднично замечает, что счастье не сложилось: «Прошлое ворошу – / Сердце черствей не стало. / Нашему шалашу / Рая не доставало». Этот человек не пойдёт на меркантильную сделку, она не будет довольствоваться материальным, если нет главного – любви. А при расставании просит:

*Сколько, спросил, стоят
Крылья, любовь, платье?..
Имени простого,
Думаю, мне хватит.
Чистое, без хлама,
Детское, льняное,
То, как звала мама,
Самое родное...*

А ещё Ирина Китова – поэт, наделённый чутьём бурной жизни, такие люди без любви вселенской не могут жить, они задохнутся

в серости и тусклости быта, лишённого поэзии, так как поэзия для них – сама жизнь, они способны поэтизировать всё вокруг и жить в этом уже преображённом пространстве:

*И, угасая, пастушье лето
Растёт прожилками в помидоре.
И хорошо так на свете этом,
Что не мечтаешь уже о море.*

Наслаждаясь стихами этого небольшого сборника, я радуюсь, что поэт Ирина Китова обладает высоким уровнем мастерства, чтобы: «*Весь листопад, любовь и смерть вместить в одну строку*» и чтобы каждый миг бытия пропитать светлыми и нежными чувствами.

*А влюблённость подобна побегу
Из будней. Смогу ль отдышаться?
Я радуюсь талому снегу –
Недолго зиме продолжаться.
Напрасно метель умножала
Разлуки и кутала в кокон.
Сбежала, волнуясь сбежала
Из плена заснеженных окон,
Из царства гортензий и тлена
Квартир и секунд уходящих.
О, зори! Не буду надменной.*

*О, ночи! Не буду болящей.
Капелью отважной и гулкой
Весна заполняет сосуды.
Отныне по всем переулкам
Звенят обо мне пересуды.
Ты, хмурый заложник ночлега,
Вослед не гляди обречённо –
Поручена тайна побега
Грачам и проталине чёрной.
Там воздух лучами настоян –
Густой, хоть размешивай ложкой,
И счастье лелеют простое
Бездомные глупые кошки.*

Я желаю большого человеческого счастья и свежих стихов хорошему поэту Ирине Китовой и верю, что от её тёплых строк рождаются на земле весны, а в душах людей – любовь.

*И, как водится, снова и снова,
Даже в мёртвой сыпучей золе
Зародится весна на земле
От случайного тёплого слова.*

Пусть представится случай и вам прочесть сборник «Стихи в блокноте», может, кому-то он поможет оттаять, а кому-то даст повод ещё раз поразмышлять о поэзии.

Ольга
БЕЛЕЦКАЯ

Эпохальное издание

Самое старейшее и ведущее научное издательство России «Наука» в конце прошедшего года опубликовало фундаментальную монографию доктора искусствоведения, профессора Саратовской консерватории и Саратовского университета Александра Ивановича Демченко «**Смысловые концепты всемирного художественного наследия**». Что позволяет обозначить данное издание как действительно эпохальное?

Таким оно является и в прямом значении этого слова, поскольку в нём охвачены все эпохи художественной эволюции, каждой из которых посвящён отдельный боль-

шой раздел: *Древний мир, Античность, Средневековье, Возрождение, Барокко, Просвещение, Романтизм, Постромантизм, Модерн I, Модерн II, Модерн III, Постмодерн*, к которым в конце книги присоединён большой очерк патриотической направленности – «*Золотой век русской художественной культуры*».

Подобная всеохватывающая панорама воссоздана в мировой практике впервые. И надо сразу же заметить, что в сравнении с традиционными воззрениями на становление и развитие художественного процесса он истолковывается здесь во многом по-новому. Это касается даже тех исторических члене-

ний, которые обозначены привычным образом: *Античность*, *Средневековье*, *Возрождение* и т.д. Но, во-первых, у каждого из таких членений чётко определены хронологические границы, которые получают мотивированное обоснование. Так, эпоху *Возрождения*, протяжённость которой обычно определяют XIV–XVI веками, предлагается сдвинуть на полстолетия (с середины XIII до середины XVI), выделяя в качестве исходного пункта период *Проторенессанса*. Столь же отчётливо определяются временные рамки следующей эпохи – *Барокко* (с середины XVI до середины XVIII века).

А далее нас ожидает настоящий переворот в представлениях о том, что виделось как две соседние эпохи: *Просвещение* и *Романтизм*. Автор с исчерпывающей убедительностью доказывает, что на самом деле мы имеем дело с целостным «организмом», которому он справедливо предлагает имя *Классическая эпоха*, включающая пять исторических членений примерно по сорокалетию каждое: *Раннее Просвещение* (1730–1760-е годы), *Высокое Просвещение* (1770–1800-е), *Романтизм* (1810–1840-е), за которым следует *Постромантизм*, поскольку на данном этапе многое в художественном творчестве развивалось под эгидой реалистических принципов (1850–1880-е), и, наконец, завершающий период (1890–1920-е годы), который одновременно оказался и начальным периодом следующей эпохи, так как она постепенно «прорастала» в недрах предыдущей.

Следующую эпоху, которую мы привычно числили как современную, А. И. Демченко называет *Модерн*, отталкиваясь от получивших хождение в начале XX века терминов *стиль модерн*, *танец модерн*, *модернизм* и т.д. И оказывается, что мы вновь сталкиваемся с той периодичностью, которая обнаружилась во времена Классической эпохи. Вновь пять членений, но в связи с общим ускорением исторического процесса протяжённостью не по четыре, а по три десятилетия: *Модерн I* (1890–1920-е годы), *Модерн II* (1930–1950-е), *Модерн III* (1960–1980-е), *Постмодерн* (1990–2010-е) и, наконец, с 2020-х годов – период, в самом начале которого мы находимся ныне и который одновременно становится точкой отсчёта следующей эпохи. Автор предполагает её возможное имя – *Информ*, ввиду того, что уже сейчас очевидна стремительно нарастающая значимость всякого рода цифровых, виртуальных и кластерных технологий.

Эпохальным рецензируемое издание можно назвать и по его внутренней сути. Прежде всего, впервые мы встречаем изложение, в котором равноправно представлены все виды художественного творчества. Основные из них: литература, изобразительное искусство, архитектура, музыкаль-

ное искусство, театр и кино, а кроме того – мифология, фольклор, декоративно-прикладное искусство и т.д. И здесь требуется некоторое пояснение. Дело в том, что, будучи по своей исходной специальности историком музыки, А. И. Демченко уже более трёх десятилетий разрабатывает принципы нового научного направления, которое он назвал *всеобщим искусствознанием*, цель которого – преодолеть извечные границы между отдельными разделами искусствоведения для выяснения общих закономерностей развития художественного творчества, причём опять-таки с преодолением национальных границ и с выходом к горизонтам именно *всемирного художественного наследия*. Помимо колоссальных собственных изысканий в этом направлении (на его счету около 1600 научных публикаций и свыше 250 книжных изданий по всем видам искусства), он возглавляет созданный им Международный центр комплексных художественных исследований, который ныне объединяет усилия более 500 учёных различного профиля из многих городов России и 18 зарубежных стран.

И к эпохальности данного издания необходимо присовокупить то, что поставлено в его главу как *смысловые концепты*. Легко представить, насколько непросто обрисовать контуры всемирного художественного наследия во всей сумме его составляющих, что уже само по себе является грандиозной задачей. Но здесь поставлена сущностная цель – выявить то, что таится за этим неисчерпаемым собранием артефактов: картина мира, его историческая эволюция. И тогда обнаруживается, что искусство способно поведать о человеке и человечестве много больше и причём совершенно иначе, чем то доступно историческому знанию. Неслучайно во «Введении» к книге приводится суждение Аристотеля, высказанное ещё во времена Античности: *«Художественное изображение истории более научно и более верно, чем точное историческое описание. Поэтическое искусство проникает в самую суть дела, в то время как точный отчёт даёт только перечень подробностей»*.

При всей поистине исполинской мощи рецензируемого исследования сам автор рассматривает его только как эскиз к 12-томной эпопее под названием «Вселенная слова, цвета, звука», в которой накопленные им к настоящему времени гигантские сборы артефактов ждут полнометражного осмысления, позволяющего реконструировать марфон движения человечества из глубин тысячелетий к нашим дням. Нужно сказать, что это был бы один из самых грандиозных прорывов современного научного знания. Но стоит, конечно же, пожелать нашему соотечественнику осуществления столь дерзновенного проекта.



Старое здание Саратовского театра юного зрителя

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМи СО «Регион 64».

Директор – В. В. Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Е. С. Данилова.

Дизайн и вёрстка – Л. В. Баранова.

Корректор – Е. Н. Березина.

Подписано в печать 12 апреля 2022 года.

Дата выхода в свет 29 апреля 2022 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 41/12042

Цена свободная.

Адрес издателя: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 72-10-06.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс: П4923

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

Тираж 100 экз.



© ГАУ СМи СО «Регион 64», 2022.

© «Волга–XXI век», 2022.



«Как Зоя гусей кормила». Режиссёр Андрей Гончаров



«Оруженосец Кашка». Режиссёр Алексей Логачёв



«Мы – на острове Сальткрока»
Режиссёр Виктория Печерникова

